

ISSN 0130-7673

# Н О В Ы Й М И Р

N *M O T R* Y

6

1999

6

МИР

Н О В Ы Й

1999

# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6(890)

Июнь, 1999 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ — День денег. Плутовской роман	3
ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ — Свиток, стихи	102
МИХАИЛ АРДОВ — Вокруг Ордынки. Портреты. Окончание	112
МАКСИМ АМЕЛИН — Веселая наука, или Подлинная повесть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со слов нескольких очевидцев	141

### ПОЛЕМИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Черносотенство: прошлое и перспективы	151
---	-----

### МИР НАУКИ

БОРИС ИОФФЕ — Особо секретное задание. Из истории атомного проекта в СССР. Окончание	161
--	-----

### ОПЫТЫ

ДМИТРИЙ ШУШАРИН — Пройдя до середины. Главы из книги	173
--	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

*А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ — «Заклинатель и властелин многообразных стихий»	179
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Гёте и Пушкин (1749 — 1799 — 1999)	189
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА — Поэт и царь Давид	199

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*По ходу текста*

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Наши экзорцисты	202
------------------------------------	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

<b>Михаил Бутов.</b> У кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий, или Самый настоящий роман	211
<b>Дмитрий Быков.</b> Хорошее место в поисках времени	216
<b>С. Ларин.</b> Утаенный подвиг	220

---

<b>Вл. Новиков.</b> — I. Виктор Кравец. Разговор о Хлебникове. II. С. Е. Бирюков. Теория и практика русского поэтического авангарда.	223
<b>Татьяна Касаткина.</b> — Прп. Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве	225

### НЕКРОЛОГ

<b>ГАЛИНА КОРНИЛОВА</b> — «И даже если сердце остановится...». Памяти Яна Гольцмана (1936 — 1999)	227
---	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

<b>Книжная полка</b> (составитель Сергей Костырко)	228
<b>Периодика</b> (составитель Андрей Василевский)	231
<b>SUMMARY</b>	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА КИМА  
С 60-ЛЕТИЕМ!**

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  
СОТРУДНИКАМ МОСКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ  
ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ  
ЗАСЕДАНИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ «НОВОГО МИРА».**

Встречи наших читателей с авторами и сотрудниками журнала проходят каждый первый вторник месяца в 18.30 в зеленой гостиной Тургеневской библиотеки (метро «Тургеневская», «Чистые пруды», Бобров переулок, 6, строение 2, вход свободный).

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экземпляра журнала «Новый мир».

---

---

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ

\*

## ДЕНЬ ДЕНЕГ

*Плутовской роман*

Глава первая,  
*являющаяся начальной*

**С**лучилось это, сами понимаете, в городе Саратове, поскольку ни в каком другом месте случиться не могло, даже если б захотело.

Глава вторая,

*в которой мы знакомимся с человеком по имени Змей, названным так в детстве; вернее, полностью это звучит: Чингачгук Большой Змей, кличка возникла под влиянием книг Фенимора Купера и индейских восточногерманских фильмов, где индейцы были горбоносы (за исключением красавца и мышценосца Гойко Митича), смуглы и с орлиным взором; мальчик Сережа Углов не имел орлиного взора, но имел диковинной величины и изогнутости нос и был смугл, чему объяснений не могли найти ни белокурая круглолицая мама его Лидия Ивановна, ни сухой, бледный, с остроносным нервным лицом (отчего и умер рано, то есть от нервов) папа Виктор Алексеевич, особенно когда сравнивали со старшим сыном Глебом, бледнолицым, с мелкими чертами, но ссорили недоразумений из-за этого у них не было в силу взаимного доверия и любви, зато были недоразумения у Змея, особенно с недавних пор, потому что милиция, давая через себя выход шовинистическим потаенным настроениям народа, к Змею часто цеплялась, считая его лицом кавказской национальности, и это очень усложняло и усложняет жизнь Змея, ибо, не являясь лицом кавказской национальности, он в то же время часто бывает пьян, вполпьяна, в подпитии, подшофе, под газом, вмазавши, клякнув, нарезавшись, надравшись и т. п., что милиционеры при близком зрительном и обонятельном контакте сразу же просекают, заодно рассмотрев и остальную его внешний вид; обвинение в кавказской национальности сразу же заменяется на другое, типично русское, и даже не обвинение, а просто берут молодца под белы (условно говоря) руки и волокут в вытрезвитель, отпуская, впрочем, без долгих мытарств, так как взять со Змея нечего: он вот уже лет семь — безработный*

Змей проснулся рано, поднял руки к голове и тихо сказал:

— О-о-о!

В этом возгласе были боль и уважение. Боль — с похмелья, а уважение родилось из оценки тяжести своего состояния: чтобы такого состояния достичь, накануне надо выпить чрезвычайно много, а это Змею удается довольно редко.

---

Слаповский Алексей Иванович родился в 1957 году в Саратовской области. Закончил филологический факультет Саратовского университета. Автор романов «Первое второе пришествие», «Я — не я», «Анкета». В «Новом мире» печатается впервые. Живет в Саратове. Подробнее об авторе см. 27 главу настоящего романа.

Никакой возможности поправиться не было, поэтому Змей не травил себя несбыточными надеждами; он стал вспоминать о вчерашнем дне: в плохие минуты надо думать о хорошем.

Вчера, 7 октября, состоялась Всероссийская Акция Протеста (в которой участвовали, благодаря новым веяниям, и протестующие, и те, против кого протестовали; более того: объекты протеста в иных городах возглавили колонны, идя впереди с гордой головой, и можно было видеть потом по телевизору, как шагает в окружении аппарата и охраны какой-нибудь губернатор Н., а за ним поспевают злые люди с плакатами: «Долой подлюгу губернатора Н.!»).

Змей и друзья его по жизни, судьбе и улице Мичурина эту акцию ждали с нетерпением. Они не забыли еще демонстрации советской поры, те счастливые шествия, когда празднество начиналось уже у проходных заводов и фабрик; у дверей учреждений, научно-исследовательских институтов, автобаз и стоматологических поликлиник: труженики, видя друг друга без должностных уз и повседневных тягот производственной обстановки, вольно, без чинов и званий, равные пред лицом пресветлого дня, выпивали вино, водку и казенный спирт, благодушно украденный с рабочих мест, говорили о погоде и о жизни, а потом гомонящими потоками отправлялись в путь, к площади Революции (ныне — Театральная), по пути подкрепляясь, поя песни, играя на музыкальных инструментах и танцуя и пляшучи на ходу. В те поры Змей и его друзья еще где-то работали, тогда еще выпить с утра не стало для них рутиной (хоть и не такой привычной, как хотелось бы), а — действительно праздником, особенно если выпадал он не на субботу или воскресенье.

И вот вчера Змей с друзьями отправился искать удачи. Конечно, не было прежних потоков, люди стекались жидкими струйками, а то и вообще поодиночке — и гуртовались в колонны уже на подступах к площади. По лозунгам и горячим речам друзья безошибочно определяли, где находятся. Вот коммунисты: воспаляя друг друга, они кричали; причем один кричал другому то же самое, что и другой ему кричал, но лица у них были такие, словно они спорили не на жизнь, а на смерть. Покричав с этими людьми немного, друзья заслужили по первой порции — в кусточках за оградой площади. В профсоюзных колоннах лица были суровы и деловиты, но вот стоят, закрывшись спинами, будто греются у костра, несколько мужчин; друзья вежливо протолкнулись, обнаружили искомое и, поговорив на профсоюзные темы, удостоились и тут угощения.

Так шли они сквозь все партии и объединения, и везде их принимали за своих. И как не принять, если Змей (к примеру), выбрав кого-нибудь подоверчивей лицом, кричал: «Брат! И ты с нами!» И узнанный брат, хоть, кажется, не совсем четко помнил его, наливал и Змею, и его друзьям.

И вот, получив вполне одобрительную оценку своих политических взглядов и экономических требований, они пошли на площадь в составе пролетариев физического, умственного и мелкотоварного труда. Но пролетарии через пятнадцать минут соскучились и ушли в примыкающий к площади сквер. Тут было раздолье, но безобразий не было — ввиду большого количества милиции. Друзья потеряли счет выпитым порциям, но Змей поступал по-своему. Приняв с благодарностью очередной стакан, говорил: «Я тут, с вашего разрешения, приятелю...» — и шмыгал за куст, и выливал порцию в припасенную двухлитровую пластиковую бутылку — и наполнил ее таким образом доверху.

Потом от греха подальше он увлек своих окосевших друзей, привел на родную улицу, и они где-то поспали до вечера (это Змей смутно помнит), потом проснулись, стали мучиться, стонать и клясть себя за жадность и предаваться отчаянью от невозможности опохмелиться. Змей выдержал па-

узу и предъявил свою бутылку. Его хлопали по плечам, по животу, по спине, его целовали. И пили до позднего вечера; Змей не помнит, как добрался домой, но, судя по тому, что он лежал в своей комнате, на своей постели и даже без ботинок, — как-то добрался.

Приятные воспоминания кончились.

Мама его, Лидия Ивановна, заглянула в его комнатку (помещаются кровать, стул и вешалка для одежды, а телевизор уже не помещается, он стоит на подоконнике, благо в старом этом доме широкие подоконники; правда, телевизор уже два года как сломан, зато на нем стоит ламповый радиоприемник, который хрипло транслирует какую-то одну-единственную программу, она Змею не нравится, но он не выключает радио, любя чувствовать жизнь — пусть и в этих нечленораздельных звуках).

— Живой? — спросила Лидия Ивановна.

— Угу.

— Воды дать?

— Угу.

Мать принесла большую кружку воды, Змей выпил и попросил еще. Мать принесла и сказала:

— Денег не проси: нет.

— Я знаю.

— Лежи, отлеживайся. Я к Нинке тряпки драть.

Нинка, соседка, помоложе Лидии Ивановны и поздоровее, вечерами, в полусумерках, чтобы и видно, и не видать, собирала, стесняясь, по мусорным бакам и возле домов разное тряпье, а иногда и в дома робко звонила, заходя на отдаленные улицы, просила вещи ненужные, — давали. Они разрывали их с матерью Змея на полоски и из этих полосок плели в четыре руки коврики, которые потом кипятили со струганым мылом и мочевиной, полоскали, сушили, и коврики получались яркие, пестрые, у двери положить — миленькое дельце. Продавали они их дешево, но эти-то деньги и помогали им выжить, и даже с лихвой: Нинка имела возможность кофе покупать, без которого не видела смысла существования, а мать Змея — содержать Змея.

Змей сполз с постели, воспользовался ночной посудиною с плотной крышечкой (не любил дурных запахов), выпил еще воды, лег, глубоко вздохнул, послушал радио и стал тяжело, муторно задремывать.

### Глава третья,

*из которой мы узнаем о втором герое нашего повествования, друге детства и бывшем однокласснике Змея, имеющем школьную кличку Парфен из-за фамилии Парфенов; он вчера тоже присутствовал на Акции Протеста, причем стоял на трибуне, будучи работником пресс-центра при губернском аппарате, при этом являясь нигилистом по отношению к власти, но считая, что лучший способ дискредитировать власть — войти в нее, доводя каждым своим деянием лик власти до абсурдной гримасы и если не добиваясь каких-то осязаемых общественно-политических результатов, то получая хотя бы глубочайшее моральное удовлетворение, без коего русскому интеллигенту жить невозможно, а Парфен именно интеллигент, пусть и в первом поколении: старики родители его живут в деревне, зато жена — потомственная интеллектуалка, зарабатывающая репетиторством (русский язык и литература, английский язык, написание вступительных сочинений плюс уроки хорошего тона и за особую плату — создание будущему абитуриенту или абитуриентке имиджа, всякий раз рассчитанного на конкретных членов приемной комиссии), сын Павел, начинающий журналист, — тоже интеллигент, из-за чего первопоколенчество Парфена приобрело новое качество, ибо, по его оригиналь-*

*ной теории, до сорока лет мы ориентируемся на образцы мозговой деятельности старших авторитетов, с сорока же начинаем неосознанно подражать молодежи, поэтому на самом деле не мы учим ее, а она нас*

Парфен проснулся в то же время, что и Змей, но несколько позже, часов уже около десяти утра. Взглянув на будильник, он испугался, вскочил, побегал умываться и бриться: на службу ему к девяти, будь она, постылая, трижды неладна, но он за два года ни разу не опоздал! Может, сослаться на болезнь?

И только теперь он понял, что действительно болен — и очень. Болен с похмелья. Вчера, после Акции, почувствовав двойное единство — с народом и друг с другом, несмотря на кажущееся народу противостояние, губернское правительство умилилось, разнежничалось — и поехало полным составом в пригородный пансионат, где уже были накрыты столы. Парфен был горд особо: он подготовил для губернатора такую речь, в которой каждый здравомыслящий человек должен был увидеть косноязычие и скудоумие губернатора — не даром же во время его выступления раздался многотысячный свист. Губернатор спросил потом Парфена:

— А чего это они? Не понравилось, что ль?

— Наоборот! Это молодежь свистела, у них теперь принято в случае восторга. Вы ходите на рок-концерт или дискотеку. Чем больше нравится кто-то или что-то, тем больше свиста.

— А как ты разглядел, что только молодежь свистит?

— А старикам свистеть нечем: зубов нет!

Губернатор удовлетворенно хмыкнул, и Парфен остался доволен ответом, в котором дурак мог бы усмотреть лесть, а умный увидел бы тонкую издевку: свистят-то не зубами, а губами, но губернатор этого по тугомыслию не сообразил!

(И это показывает, сколь далек уже и сам Парфен от народа, потому что настоящего свиста без использования зубов — и пальцев! — не получится, а так, фюфюканье простонародящегося интеллигента.)

Парфен выпивал, принимал на ушко поздравления друзей, радующихся, что он умело подставил губернатора, и громкие похвалы остальных чиновников, считающих, что речь была замечательная (правда, похвалы эти адресовались губернатору, но все знали, кто ее готовил). Губернатор объявил, что в связи с проделанной сегодня тяжелой и неурочной работой для таких-то и таких-то департаментов (и конкретных лиц помимо этого) завтрашний день будет считаться выходным.

Помаленьку Парфен назузился, налимонился, нарезался, нажрался, налил на уши, кричал, что удалится в леса и будет жить там в одиночестве; сердобольные товарищи внесли его в автобус, а потом даже доволокли до седьмого этажа, до дверей его квартиры, поставили у стены, нажали на кнопку звонка и, заслышав шаги, ушли.

И вот Парфен вспомнил, что сегодня выходной, — и тут же потерял интерес к умыванью и бритью; к горлу подступила тошнота, голова закружилась, ноги ослабли, он поплелся к кровати и рухнул.

Вот ведь, думал он, пока я был занят необходимостью вставать, умываться и одеваться, ничего не болело! Плохо и уязвимо устроена психика человека. Надо учиться у природы и у тех, кто учится у нее. Недаром в книгах Кастанеды описывается, как человек, прыгающий с камня на камень, не чувствует ни посторонних тревог, ни физических болей, ни депрессий там каких-то и тому подобного. Цель и сосредоточенность делают его неуязвимым. Вся жизнь должна быть — прыжки с камня на камень над пропастью, подумал Парфен.

Тут в комнату вошла его жена, потомственная интеллектуалка Ольга.

— Что, б., е. т. м., с., п. м., х. тебе? — иронически спросила Ольга, снабжая свою речь, как многие современные интеллектуалки, забубенным матом.

Парфен промолчал.

— Наверняка г., е. т. м., перед б. в., с., а то какую-нибудь м. и в., к. з., м. з., к. з.! — сказала Ольга.

Парфен на это обвинение только плечами пожал.

Он пил, в общем-то, редко, но если уж пил, то до упора, наутро всегда хотелось опохмелиться, однако служба не позволяла. Но сегодня — свободный день! Если б Ольги не было дома! — а она почти всегда дома, ученики к ней сюда приходят. Впрочем, если б и не было ее дома, у него, насколько он помнит, нет денег. Вчера заглядывал в бумажник: какая-то металлическая мелочь...

— Оля, мне плохо, — сказал он. — У нас там было...

— Было? А кто ночью, к. з., е. т. м., встал и все в. на х. до капли, п. м., у. к.?

— Ночью?

— Ночью.

— Мне плохо, Оля. Хотя бы бутылку пива.

— Сходи.

— У меня нет денег.

— А у меня есть? У меня, с. п., м. с., е. т. м., ни одной лишней копейки!

И она вышла из комнаты.

Парфен подумал, что даже если б и были у него деньги или дала бы их Ольга, он, кажется, просто не в силах одеться и дойти до ларька на углу улицы.

Как можно быть такой жестокой к человеку, ближе которого у тебя никого нет? — удивился он, думая про Ольгу.

Он думал и о том, что она, зарабатывая больше его, все чаще и все безжалостней укалывает его этим, он думал, что стройность Ольги с возрастом превратилась в костлявую худобу, а ироничность ее ума перебродила и выродилась в язвительность.

И, думая об этом, он почувствовал себя лучше.

Это я раздражаю, злюсь, и выделяется адреналин, догадался Парфен.

И он начал думать и вспоминать о плохом в своей жизни, скопившемся к этому моменту. Надо глядеть правде в глаза: он уже не любит свою жену Ольгу. Сын Павел не уважает его, а юная жена сына Ирина совершенно не видит в нем мужчину, как и другие с. ее возраста, е. т. м., м. п., чтоб им, б. с., х. ш. п.!

Месяц назад Парфена бросила любовница, с которой он был телесно и душевно счастлив три года, бросила подло, насмешливо, перейдя в похабные руки какого-то своего ровесника из богемной среды, чтоб ей, ш. б., провалиться!

Короче: жизнь сделана и жить, в сущности, дальше некуда. Или продолжать тянуть эту лямку, или все бросить к е. м. и начать все заново!

Парфен понимал, что во многом он сам виноват, но если на этом сейчас сконцентрироваться, впадешь в окончательную немощь, и он нарочно валил вину на жену, сына, на судьбу, на друзей и товарищей по работе, на существующий строй, на несправедливость людей и планет, и от этого злился все больше, все больше, и вскоре ощутил гневный прилив физической бодрости, вскочил, быстро оделся, зашел на кухню, чтобы выпить воды, и направился к выходу.

— Ба! Ты куда это? — спросила Ольга.

— Я ухожу. Я ухожу от тебя насовсем, потому что ты мне о., е. г., с. п. р., в. е. л., р. ш. в., ясно?

— Ты бредишь, м.? — поинтересовалась Ольга. — Прямо вот так — без вещей?

— Да. Без всего. И никогда не вернусь, понимаешь меня?

— Понимаю, — кивнула Ольга и склонилась над книгой, готовясь к очередному занятию.

Это окончательно вывело из себя Парфена, и он даже не воспользовался лифтом, а по-молодому упруго сбежал по лестнице.

Было солнечно и довольно тепло.

На отрезке улицы Мичурина от Рахова до Чапаева, как вы, конечно, знаете, есть по четной стороне только один большой девятиэтажный дом, где и живет Парфен, остальные дома старые, одноэтажные и двухэтажные. В одном из них, вспомнил Парфен, обитает бывший друг детства и бывший одноклассник Змей. Парфен, встречая его, давно уже не останавливается поговорить за жизнь, здороваются на ходу кивком головы — и дальше. Иногда займы даст. И не раз давал, между прочим. Но у Змея есть совесть: набрав сумму, равную цене двух бутылок водки, он никогда уже не просил у Парфена, как бы ему плохо ни было.

А вот возьму и зайду, подумал Парфен. Худо мне. Зайду и скажу: бери где хочешь, а долг отдай! Он знал, конечно, особенность отечественного, типун на язык за это слово, менталитета, когда долг признается долгом в случае взятия денег на хлеб, кефир ребенку, на, бери выше, мебель новую, на автомобиль, о карточных и прочих долгах чести даже и не говоря, но деньги на выпивку считаются взятыми как бы на святое дело — и долгом поэтому вроде и не считаются. Но Парфену плевать! Он устал делать поправки на менталитет — это во-первых. И он сам такой же народ, как и весь народ, — это во-вторых, поэтому деньги потребует не просто так, а для святого же дела — для опохмелки!

Он решительно свернул во двор и поднялся по черному ходу, зная, что с этой стороны дверь в квартиру Змея всегда открыта.

### Глава четвертая,

*где перед нами предстает третий герой этой истории, человек по фамилии Свинцитский, имеющий, будучи разносторонним человеком, сразу несколько кличек: Свин (по фамилии), Хухарь (потому что в школьной столовой с набитым ртом сказал: «Это не хлеб, а хухарь хахой-то!») и — Писатель, из-за профессии, потому что он действительно писатель, но кличку получил, когда еще не был писателем: учительница химии однажды отобрала у него тетрадь со словами: «Чего ты там все пишешь, писатель?» — а писал он продолжение истории открытия Южного полюса, в которой Роберт Скотт не погибал, а достигал полюса — и даже раньше Амундсена за счет смещения времени; класс захохотал, тыча пальцами и крича: «Писатель!» — потому что писатель смешная ведь профессия для детей, а учительница не знала, что угадала судьбу Свинцитского, он выучился в Москве в Литературном институте на прозаика, но в столице не прижился, вернулся в родной Саратов, преподавал в университете, служил в Приволжском книжном издательстве, а потом, в рыночные времена, нашел твердый заработок: сочинял для крупных издательств детективные, любовные, фантастические и другие полезные издателям романы, которые выпускались под чужими именами, подчас весьма популярными на книжном рынке массовой литературы, для души же и вечности Свинцитский пишет настоящие романы, художественные, но пока безуспешно: издательства коммерческие видят в них переизбыток художественности, издательства престижно-элитарные (которых практически нет) нагло — и наверняка не читая! — обвиняют, наоборот, в недостатке художественности, то л с т ы е журналы ведут себя странно: из «Нового мира» пришел ответ: «Хотелось бы чего-то такого же, но другими словами», а из «Знамени»: «Хотелось бы такими же словами, но чего-то другого»; при этом жена Свинцитского Иоланта (это ее настоящее имя, даденное ей отцом-железнодорожником, тендеровщиком, любившим классическую музыку, но не слухом, а*

*воображением, потому что он признавался, что в производственном шуме ему слышатся скрипки и флейты, но потом стало, видимо, слышаться что-то иное: на глазах многих людей он крикнул кому-то: «Иду!» — и шагнул с крыши вагона в пустоту, наполненную рельсами, шпалами, гравием и другими убийственно жесткими предметами), — так вот, Иоланта, или по-домашнему Иола, верит в Свинцитского и велит верить детям, близнецам Люде и Оле, и те верили до пятнадцати лет, а потом перестали, потому что бросили к этому возрасту верить во что бы то ни было на свете вообще, и Иоланта осталась одна в своей вере, так как уже и сам Свинцитский давно не верит в себя и уговаривает жену довольствоваться заработком, который дают романы-подделки, но она, едва он выполнит и сдаст подневольный заказ, тут же спрашивает, как продвигается очередной художественный текст, с таким нетерпением и предвкушением, что у Свинцитского слезы в душе наворачиваются, и он, случается, не выдерживает и запиивает на несколько дней, после чего тяжело мучается и морально, и физически*

Писатель проснулся в то же время, что Змей и Парфен, но еще позже: около одиннадцати. Верней, он очнулся первый раз часов в шесть, открыл глаза, испугался жизни и себя в ней и тут же зажмурился и постарался опять заснуть, что ему не сразу, но удалось. Вторичное пробуждение облегчения не принесло: он понял, что у него не просто похмелье, а похмелье запойное, непереносимое, когда не столько боли физические мучают, а вся душа горит и требует.

Тенью мелькнула Иола.

Он шевельнул головой, чтобы жена поняла, что он не спит.

Она поняла и вошла.

— Я бы помогла, — сказала Иола. — Но ты же знаешь, у нас пусто.

Он знал. Деньги за последний эротический триллер потрачены две недели назад, а новый заказ еще не выполнен, Иолу же, служащую в городской детской библиотеке, отправили в неоплачиваемый отпуск. Если что-то и перепадает, то тратится на пропитание и на девические потребности Люды и Оли.

— И у соседней у всех назанимала, — сказала Иола.

Писателю и так было худо, но от страдающего лица жены сделалось еще хуже.

— Успокойся, — сказал он. — Отлежусь.

— Резко обрывать нельзя, — сказала Иола, — я читала об этом. Это просто опасно.

— Я спился из-за твоей заботливости, — обвинил Писатель.

— Что ты говоришь?!

— А то! Нормальная жена мужа похмельного ругает и на него плюет: сдохнет так сдохнет! Он пугается и бросает пить. А ты мне не даешь испугаться, я на тебя надеюсь — и поэтому пить не бросаю.

— Ты хочешь, чтобы я на тебя плюнула?

— Давно пора! — ответил Писатель не то, что думал, а то, что захотелось вдруг произнести. — Нашла бы нормального человека с нормальным заработком, с нормальным характером! — сказал Писатель, унижая себя, будучи на самом деле нормальным человеком с вполне нормальными характером и заработком.

— Я подумаю! — сказала Иола и вышла из комнаты.

— Вот и прекрасно! Вот и замечательно!

Писатель тяжело встал с кушетки, на которой уснул вчера не раздеваясь. Поводов пить минувшим днем у него не было. Он сидел и писал допоздна художественный текст — и был счастлив. Он дописал главу, закончив ее ловким округленным словом, отложил рукопись в сторону, потянувшись — и понял, что хочет выпить. Дело в том, что Писатель никогда не начинал пить с горя, или в состоянии уныния, или в случае неудачи: все

жизненные тяготы он переносил с трезвой головой. Но минуты счастья и полного душевного благополучия, минуты радости и покоя были невыносимы для него. Он мог, например, идти в осеннем парке, смотреть на желтые листья, бесшумно падающие в молчаливую темную воду пруда, а потом взглянуть на бледно-голубое, дымчато-ясное небо — и вдруг накатывало ощущение непереносимого счастья, настолько непереносимого, что он просто-напросто боялся с ума сойти. И вот, чтобы не сойти с ума от переполненности жизнью, он и запивал.

Так и вчера: он знал точно, что счастлив, и это его испугало, он даже ощутил под черепной коробкой какое-то шевеление, словно мозговые извилины, подобно клубку червей, пришли в движение — и сейчас перепутаются и завяжутся в такой тугой узел, какой никаким врачам не развязать!

Он начал рыться по своим карманам, по кошелькам, ящичкам стола, обыскал свою куртку и плащ жены — и наскреб сумму, которой ему хватило на бутылку водки и бутылку вина. Купив это в круглосуточном магазинчике, он торопливо стал пить. Водка кончилась, дав ему лишь первый хороший, задумчивый хмель. Но вино подействовало на удивление сильнее, он начал раскисать — и совсем раскис, и уже прищуривал глаз, чтобы не двоилось изображение, и покачивался перед недопитой бутылкой, решая, допить или оставить на утро. Пьяный ум рекомендовал оставить, но пьяная душа плевать хотела на ум, и Писатель допил остатки из горлышка, тут же повалившись на пол, а потом ползком, ползком — до кушетки...

Эти остатки, горько подумал он, сейчас спасли бы меня.

С отвращением закурив, Писатель подошел к окну.

И увидел, как по улице, сунув руки в карманы и ссутулившись, поспешает Парфен, как он сворачивает в ту подворотню, где Змей живет.

Моментально вникнув в суть ситуации, Писатель, не сказав ничего Иоле, вышел из дома.

## Глава пятая,

*в которой наши герои решают, как им быть*

И вот они сидели втроем и молчали. Верней, сидел Парфен — на единственном стуле, сидел и Писатель — в ногах у Змея, а Змей — лежал.

Мучительность проблемы заключалась в том, что Парфен нашарил у себя в кармане три рубля мелочью. На эти деньги можно было бы пойти и выпить в распивочном отделе магазина, что на углу Чапаева и Ульяновской, семьдесят пять граммов водки. Но это — одному, а они чувствовали теперь ответственность друг перед другом.

— Обхохочешься, — сказал Змей. — Самое дешевое пиво — четыре рубля. Рубля не хватает на бутылку! Ведь надо-то по глотку всего!

Парфен и Писатель молча согласились. Нет, конечно, глоток этот оживит не более чем на полчаса, но они знали, что полчаса им хватит, чтобы предпринять какие-то дальнейшие действия. Ибо в похмеле, да и в любой совместной выпивке, самое важное — начать. А потом как-то само собой получается, опытом проверено: появляются откуда-то люди с деньгами, вино, водка, пиво — словно первые эти крохи есть смазка для двери, распаивающейся в совсем другой мир, где нет проблем и мучений, где приятные неожиданности ждут тебя за каждым углом!

— «Чероки», — сказал непонятное слово Парфен, глядя за окно.

— Чего? — спросил Змей.

— Джип «чероки», — пояснил Парфен. — Машина Больного. Стоит у дома. Значит, Больной дома.

— Голый номер, — сказал Змей.

Больной не был больным, просто маленького Сашу Гурьева спросили: «Почему такой толстый?» — и он надул губы и ответил: «Я не толстый, я больной!» — хотя был абсолютно здоров. Так он и получил кличку. Само собой, вслух ее никто не произносит теперь: Больной стал богат, ни с кем из друзей детства и соседей давно не знается и вообще доживает здесь последние месяцы, потому что достраивает особняк на ближней окраине города.

— Почему голый номер? — спросил Писатель Змей. — Ты у него брал займы?

— Нет.

— А другие?

— Нет. Ясно, что не даст.

— Да почему же ясно? Никто не пробовал, а ясно! Вот мы сейчас пойдем к нему все трое и спросим рубль! Мы придем радужными призраками детства, и он умилится!

— Если в рабочий день у него машина стоит, значит, он вчера тоже пил, а сегодня болеет, — сказал Змей, знающий такие вещи. — С ним редко, но бывает.

— Наверно, поправляется сейчас? — с надеждой спросил Писатель.

— Никогда. Бойтся запоя. Лежит и перемогается.

— Тогда он не даст, — сказал Парфен. — Если он мучается, он злой. Чтобы и другим плохо было. Он не даст.

— Отнюдь! — поднял палец Писатель, почувствовавший вдруг прилив бодрости и фантазии. — С похмелья человека мучают кроме страданий физических — какие еще? Его мучают угрызения совести. Стыд.

— Это Больного-то? — засомневался Змей.

— А чем Больной хуже других? — задал Писатель гуманистический вопрос. — Моральное похмелье после выпивки, я уверен, терзает даже убийц и насильников. Пусть ему стыдно не перед людьми, близкими и далекими, но ему обязательно стыдно перед тем единственным, что он уважает, ценит и любит, — перед собственным организмом. Да, Больной злится. На жену, на детей, на весь свет. Но и моральное страдание нельзя не учитывать. И вот приходим мы — за рублем. И он понимает, что у него есть возможность сделать добро, он вдруг вспоминает, что добро — это хорошо, что за него воздастся, благоденствие для похмельной души подобно рассолу для похмельного тела, и он даст нам рубль.

— Нет, — сказал Парфен не столько от сомнения, сколько от привычки оппонировать и быть пессимистом. — Ты не прав. Он стал богатым, заносчивым. Недавно он проехал мимо меня и обрызгал грязью. Мы придем и застанем его больным, жалким. Ему это будет неприятно. И он не даст рубля.

— Допустим, я приму твою версию! — воскликнул Писатель. — На самом деле я не принимаю ее, но, допустим, принял. Да, он жалок, болен. Но то, что к нему придут люди еще более жалкие, его утешит. И он даст рубль!

— Между прочим, — сказал Парфен, — просьба о рубле может быть им воспринята как насмешка! Он подумает, что мы считаем его таким жлобом, что не решаемся просить больше. И не даст рубля!

— Все зависит от того, как просить. Кто нам мешает сказать, что мы решили выпить бутылочку водки, но не хватает всего лишь рубля. В этом нет ничего для него унижительного. И он даст рубль!

— Он позавидует: вот, люди сейчас получают удовольствие, а он вынужден терпеть, не может себе даже водочки позволить. И не даст рубля!

— Ты не знаешь психологию пьяницы. Настоящий пьяница рад не только за себя, когда сам пьет, он рад, когда и другие пьют. На самом деле тут скрыто подсознательное злорадование! — разгорался Писатель. — На самом деле пьяница, одобряя явно питье других, предвидит, что после питья

эти другие будут мучиться с похмелья, и он поощряет их, по сути, не во благо им, а во вред! Поэтому Больной даст рубль!

— Но если дома его жена, — не сдавался Парфен, — Больной будет думать не только о своих амбициях. Вчера он напился, протратил сколько-то денег, а сегодня у него будет повод доказать жене, что он не мот и копейку считать умеет. И не даст рубля!

— Больной, я думаю, не из тех, кто — с похмелья или в любом другом виде — делает что-то на потачку жене. Наоборот, он будет рад досадить жене за то, что ей хорошо, а ему плохо. И даст рубль!

— А ты не исключаяешь, что жена здесь вообще ни при чем? Ты разве не знаешь закон всех мотов: сегодня они тратят тысячи, а завтра, жалея деньги, торгуются из-за гривенника и удавятся из-за копейки. Поэтому он не даст рубля!

— Но есть и другой закон! — сказал Писатель. — Закон общности похмельных душ! И в силу этого закона он даст рубль!

Исчерпав свои доводы, Писатель и Парфен посмотрели на Змея как на третейского судью.

Тот, понимая важность своей роли, подумал и сказал:

— А почему рубль? Тогда уж сразу десять или сто. Для него сто — как для меня копейка.

— В самом деле! — сказал Парфен.

— Вы не понимаете! — усмехнулся Писатель. — Именно рубль! Во-первых, потому что нам пока нужен только рубль. Во-вторых, я хочу его оскорбить. Дескать, больше ты все равно не дашь, так хотя бы — рубль.

— Но он же поймет, что это издевательство! — сказал Парфен. — Ты этим добьешься только того, что он и рубля не даст!

— О, как вы плохо знаете психологию! — огорчился Писатель. — Да, он поймет. И захочет доказать, что не такой уж он жлоб. И даст именно не рубль, а десять, сто, тысячу, наконец!

Горло Змея сдавило спазмом жажды, и он привстал:

— Пошли!

## Глава шестая

*Посещение Больного. Смерть над ухом. Рубль с неба. Тридцать три тысячи с земли*

Они медленно, словно преодолевая ветер времен и пространств, пересекли улицу, вошли во двор, позвонили в металлическую дверь.

Возле двери был домофон, оттуда послышался хриплый голос:

— Кто?

— Свои! — сказал Змей.

— Ладно! — ответил голос, и дверь сама собою распахнулась, открывая длинный коридор. В конце коридора показался Больной, кутающийся в махровый халат.

— Стоять на месте! — сказал он. — Что нужно?

— Всего лишь рубль, Саша, — сказал Писатель с елеиным ехидством.

— Вы кто?

— Ты что, не узнаешь? — удивился Змей. — Мы...

— Стоять тихо и спокойно! Вам рубль? Рубль? А почему не десять, не сто?

— Можно и сто, — заторопился Змей. — До завтра. — (Он всегда брал до завтра.)

— А почему не тысячу? Почему не десять тысяч?

— Да... — начал было Парфен, но Больной крикнул:

— Молчать! — и продолжил: — Почему не сто тысяч? Почему не миллион? Почему не десять миллионов? Почему не двадцать миллионов? Почему не тридцать?..

Он дошел до ста пятидесяти миллионов, Писателю это надоело, и он сказал:

— Ладно, мы пойдем.

— Стоять! — зарорал Большой и, выхватив из-за пазухи пистолет, направил его на друзей: — Стоять, стрелять буду!

— Нелогично, — миролюбиво заметил Писатель. — Кому же захочется стоять, если в тебя собираются выстрелить?

— Смоешься — пристрелю! Будешь стоять — пожалею. Может быть, — пообещал Большой.

Друзья тесно стояли в двери. Они понимали, что надо просто броситься всем разом в сторону, но как это сделать согласованно? Большой хоть и далеко, а услышит даже шепотом произнесенное слово.

— Кто вас прислал? — спросил Большой.

— Мы сами, — сказал Змей.

— Если скажете, кто вас прислал, сразу же отпущу.

Парфен, вращаясь в кругах власти, имел много информации, в том числе о криминальных структурах. Не зная подробностей, он знал клички некоторых авторитетов. И решил назвать.

— Зуб послал, — сказал он.

— Зуб?! — закричал Большой. — Тогда нате!

И выстрелил — и дверь сама начала закрываться, друзья еле успели выскользнуть во двор.

— Все живы? — спросил Змей. — Что с тобой, Писатель хренов?

Писатель был бледен и трогал пальцами висок.

— Она вот здесь. Над ухом пролетела. Прямо вот здесь. По волосам прошлась. Пуля. Еще миллиметр — и...

— Только в обморок не падай, — сказал Парфен. — Возись с тобой!

Они вышли из двора, не имея ни сил, ни желания обсуждать поведение Большого. Писатель понимал, что произошло событие чрезвычайной, судьбоносной для него важности, но решил отложить потрясение от этого события на то время, когда он будет достаточно здоров, чтобы это потрясение перенести.

Бесцельно прошлись они по улице. Внезапно Змей поднял голову и увидел на ажурном балкончике второго этажа старуху Элеонору Витольдовну, тепло одетую, в старой шубе и шали. Элеонора Витольдовна двадцать три года назад потеряла сына: тот поехал в командировку и там, в далекой Карелии, скончался от сердечного приступа. Тело не удалось привезти на родину, похоронили на месте. Элеонора Витольдовна из-за нездоровья не сумела съездить туда. Она не верила, что сын умер. Двадцать три года она ждет на балконе, что сын ее выйдет из-за угла и пойдет домой. Много раз она принимала за него других людей, и все они, хотя прошло двадцать три года, были в возрасте погибшего сына: тридцати пяти лет. В последнее время из-за плохого зрения она стала ошибаться чаще.

— Але! — крикнул Змей.

— Витя, это ты? — спросила Элеонора Витольдовна.

— Я. Мне рубль нужен.

— Конечно, конечно! А потом ты домой?

— Потом домой.

Элеонора Витольдовна пошарила в кармане, долго рассматривала на ладони деньги, поднося к глазам, нашла рубль и бросила вниз.

Она знала, что ошибается, приняв за сына чужого человека, ну и что? Где-то другая женщина, ждущая другого сына, примет за него ее, Элеонору Витольдовну, сына, просящего рубль, и она отдала рубль чужому человеку за ту женщину, она отдала рубль как чьему-то сыну. К тому же она

благодарна была, что не в пустоту, а кому-то, не про себя, а вслух имела возможность произнести слова, живущие в ней двадцать три года: «Витя, это ты?» — после которых она сейчас пожалеет себя и поплачет.

Змей поднял рубль, упавший на тротуар, взял три рубля Парфеновых и побежал в ближайший ларек.

Писатель и Парфен отошли в сторонку.

— Зачем ты позволил ему обмануть старуху? Это подло, — сказал Писатель.

— Ты сам молчал.

— Я растерялся.

— Мог бы вернуть, если такой честный! — рассердился Парфен. — Знаю вас, щелкоперов! Ты сам в душе в сто раз подлей Змея. Но Змей поступил искренне и непосредственно, а ты ему позволил! Но обязательно потом о совести поговорить! Ненавижу!

— Ты играешь в циника! — презрительно сказал Писатель.

— Да, я циник! А ты, если мир расколот и трещина проходит через твое сердце, откажись от пива!

Писатель только хмыкнул, поражаясь алогичности и несуразности предложения Парфена.

..И вот он, Момент Первого Глотка!

Змей и пластиковым стаканчиком разжился, чтобы все культурно. Он налил сперва Парфену (который пришел к нему первым и которому он был должен), затем Писателю (который пришел позже, но тоже гость), а уж потом себе, и все три порции были абсолютно равновелики. Если кто-то досужий вздумал измерить их, то, будьте уверены, в каждом стакане оказалась бы ровно треть поллитры, то есть приблизительно — 166,66666667 миллилитра. Жидкое блаженство пролилось сквозь горячие и сухие горла их, проникло в истомленные желудки, а потом какими-то неведомыми путями стало растекаться по жилочкам. Писатель угостил друзей сигаретами (уж этого у него всегда запас был, потому что без табака он не мог работать), они постояли, покуривая и ласково поглядывая друг на друга, а потом пошли навстречу судьбе, уверенные, что теперь она будет милостива к ним. Они позволили себе даже лирическое отступление: остановились у витрины недавно открытого магазина «Три медведя» и последовательно охаяли всю мебель, которая была им видна: безвкусно, пошло и до противного дорого.

— Мне бы верстачок, я бы из вот этого ящика венское кресло сделал! — сказал Змей, тыча пальцем в большой ящик из неструганных досок, лежащий у крыльца.

Писатель, показывая, что он уважает Змея и его намерения, осмотрел ящик и даже приподнял его, оценивая тяжесть древесины.

И сказал:

— Там за ним валяется что-то. Какой-то сверток. На бумажник похоже, только раздувшийся. Большой слишком.

— Я сто раз находил бумажники и кошельки, — сказал Змей. — И ни в одном не было денег.

Парфен, будучи скептиком и вообще разочарованным в жизни человеком, должен был согласиться со Змеем, но вдруг вспомнил, что ушел из дома и у него начинается новая жизнь, в которой, возможно, он из скептика превратится во что-то другое. Поэтому он отодвинул ящик, нагнулся и брезгливо поднял сверток, который действительно напоминал бумажник, но очень уж был велик, словно нарочно сделан для бутафории — для витрины, например, магазина кожгалантереи.

— Дурацкая вещь! — сказал он. — Умные выбросили, а дураки подняли. — Но все-таки приоткрыл бумажник и тут же, оглядевшись, шепнул товарищам: — Пошли отсюда!

— Ко мне! — предложил Змей.

И они пошли к Змею.

Закрылись в его комнате, и Парфен из одного отделения вынул пачечку отечественных сторублевков, а из другого толстейшую пачку сторублевков американских, долларовых то есть.

Наших сторублевков оказалось тридцать три, а американских — триста тридцать, что, нетрудно догадаться, составило тридцать три тысячи долларов.

Они долго смотрели на деньги, разложенные на кровати, и наконец Парфен вымолвил:

— Фальшивые!

### Глава седьмая,

*в которой Парфен обвиняет Писателя и заодно всех писателей вообще в тайной преступности, Писатель же рассуждает о Судьбе, а затем друзья решают, как быть с деньгами*

Парфен внимательно осмотрел и те и другие деньги и сказал:

— Нет. Нормальные деньги.

— А вот мы сейчас проверим! — вскричал Змей, схватил сторублевку и убежал.

Парфен проницательно посмотрел на Писателя. Тот, ощутив его взгляд, оторвался от созерцания денег.

— Я знаю, о чем ты думаешь! — сказал Парфен.

— Нет, — сказал Писатель. — Это просто совпадение. Тридцать три и триста тридцать — всего лишь совпадение. Никакой тут мистики нет, и нечего себе морочить голову.

— А заодно и мне! — посоветовал Парфен. — Я вас, писарчуков, райтеров, шрифтистеллеров, е. в. м., насквозь вижу! Вы все потенциальные убийцы, предатели и развратники!

— Мне непонятен ход твоих мыслей, — задумчиво сказал Писатель.

— Ну да, ну да! Он не понимает! Достоевский недаром был эпилептик, недаром у него то и дело малолетние растленные девчушки появляются, кровь рекой льется! Гоголь жил как в кошмарном сне: люди без носов — или из портретов выходят, утопленницы у него, страшная месья у него! — а я думаю, что он сам с наслаждением молодую красавицу зарезал бы! И везде на страницах бешеные деньги летают! Вы все книги пишете, чтобы в жизни преступниками не стать! Хотя ты, само собой, не Достоевский и не Гоголь.

— Ты пошлю чепуху городишь, — отмахнулся Писатель.

— Не чепуху! Я вижу, ты Змея хочешь облапошить! Напоить, деньги забрать, а ему сказать потом, что — спьяну пригрезилось! Скажешь, нет?

— Нет, — спокойно ответил Писатель. Спокойно — и с презрительным недоумением.

И Парфена оскорбило это недоумение, и он хотел продолжить обвинять Писателя, но опять вспомнил, что начал сегодня новую, чистую и честную, как белый лист, жизнь, и заговорил, удивляясь сам своей откровенности:

— А я вот хоть и не писатель (но, между прочим, если б захотел — !..), а — подлец. Сижу и думаю, что с вами сделать. Змея напоить — лучше не придумаешь. Тебя тоже, но ты не такой конченный пьяница, ты еще памяти не пропил.

— Не пропил, — подтвердил Писатель.

— Ну вот! И я думал сейчас: придется тебя тоже напоить, а потом на улицу вывести и под машину толкнуть. Ты понимаешь? — с надрывом

воскликнул Парфен. — Понимаешь? Эти деньги едва появились, а я уже стал убийцей! Понимаешь?

— Ну, еще не стал! — миролюбиво успокоил Писатель.

— Стану! Поэтому тридцать три и триста тридцать — недаром! Надо от этих денег избавиться, слышишь меня? Или отдать их мне.

— А если я тоже хочу ими всеми завладеть? — в качестве предположения высказался Писатель.

— Тогда всё, — сказал Парфен. — Тогда полный п., е. в. м., тогда быть сегодня крови!

Они бы, возможно, продолжили этот небезынтересный разговор, но тут в комнату ворвался Змей, держа в объятьях большой полиэтиленовый пакет.

— Настоящие! — закричал он и начал выгружать из пакета водку, воду газированную в большой бутылки, консервы, хлеб, сигареты. — Всю сотню ухлопал! Гуляем, ребята!

Он тут же вскрыл водку, нашел два стакана, обтер их, за третьим сбегал на кухню, разлил — и взял в руку свой стакан, сияя.

— Не надо спешить, — сказал Парфен. — Слишком важное дело.

— Да, это верно! — Лицо Змея стало серьезным, и он впервые за последние восемь — десять лет выпил не столько, сколько в стакане налито, а половину. Отпил — и культурненько поставил стакан на подоконник.

Выпили и Писатель с Парфеном.

Некоторое время помолчали, покурили. Организмы их приободрились, зажили полной, насыщенной жизнью, кровоток в мозгах стал быстрым и легким.

Писателя эти процессы привели к следующим словам:

— Я вот что подумал, друг мой Змей и друг мой Парфен. Всю жизнь судьба играла со мной. И даже сегодня, когда вот это вот случилось, игра продолжается. Не хочу! С одной стороны, деньги дадут мне свободу, я перестану писать на каких-то там хозяев, а буду только для себя. Но я не хочу для себя! Я выродился, братцы! Я ловлю себя на том, что с огромным удовольствием сочиняю эротические, мистические и детективные романы, получая моральное и материальное вознаграждение, а художественного ничего писать — не хочу. Я кончился не начинаясь. Но у меня осталась гордость! Судьба играла мной, но унижить меня не смогла ни разу. А теперь, я чувствую, хочет еще и унижить: она хочет сделать бессмысленной мою жизнь!

— Ты что хочешь сказать? — спросил Парфен. — Что ты отказываешься от этих денег? Ну нет, этот номер не пройдет! Я тебя понимаю! Очень хорошо понимаю! Ты хочешь увидеть, с какой жадностью мы клюнем на эту приманку! Ты хочешь укрепить себя в своей подлости! Чтобы потом нас возненавидеть, так? Шиш вот! Я не хочу, чтобы меня ночью в темном переулке кирпичом по башке грохнули! А Змей однажды не проснется, и никто не узнает, кто ему в водку лошадиную дозу снотворного всыпал!

Змей смотрел и слушал не понимая. Ему после водки стало так хорошо и мило, что он не мог уразуметь, по какой причине так напряжены и нахмурены его друзья.

— Вы чего? — спросил он.

— Глупый ты, — с сожалением сказал Писатель Парфену. И Парфен вдруг сразу же устыдился:

— Нет, а чего ты в самом деле?

— Да ничего. На троих этих денег — ни два ни полтора, как в народе говорят. Ни много ни мало. А одному — самый раз. Жизнь обустроить, жену завести, вылечиться. Я о тебе, Змей. Ты ведь первый обратил внимание на этот ящик. Если б не ты, не видать бы нам этих денег.

— Не, кореша! — сказал Змей, враз испугавшись чего-то. — Ну, увидел ящик. А бумажник ты увидел.

— А поднял его Парфен, — сказал Писатель. — Бери эти деньги, Парфен, послушайся умного человека.

И Парфен, видя откровенность и чистоту глаз и голоса Писателя, может, и согласился бы, но то, что Писатель себя умным человеком назвал, его, значит, Парфена, заведомо таковым не считая, задело — и сильно!

— Сами не без ума! — парировал он.

— Да поделить, и все, чего вы? — по-прежнему не понимал Змей.

— Мы, — сказал Писатель, — не хотим больше быть игрушками судьбы. Ведь так, Парфен?

Заветные эти слова кольнули Парфена в его сегодняшнее сердце: не об этом ли он сам думает с утра? И он кивнул.

— Мы надсмеемся над ней! Мы бросим ей в харю вызов! — воскликнул Писатель.

— Кому? — спросил Змей.

— Судьбе.

От растерянности Змей даже оглянулся, будто желая обнаружить ту особу, о которой шла речь.

— Мы бросим жребий! — сказал Писатель. — Кому достанется, тот пусть и владеет деньгами. Один.

И опять чего-то испугался Змей.

— Нет! — сказал он. — Кончайте тут дурака валять. Делим поровну — и никаких! Жребий выдумали, сдался он н. х., е. е. м. ч. п. к. на ш. з.!

— А давайте без мата, е. в. м., к. г., н. уже до смерти! — попросил Парфен.

И Писатель со Змеем тут же согласились, что в такой день без мата жить лучше.

— Надо выпить еще, — посоветовал Змей. — А то мы с похмелья еще, не очухались еще. Вот и заговариваемся.

И *немедленно выпил*, его примеру тут же последовали Парфен и Писатель.

Выпили, помолчали, покурили, с неясным томлением глядя на деньги.

— Я вас понял, — вдруг сказал Змей. — Сомнения и так далее. Мораль, так сказать. Нравственность в высшем смысле. Губительность порока. Разврат богатства. Соблазны легкой жизни. Думаете, я не понимаю? Я понимаю. Думаете, если у вас высшее образование, а у меня десятилетка, я не могу постичь? Я постигаю все! Средства массовой информации меня не смутили, и текущий момент меня не унес своим течением, я здесь, всей душой! Я предлагаю: нормальные деньги оставить себе и поделить, все-таки по тыще с лишним на рыло выйдет, а доллары отдать в детский дом. Анонимно.

— Как? Подбросить? Их тут же персонал прихапает. Кто найдет, тот и прихапает, — реалистически сказал Парфен.

— А мы публично тогда! При стечении журналистов и телевидения!

— Чтобы владелец денег тут же узнал, где они, и убил бы нас со злости? — спросил Парфен.

— Кстати... — начал Писатель, но Парфен уже понял:

— Не выйдет! В бумажнике, кроме денег, никаких сведений о владельце. Как искать? Развесить объявления? «Кто потерял бумажник с долларами, обращаться по такому-то адресу»?

— Ребята, да хватит вам! — сказал Змей. — Давайте лучше обсудим, что с деньгами делать! А?

Это было действительно интересно, это напоминало их детские разговоры о том, кто что сделал бы, если б у него была волшебная палочка, которая может выполнить три желания. Помнится, Больной, шибко умным не считавшийся, всех обхитрил, сказав: «Первое мое желание: чтобы у

меня в руках оказалась другая палочка, чтобы она выполняла все желания!» На его хитрость обиделись и дали ему даже пару пинков: игру испортил.

— Ну? Ну? — подбадривал Змей. — Давай, Хухарь, начинай, ты писатель или нет?

Писатель задумался.

— Тогда ты, Парфен!

Задумался и Парфен.

— Ну, тогда я! — сказал Змей, выпил еще чуточку и начал: — Во-первых, я... — и зашустрил глазами по стенам, словно ища подсказки.

И тоже — задумался.

### Глава восьмая,

*в которой Змей думает о том, что перво-наперво надо вставить зубы, приодеться, одеть также маму, произвести ремонт в квартире, зашибься минимум на три года, потому что пьянствовать надоело уже, хотя, впрочем, сперва хорошо бы от души и в охотку поьянствовать, чего сроду не удаётся сделать, поездить шикарно одетым на такси по ночному городу, снять шикарную проститутку, но тут Змей вспомнил, что женщины у него давно не было и он не уверен, что сумеет быть мужчиной даже с проституткой; чтобы определить, мужчина он или нет, надо хотя бы недельки две пожить совершенно трезвым, но зачем после этого проститутка, если можно познакомиться с хорошей женщиной, и тут Змей вспомнил о своей жене, которую не видел пятнадцать лет (он ведь был женат!), и о дочери, которую не видел столько же (а ей семнадцать уже!), он подумал, что славно бы взять и прийти к жене и дочери в блеске богатства и сказать: «Вот я теперь какой, идите со мной жить!» — но тут же понял, что прошлого не вернуть, что любовь к жене давно угасла (да и не было ее), что дочь свою он дочерью уже не почувствует, он понял с беспощадной ясностью и с силой на миг протрезвевшего ума, что все будет очень просто: получив свою долю, он будет пить, пить и пить, пока не кончатся деньги или пока не подохнет, причем второе вероятней, и даже если он успеет приодеться сам, приодеть маму и сделать ремонт в квартире, пьянства все равно не избежать, пьянства при этом опасного, ибо он не знает таких больших денег, он будет метать их направо и налево, и кто-то, хищный и подлый, углядит это и убьет его за деньги, то есть, как ни крути, куда ни брось взгляд, всюду тупик, всюду непрменная гибель*

— А черт его знает! — сказал Змей. — Даже как-то и не сообразишь... Тут дозрел Парфен. Выпив толику, он скрестил руки на груди.

### Глава девятая,

*в которой Парфен намеревался произнести речь о том, что хватит ему быть прислужником власти, пусть и ёрничающим, над этой властью издавающимся; он, Парфен, как всякий русский человек, способен на многое, не на одну только устную и письменную болтовню, он эти деньги пустит в дело, уж ему-то известно, в какое именно дело можно пустить деньги; через год, нарастив капитал, он откроет дело собственное, через два расширит его и станет одним из самых крупных производителей Поволжья, он возьмется за то, за что сейчас боятся братья все: за тяжелое машиностроение, он будет поставлять на отечественный, а потом и зарубежный рынки первоклассные высокопроизводительные станки и автоматические линии, но это только первая ступень, далее, поручив производство своим верным помощникам, он*

*ринется в политику; средства позволят ему раскрутить себя на всю страну, через три года он уже — виднейший политический деятель, руководитель им же созданной партии, она будет называться, например, Партия Единства Народа (ПЕН), к очередным президентским выборам он станет всем очевидной главной кандидатурой на пост президента, и Парфен уже оттуда, с высот того будущего, устемшиво взирал на убогое свое недавнее прошлое с сухопарой женой-интеллектуалкой, е. е. м., к. с., с наглым насмешником сыном и его, сына, недалекой и задирающей нос женой, а с ним рядом, на этой высоте, будут юная жена с матовой кожей и сынишечка-карапуз, с малолетства обожествляющий папку, и вот он сидит в кресле, отдыхающий от восемнадцатичасового рабочего президентского дня, и на руках у него сынишечка, а на плече прелестная головка жены, но тут Парфен вспомнил вдруг, что это было уже у него: и прелестная головка жены Ольги, и сынишечка любимый на руках был, что ж получается? — президентство ему понадобится лишь для того, чтобы войти в одну и ту же воду? — но это неразумно, да и не любит он политику, не хочет он ее, а хочет он, если признаться себе честно, того, чего никакими деньгами не купишь: вернуться в свою молодость*

Парфен опустил руки и потянулся к бутылке.

— И это все? — спросил Писатель.

— Отвали! — огрызнулся Парфен. — Куда мне поперек батьки в пекло! Давай уж, мастер художественного свиста, покажи пример!

— Не собираюсь.

### Глава десятая,

*в которой Писатель действительно не собирался обнародовать свои мечты, потому что слишком интимны они были — и слишком, так сказать, профессионально-специфичны, так как он лгал, говоря, что с наслаждением пишет коммерческие романы, а художественные писать не хочет, на самом же деле он, как всякий нормальный человек его профессии, устал от неизвестности, которая гораздо хуже непризнанности (непризнанность явления всегда можно списать на тупость тех, кто явление не признает, но как быть, если явления этого не видать как такового?), устал, главное, от ожидания жены, хотя это ожидание чистосердечно (так ему кажется, но мы знаем кое-что и другое!), хотя только оно его и поддерживает, и как было бы замечательно на эти одиннадцать тысяч долларов его доли выпустить в простенькой обложке и на простенькой бумаге, тысячным тиражом, трехтомник избранного, который не сможет, просто никак не сможет не заметить критика, в конце концов всем известна история Маркеса: «Сто лет одиночества» начались с трех тысяч тиража в провинциальной типографии; но тут же — даже тот выступил на лбу и на ладонях — Писатель подумал, может быть, впервые, а вдруг художественные его тексты не столь уж художественны? — и это ему докажет безоговорочно и с цитатами в руках критик из тех, кого он уважает; но нет, этого не может быть, он объективно читает и себя и других и видит, что может зашибить многих своим талантом, с другой стороны (или уже с третьей, с четвертой?), трехтомник этот станет итогом, финалом, после которого, в сущности, ложись да помирай, и он будет торопиться доказывать, что нет, он не кончился, будет писать четвертый том — хуже, пятый — еще хуже, но уже найдутся критики, берущие каждую его строчку под защиту, он зажиреет, станет подозрительно-самоуверенным и неуверенно-самодовольным; желая подтверждений перемены своей участи, он бросит жену и переедет в Москву, там закрутится, завертится, не имея ни родных, ни близких, соглашаясь на экранизации своих романов, летая в дальние страны, которые хороши лишь в молодости, и вот в одной из таких поездок, где-нибудь в вольно-вальсовой вальжной Вене, он бу-*

*дет лежать в гостинице, ночью, и помирать от сердечного приступа (сердце и сейчас покалывает, подлое!), не умея позвать на помощь, потому что ни черта не знает по-немецки, равно как и по-английски, ибо, несмотря на Литературный институт и брак на интеллектуалке, остался все-таки недоучкой, поверхностным самообразованием, выскочкой, глухим провинциалом...*

— Я мотоцикл куплю, — сказал он. — Скоростной, навороченный — на все одиннадцать тыщ!

— Зачем? — удивился Парфен.

— С детства мечтал о мотоцикле!

И Писатель хотел рассказать о своих детских мечтах (мотоцикл — и хоть раз с парашютом прыгнуть в затяжном прыжке), но тут они с Парфеном услышали странные звуки.

Они посмотрели на Змея.

Змей, закрыв глаза и стиснув зубы, громко сопел и тихо плакал.

### Глава одиннадцатая,

*в которой Змей высказывает удивительную идею*

— Ты что, Змеюшка? — спросил Парфен.

— Мальчика ударил...

— Какого мальчика? Когда?

— Слеза ребенка! Красота спасет мир! Невещественные доказательства вещественных отношений души с действительностью и наоборот! — невнятно вырывалось изо рта Змея.

Парфен и Писатель решили, что это первые извержения вулкана Змеевой философии: тот с детства любил умствовать и в их классе был первый разглагольствователь на тему существования человека, делал он это самобытно и увлеченно, хоть и коряво, видно было, что эти вопросы его волнуют всерьез; он потому и ограничился средним образованием: боялся набраться лишней мудрости и сойти от этого с ума, всякая вычитанная или услышанная новая мысль вызывала в Змее поистине вулканическую работу мозгов, он начинал развивать ее, разветвлять — и чувствовал, как ум, подобно реке в половодье, растекается по низменностям человеческой жизни, познавая ее, и ему становилось плохо до жестокой головной боли. Он и книги-то поэтому перестал читать. Телевизор, правда — пока тот работал — смотрел, поскольку из него за все годы смотрения ни разу не извлек мысли, которая заставила бы его впасть не только в состояние болезненного размышления, но и в состояние, хотя бы близкое к размышлению как таковому...

— Ты конкретней! — попросил Писатель.

— На прошлой неделе... Стою у ларька... С похмелья... Никого знакомых... Тошно... И мальчишка... Мальчоночка маленький такой... «Дядь, дай рубль на хлеб!» Я думаю: ах ты наглец! Тут погибаешь без копейки, а у кого нет? Ну, рассердился я. И вместо рубля — по затылку ему. Не рассчитал немного, упал мальчик... Ручку зашиб себе, схватился за нее, обозвал меня... Я погнался за ним, хорошо, не догнал... А потом узнал: мальчика этого мать-алкоголичка попрошайничать заставляет. Он половину — ей на вино, а половину — себе, в самом деле на хлеб. Ну, или на мороженое наберет. Он же дитя! Он сладкого не видит!

Странно было: откуда столько мокрых слез в таком сухом человеке? Змей просто истекал ими, и Писатель подумал, что он, кажется, впервые созерцает воплощение метафоры *плакать в три ручья*.

— Бывает, — сказал он. — Все мы иногда...

— Нет, не иногда! Нынешние дети презирают нынешних отцов, и это национальная катастрофа! — мрачно сказал Парфен. — Потому что они — «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов»!

— Какую подлость ты имеешь в виду? — спросил писатель.

— А такую, к которой мы их приучили, и они ее за норму считают, презирая нас за то, что мы, приучившие их, делаем вид, что подлости этой стесняемся!

— А он худенький такой! — не унимался Змей. — Одни косточки и глаза. Вот такие огромные! Ночами вижу!

Вдруг он вытер решительно рукавом глаза и решительно сказал:

— Вот что, мужики! Вы со своими деньгами что хотите, а я... Кому я доброе дело за жизнь сделал? Никому! Вы как хотите, а я пойду и буду деньги давать, кому совсем плохо... Мальчикам, которые без хлеба... Старушкам... Ну, вообще... Ведь есть люди, которым хуже нас! — с надрывом закричал Змей — и саданул тут же полстакана водки.

— Окосеешь! — предупредил Парфен.

— Я заново пью. Я когда плачу, трезвею.

— И часто плачешь?

— Первый раз. И — протрезвел начисто. Так что я трезво вам говорю: есть кому хуже нас. Оставлю себе тысячу рублей или две, маме отдам, а остальное — обездоленным. Есть люди — для них и сотня огромный праздник!

— Гарун аль-Рашид ты наш! — сказал Парфен, но голос его звучал неуверенно.

Не хотелось ему ударить в грязь лицом перед Змеем. Хотелось и ему обездоленным помочь и этим уж точно утвердить себя в звании настоящего русского интеллигента, начхать, в каком поколении, л. т. м.

Примерно то же настроение было и у Писателя.

Но одно — рассусоливать о применении денег теоретически, как бы примерочно и абстрактно, другое — когда тебе предлагают от этих денег практически, конкретно и осязаемо отказаться. Парфен тут же стал думать не о планах наполеоновских — производительных и политических, а о том, что, имея деньги, он получил бы освобождение от постылой службы при губернском правительстве, на которой изолгался вконец. Если уж хочет он начать новую жизнь, на эти валютные твердые деньги можно по нынешним инфляционным ценам спокойно купить однокомнатную квартиру — и даже близко к центру, — и еще останется! А Писатель сообразил, что денег-то не то что на три, но и на один том не хватит при теперешней издательской дороговизне, учитывая траты на необходимые семейные нужды: жена который год в одном и том же пальтишке зиму встречает, девушек-дочерей тоже принарядить бы надо, да и поступать им на будущий год в университет, а нравы там, как и в большинстве других вузов, грабительские стали, и он по отцовскому долгу обязан об этом подумать.

— Что? — спросил Змей, усмехаясь с превосходством праведника. — Кишки ослабели? Будете доказывать мне, что вам самим хуже всех? Что вы обездоленные? Что всех не накормишь? Ну, давайте, давайте! Я слушаю!

— Пятью хлебами только Иисус тысячи людей кормил! — угрюмо ответил Парфен.

— А! Вспомнил! Я тоже помню! Только я думаю как? Я думаю так: не в пяти хлебах дело было, а в справедливости! Ведь люди не помирали от голода, а просто кушать хотели. И когда получили три хлеба, то разумно поделили: кому невоготу — дали, кто потерпеть мог — сам отказался!

— Довольно своеобразное толкование, — сказал Писатель, знающий, как всякий современный писатель, текст Евангелия. — То есть чуда никакого не было? И даже то, что кучу объедков собрали, не чудо?

— В силу разума собрали, без чуда! Потому что завтра тоже жрать что-то надо! — доказал Змей.

— Постой. Допустим, мы захотим кого-то облагодетельствовать, — сказал Парфен. — Но кто мы такие, чтобы решать, кому помочь, а кому нет? Это во-первых. Во-вторых: придем в дом, допустим, там больная и нищая женщина. Надо помочь?

— Надо!

— А она — та самая мать, которая мальчика посылает деньги просить! Она нашу подачку пропьет — и опять!

— Пусть пропьет! Пока пропивает, сына не тронет. И ему перепадет что-нибудь на радостях!

— Если кому-то помогать, — задумчиво сказал Писатель, — то тем, кто до края дошел. Вот недавно слышал: человек взял взаймы три тысячи долларов и поехал машину покупать. Рассчитывал частным извозом заняться и отдать деньги. И попал в аварию, разбил машину. Долг отдавать нечем, отчаяние полное.

— И?

— Повесился.

— А мы бы знали, спасти могли бы человека! Идея! — воскликнул Змей. — Будем искать не просто тех, кому хуже, а кого спасти можем! Спасем — и Бог мне мальчика простит.

— А ты верующим стал? — спросил Парфен.

— Откуда я знаю!

— То есть? — удивился Писатель.

— Верю я в Бога или нет, это только сам Бог знает! — сказал Змей — и сам задумался над своими словами, не вполне понимая их.

— А я вот что, — молвил Парфен, нашедший, как ему показалось, выход из ситуации. — Я предлагаю ничего не решать, а взять три тысячи и сделать одно конкретное дело. А там будет видно.

— Какое дело?

— А такое.

## Глава двенадцатая,

*повествующая о необыкновенной жизни необыкновенного человека*

*Э. В. Курочкина*

Из какой сырости и плесени (в хорошем смысле слова) заводятся у нас такие люди, совершенно непонятно. Еще маленьким мальчиком Эдуард Курочкин прочел книгу «Советский этикет» и с того дня, садясь за стол, молча клал слева вилку, а справа нож и поданную ему мамашей Курочкиной, например, котлету, разрезал ножиком с правой руки, деликатно отправляя в рот маленькие кусочки вилок в левой руке. Когда мамаша Курочкина впервые это увидела, она испугалась и пощупала ему лоб. Лоб был холоден, как мрамор (сравнила бы Ираида Курочкина, если б знала, что такое прохлада мрамора, но мрамор не встречался в жизни ее). Папаша Василий Курочкин, который и щи и кашу ел ложкой, ею же кромсая кусок жареной колбасы или терзая голубец, тоже удивился, но одобрил: «Правильно, сынок! Мы в пригороде родились и померли б там, если б завод квартиру не дал, а ты выбивайся в люди! Дипломатом станешь, е. т. м., гений з., с. с.!»

Но это было лишь начало. Десятилетний Эдуард Васильевич Курочкин сэкономил на школьных завтраках, купил ситчику и сам смастерил ширмочку, которой отгородил свое спальное место от старшей двенадцатилетней сестры.

— Это еще что за фокусы? — растерялась мать.

— Вообще-то я читал, что разнополым детям должны предоставляться отдельные комнаты, — ответил Эдуард. — Но раз это по государственным жилищным условиям невозможно, то я принял меры. Дело даже не в гигиене. Юлия хоть и сестра мне, а будущая женщина, и если я буду ее видеть каждый день в трусах и в чем попало, у меня исчезнет чувство уважения к женщине и чувство тайны, а я этого не хочу. Кстати, мама, я понимаю, планировку наших убогих квартир изменить нельзя, но раз уж туалет присоединили к кухне, то я бы посоветовал вам или не звучать так, находясь там, или делать это тогда, когда детей, то есть нас, нет дома, чтобы мы сохраняли пиетет к вам и сыновне-дочерний почтительный трепет близкого отдаленья. Желательно, чтобы при этом и мужа вашего не было, то есть папы нашего, по причинам аналогичным.

Само собой, говорил все это малолетний Эдуард Васильевич другими словами, но мы нарочно усугубили странность его речей, чтобы читатель почувствовал такую же оторопь, которая напала на бедную мать Эдуарда. Больше всего ее потрясла даже не просьба о туалете, а то, что он на «вы» вдруг родную мать назвал.

Дождавшись прихода отца, она все ему выложила. Насчет «вы» он как-то не очень среагировал, зато туалет его оскорбил до бледности лица, хорошо известной его товарищам по работе, где он считался человеком принципиальным, взрывным и ни черта, ни начальников не боящимся. Снимая с пояса ремень, Василий Курочкин подошел к сыну своему Эдуарду и спросил:

— Значит, я в своем родном доме уже и бзднуть не смей? Может, мне и сморкнуться нельзя?

— Можно, но в платок, а не в ладонь, а потом об штаны! — ответил Эдуард Васильевич. — Вы же это при детях делаете!

— Кто мы?

— Вы.

— Да кто вы-то? — закричал отец, озираясь, потому что в комнате никого не было: мать в кухне плакала и прислушивалась.

— Вы, мой папа. В русских традициях было родителей называть на «вы».

— Ага. А еще в русских традициях было дуракам сыновьям в задницу ум вгонять. Снимай штаны!

— Традиции надо дифференцировать, потому что есть добрые, а есть пережитки! — строптиво проворчал Эдуард Васильевич, но штаны снял и удары отеческого ремня стойчески выдержал.

Однако ума от этой науки не прибавилось в нем, он задурил еще пуще.

Он завел себе отдельные тарелки, вилки, чашки и ложки, отдельную зубную щетку, отдельное мыло — и даже полотенце отдельное. Он сам себе стирал и гладил белье и одежду, что мать обижало чрезвычайно. Это был какой-то морально-психологический террор с его стороны. Отец начал было пить, но язва не позволила углубиться в это занятие. Мать боялась с сыном слово молвить. Сестра по молодости только посмеивалась и часто, проходя мимо Эдуарда, напружинивала живот и издавала звуки.

— Все равно я стараюсь видеть в тебе самое лучшее, сестренка! — морщась, говорил Эдуард.

Ситуация стала просто опасной для душевного здоровья и отца, и матери. Мать ходила в туалет по ночам. Отец упрямо навещал его во время общего ужина (он привык это вечером после работы делать) и даже старался усилить уровень природной громкости напряжением соответствующих мышц, в результате чего у него случилась болезнь, которую он сам называл выпадением прямой кишки, на самом деле — заурядная небольшая грыжа (Парфен в этом месте приостановился и заверил, что ничего не прибавляет в этой истории). За дочерью стали замечать странное: она втихомолку раз-

денется, вбежит за ширму к Эдуарду, покрутит перед ним юными девическими мослами — и назад, неприятно и ненатурально хохоча.

И тут Василий Курочкин сказал:

— Моя вина. Кто мне в голову втемяшил назвать его Эдуардом?

— Я против была, — робко сказала мать.

— Надо было резче против! Не подумали, как звучать будет: Эдуард — Курочкин!

— Нормально звучит...

— Нормально для ненормальных! Короче, моя вина, я и исправлю.

И он пошел, хоть кланяться не любил, к одному родственнику в областном военкомате, он ходил еще куда-то, писал заявления, заставил мать уйти с работы, а себе добыл справку о неполной трудоспособности, а потом еще справку о бедственном семейном материальном положении, потом ездил куда-то в Москву — и добился: Эдуарда Васильевича приняли в Суворовское училище.

Ему там чрезвычайно понравилось. Дисциплина, чистота, порядок — и даже бальным танцам обучают!

Это были счастливые годы, после которых Эдуард продолжил военное образование в Вольском училище тыла, так оно тогда называлось. Благо что от Вольска до Саратова, до родителей, рукой подать, а ведь он их любил. Да и они вновь полюбили его, видя редко и привыкнув к его «выканью».

А потом началась офицерская служба — и начались разочарования Эдуарда Васильевича, потому что в части, куда он прибыл на службу, он не увидел ни чистоты, ни порядка, ни деликатности, вместо же бальных танцев было раз в неделю, после бани, кино во Дворце культуры текстильного городка, где дислоцировалась часть, и что творилось в кинозале этого клуба, а также в других его помещениях, а также по окрестным кустам, ложбинам, закоулкам — не описать! Командиры дежурили на дистанции визуального наблюдения, не рискуя в этот вертеп нос сунуть — не распаленных солдат своих боясь, а яростно-упоенных текстильщиц, которые — все об этом помнят — зарезали разбитой бутылкой приехавшего с инспекционными целями и попершегося порядок наводить полковника-ветерана, тело которого не сразу нашли под клубной сценой...

Эдуард Курочкин терпел и не спился лишь потому, что брезговал вкусом и запахом отечественных напитков, импортные же ему были не по карману. Но, как только началось сокращение армии, он первым подал в отставку. Начальство его без сожаления отпустило.

В 1988 году Эдуард был гол как сокол. Он приехал в родной Саратов и встретил там товарища детства, успешного посидеть в тюрьме за спекуляцию и вышедшего, чтобы продолжить спекуляцию в новых условиях, с разрешения и благословения претерпевшего изменения государства. Эдуард гордо спросил насчет работы. Товарищ детства по кличке Мох, помня чистоплюйство «Эдика-педика» (так они его в школе дразнили), хотел сразу же отказаться от его услуг, но, пронизательный, задумался. И оказался весьма дальновиден! Долго ли, коротко, в стране началось то, что все называли *беспределом*, во всех сферах жизни, включая криминальную. Тут-то и пригодился Эдуард Васильевич с его любовью к порядку. Мох назначил *стрелку* другим *авторитетам*, где представил Эдуарда Васильевича как *арбитра* и предложил содержать его на паях. Независимость и непредвзятость Курочкина он гарантировал.

И с тех пор Курочкин присутствовал на каждой *разборке* — и его слово было последнее и решающее. Исходя из соображений максимально возможной разумности (при общей неразумности происходящего, в которой он отдавал себе отчет), он указывал справедливый способ дележа сфер влияния, определял размеры и виды компенсации за умышленные и нечаянные обиды (столько-то человек сдать прокуратуре, у столько-то имущество отнять, а столько-то, увы, пристрелить как бешеных собак ввиду

их полной неуправляемости). Споры были, крики были, возражения были, но обиды ни у кого не оставалось: все видели холодную и почти стерильную беспристрастность Курочкина. Его даже на международный криминальный симпозиум во Флориде (США) пригласили, где он прочел доклад «Регламентация разборки как основного механизма неправовых отношений в свете традиционных постулатов воровского Закона», встреченный бурными аплодисментами.

Привычно выполняя свою работу, Эдуард Васильевич мечтал. Он, знающий как никто изнанку жизни, насыщенность ее предательствами, изменами, подлостью, был тем не менее уверен, что в будущем его ждет любовь к женщине необыкновенной: хрустально-прозрачной, чистой, непорочной, как Дева Мария. Надо заметить, что до этого у него не только любви не было, но и ни одной женщины вообще: слишком высоки были его требования к душевной и физической гигиене и запросы относительно женской красоты.

Он хотел, чтобы будущая эта женщина ни в чем не испытывала недостатка. Поэтому скопил денег и построил дом.

Но тут беспредел был погран новым беспределом юнцов, едва вступивших в жизнь и не признающих никаких законов. На очередной разборке в Курочкина стреляли, дом его в это время горел, а банк, куда он поместил деньги, обанкротился.

Ничего больше не умея делать, Курочкин остался арбитром, благо юнцов кого перестреляли, кого прибрали к рукам. Опять выстроил дом и скопил денег, не доверяя теперь банку, храня их в двойном несгораемом сейфе в подвале дома.

Стал ждать любви и высматривать девушку, тратя на это все свое свободное время.

Однажды дом его был взорван, сейф бесследно испарился.

Курочкин созвал на стрелку авторитетов (он уже имел на это право) и обиженно сказал, что уходит в отставку. Те, жалея его, но понимая, что прошло время надежды держать беспредел хоть в каких-то рамках, отпустили бывшего арбитра, подарив дом и значительную сумму денег, — и устроили на следующий же день междоусобную бойню в районе Елшанской птицефабрики, в ходе которой было уничтожено 18 автомобилей, израсходовано 750 гранат, 15 000 крупнокалиберных патронов, 43 ПТУРСа (ПТУРС, если кто не знает, — противотанковый управляемый снаряд), 3 ракеты типа «земля — земля», погибло 1235 кур-несушек, разрушено 6 яйцепроизводительных цехов, 2 инкубатора и уничтожено в общей сложности 74 человека живой силы противника, а также случайного гражданского населения.

А Курочкин — нашел свою мечту!

Она стояла, зябко кутаясь, на улице за книжным лотком, стояла, двадцатидвухлетняя, с высшим образованием и знанием двух языков, стояла, стройная и с голубыми глазами...

Курочкин поговорил с ней десять минут и сделал ей предложение.

Она согласилась.

Курочкин, многократно извинившись и оговорив свои странности, попросил ее не обижаться и пройти медицинскую комиссию, а также тестирование у специально приглашенных им психолога и сексопатолога. И здоровье, и интеллектуальный уровень, и все прочее у девушки оказалось на высоте.

Свадьба была тихой, на двоих: Курочкин терпеть не мог шумных сборищ.

На второй день медового месяца он, вернувшись не вовремя, обнаружил свою новобрачную в гараже с шофером. Она корчилась и дрыгалась, как кошка, которую собираются бросить в костер, и изрыгала прелестными губами своими площадные ругательства.

Курочкин запер гараж, слил бензин из своей машины, разбрызгал вокруг дома и поджег.

После тушения пожара тел шофера и гадины новобрачной не нашли, не нашли и вмурованного в стену металлического ящичка-тайника, в котором Эдуард Васильевич хранил все свои сбережения. Наличности в бумажнике ему хватило на то, чтобы снять на год комнатку в коммуналке, и вот этот год подходит к концу. Родители умерли, сестра бедствует с пьяницей мужем и тремя детьми в бывшей родительской квартире, авторитеты от Курочкина отвернулись, помочь — некому. Последние, кто видел Курочкина, говорили, что он опустил донельзя, работать нигде не хочет (да и не может), превратился в бомжа и находит пропитание в мусорных баках. Главное же — он замолчал. Так раньше пред Богом давали обет молчания, он же молчит не из-за религиозных соображений, а из-за мирской принципиальности — не желая контактировать ни с кем из представителей сволочного рода человеческого.

### Глава тринадцатая,

*которую автор пропускает, будучи периодически суеверным, хотя не верит в черных кошек и пустые ведра, да и билет в театр или на концерт с тринадцатым местом не сдаст в кассу, ему даже пришлось однажды ехать в поезде № 13 Саратов — Москва в тринадцатом вагоне, на тринадцатом месте — и поездка оказалась удачной, но все же периодически, повторяю, на автора что-то находит, и в этом он, конечно, родной сын своего времени и своего народа, т. е. людей, у которых периодически (без излишней, однако, периодичности) бывает все: и вера в Бога, и удивительная самоотверженность, и потрясающее бескорыстие, и невероятная любовь к ближним, сменяемая вдруг на такую же невероятную неприязнь, а то и вообще ненависть; объясняется это, быть может, тем, что у нас не четыре основных стороны света, а столько, сколько раз на дню каждый из нас куда-то глянет, или тем, что мало кто помнит, кем он был вчера, и целый день уходит на выяснение этого, а там уже будущее наступило — и опять все заново приходится вспоминать; впрочем, тут надежда на наших женищин — и вовсе не на то, что они кого-то там на скаку останавят и в горящую избу навою войдут, как заметил поэт-мужчина, а на их собственную женскую точку зрения, выраженную одной замечательной современной русской поэтессой: «Настоящее не стоит, прошлое не прошло, будущего не будет, все останется так, как есть».*

*И пока наши женищины верят в это — мы живы*

### Глава четырнадцатая

*Эдуард Курочкин и осенние листья*

— А откуда ты знаешь этого Курочкина? — спросил Писатель Парфена.

— Кого мы только не знаем по роду службы! — скромно похвастался Парфен. — Он, между прочим, недалеко живет. Может, у него как раз срок найма кончается, его на улицу вышвырнуть собираются, он с собой покончить хочет, вот мы его и спасем.

— Он сам чего хотел, того и добился! — возразил Писатель.

— Где твой гуманизм, творец? — удивился Парфен.

— Гуманизм должен быть избирательным.

— Это твое всегдашнее убеждение или ты сейчас так считаешь?

Писатель честно подумал и сказал:

— Я вообще так не считаю. Мне он просто по твоему рассказу не понравился, этот Эдуард. С другой стороны, — сказал Писатель, привыкнув спорить сам с собою, — дело ведь не только в том, что мы ему материально поможем. Дело в том, что с человеком произошло ужасное: он утратил веру в людей. Я вот людей тоже иногда не люблю, но веру в них не утратил. А ты?

— А я их вообще презираю, — сказал Парфен. — Но вера — это да. Ее я не утратил. У меня, кроме нее, вообще ничего нет. И если мы вернем ему веру, будет хорошо.

— Хватит вам! Пошли, пошли! — сказал Змей, которому не терпелось вершить добро. — Вот только куда деньги деть? Российские и три тыщи долларов берем с собой, а эти куда?.. А вот сюда! — И он сунул их под матрац.

— Ты с ума сошел, — сказал Парфен. — Любой войдет и возьмет.

— В мою комнату без меня никто не входит, я ее запираю.

— Друзья твои, алкоголики, подумают, что ты спишь, и взломают дверь, — сказал Писатель.

— Они хоть и алкоголики, но чтобы двери ломать?!

— Пожар может случиться, — предположил Парфен.

— В этом доме никогда не было пожара.

— Это и плохо. Значит, рано или поздно должен быть.

— Минуточку! — сказал Змей. — Одну минуточку!

Он полез под кровать и достал какой-то блестящий сверток.

— Жаронепроницаемая ткань! Не горит при тысяче градусов! Ребята где-то достали, говорят, в космосе используется. Хотели продать хотя бы за бутылку — никто не берет: применить негде. Мы денюжки сюда заворачиваем, под койку запихиваем — и аллес гут, нес па?

Писатель и Парфен кивнули.

Они выпили еще на дорожку (по чуть-чуть, понимая, что сегодня напиваться нельзя) и вышли.

Улицы, такие знакомые и родные, тем более при ясном дневном свете, вдруг всем троем сразу показались таящими опасности и угрозы. Поместив в середину Парфена, у которого, как у самого рационального человека, были деньги, они пошли, цепко посматривая по сторонам. Кто-то мимоходом поздоровался с ними, они шарахнулись от него.

— Надо было машину взять, — сказал Писатель.

— Сейчас с деньгами опасно ездить, — сказал Парфен. — Уйма случаев: тюкают по башке железкой, труп увозят в лес и бросают.

— Мы похожи на людей с деньгами? — иронически спросил Писатель.

— Кому надо, деньги чуят! — поддержал Парфена Змей.

Через десять минут они стояли в темном длинном коридоре убогой коммуналки, типичной настолько, что ее следовало бы сохранить как музейный экспонат, как тип жилья, отразившего целую эпоху народной жизни. Над входной дверью были антресоли, из которых при входе всегда что-то выпадало — и хорошо, если старая газета или драная зимняя шапка, которую носил еще Яков Сергеевич Козьнов, скончавшийся семнадцать лет назад, — может и угог упасть: монолитный, из тех, которые на плите грели, когда еще электрические роскошью считались. На стене — телефон, возле него карандаш на веревочке, лист с номерами и инициалами и еще один лист: график уборки общих мест пользования. Висел здесь и непременно велосипед со спущенными шинами, без руля и без цепи, на нем катался мальчик Петя Лыпов, который теперь проживает в другом городе, будучи отставным полковником внутренних войск, велосипед же собираются починить для другого мальчика, который теперь живет здесь вместо когдатощного Пети Лыпова, но все как-то руки не доходят.

И — двери по обе стороны коридора, а в конце — кухня, до которой дойти друзьям было не суждено: полуглухая старуха, открывшая им дверь

и без вопросов впустившая и провожавшая их, вдруг обернулась и закричала:

— Так вам кого?

— Эдуарда! — закричал Парфен.

— Таких нет.

— Курочкина!

— Таких нет, говорю!

Змей решил помочь:

— Ну, мужик такой, лет сорока там с чем-нибудь!

— Нет таких! Прошу выйти!

Писатель напряг свою фантазию и предположил:

— Немой есть у вас тут? Который молчит?

Старуха поняла и ткнула пальцем в одну из дверей.

Друзья постучали. Еще раз. Потрогали дверь. Она открылась. Они вошли.

Ужасный запах поразил даже их хмельное обоняние. Впрочем, будь в них хмеля побольше, они бы нашли в нем даже некоторую теплую и уютную приятность, ибо органолептика хмельного русского человека почему-то уважает некоторое вокруг себя грязцо, лишь бы сокровенно было, лишь бы не под открытым небом, не в подворотне какой-нибудь, — а там, где тяжкий дух ужитого в ужас и жуть жилья жестоко и мило гармонирует с тяжело напоенными сивушным удушьем душами.

В комнате не было никакой мебели, лишь тряпье грудями валялось там и сям да несколько ящиков громоздились по углам, служа стульями, столами и шкафчиками.

Человек в лохмотьях сидел на подоконнике, обняв руками колени, и смотрел в окно на дерево. В ногах у него стояла бутылка дешевого вина.

На вошедших он даже не взглянул.

— Здравствуйте! Вы — Эдуард Васильевич Курочкин? — спросил Парфен.

Человек коротко посмотрел на него и тут же отвернулся.

— Я когда-то имел дело с вами! — сказал Парфен, подмигнув друзьям. — То есть через посредников. И вы мне очень помогли. За мной долг. Три тысячи долларов. Вы слышите? Я принес вам три тысячи долларов!

Парфен, осторожно ступая, подошел к человеку, достал деньги и веером показал их.

— Видите? Три тысячи.

Курочкин (если это был он) презрительно сплюнул и глотнул вина, не отрывая взгляд от заоконья.

— Может, он уже с ума съехал? — предположил Змей.

Курочкин метнул на него взгляд, в котором ясно читалось: «Сам ты съехал!»

— Ты пойми! — стал втолковывать ему Змей. — Ты на эти деньги комнату в порядок приведешь, снимешь ее лет на пять. Телевизор купишь. Ну и вообще.

— Это твои деньги, без подвоха! Бери! — сказал Парфен.

«Спрячь и больше не показывай!» — сердито сказал глазами Курочкин. Он понял, что спокойно смотреть в окно ему не дадут, и полуобернулся к непрошеным гостям.

Парфен спрятал.

— Что, так и будешь в грязи жить? — спросил Змей.

«Понимал бы ты!» — глазами ответил Курочкин.

— А чего тут понимать? — сказал Змей с чувством. — Конечно, мы бы все так хотели: на все плюнуть, жить в дерьме, никакой тебе заботы, пустота! Что ты есть, что ты нет — все едино! Но мы, между прочим, отвечаем за других! Мы обязаны! Через силу! Потому что, если все будут как ты, страна погибнет через неделю! Где твоя совесть гражданская, а? На что ты

вечность тратишь? Вино жрешь и подыхаешь помаленьку? Тогда возьми деньги и напейся уж сразу до смерти, освободи место для здоровых людей, которые нацию подымут!

«Он что, псих?» — спросил глазами Курочкин Писателя и Парфена.

— Он философ, — сказал Писатель. — Нет, но в самом деле, почему вы отказываетесь? Чем вам нынешняя жизнь дорога?

Курочкин, чувствуя в этом вопросе неподдельный интерес, стал объяснять. Он повел правой рукой и склонил голову в сторону дерева.

«Вот дерево», — перевел Писатель.

Курочкин кивнул. И стал что-то изображать руками, головой, множеством улыбок.

Чувствуя прилив вдохновения, Писатель пересказывал:

«В этом дереве тысячи листьев. Они похожи формой, но различаются величиной, расположением на ветке, а сейчас, осенью, еще и окраской. Есть совсем зеленые, а есть совсем уже желтые. И вот я выбираю зеленый лист и смотрю на него не отрываясь. Проходит день, два, три, он на моих глазах начинает менять цвет, желтеет, желтеет, становится совсем желтым. И я хочу уловить момент, когда он оторвется от ветки и полетит. Но вот странное обстоятельство: тот лист, на который я смотрю, не отрывается от ветки на моих глазах! Бывает, налетит ветер, срывает с ветвей целые охапки, швыряет, как играющие дети в осеннем саду, но мой лист упрямо остается висеть! Он словно охраняет какое-то таинство природы, чувствуя на себе пристальное внимание».

— Что ж ты, даже и в туалет не выходишь или насчет пожрать? — спросил Змей.

Курочкин всплеснул руками.

Писатель перевел:

«То-то и оно! Отлучишься на минуту, вернешься — листа нет! Он сорвался! Тогда я выбираю другой лист, смотрю, смотрю — результат тот же! Однажды я решил не сходить с места. Запасся едой и питьем, ведерочко поставил для неотложных дел. Смотрю. Смотрю днем, смотрю ночью — потому что дерево освещается светом из окна. Я просидел так неделю. Через неделю, вечером, кто-то очень громко закричал в коридоре. Соседи. Я невольно, абсолютно невольно вздрогнул и посмотрел на дверь. Это была доля секунды. Обернулся — листа нет!»

Писатель рассказывал, а Курочкин кивал: так, так, именно так!

— Спроси: зачем ему это нужно? — удивился Змей.

«А затем, — объяснил Курочкин с помощью Писателя, — что я знаю: если удастся проследить жизнь листа от начала его пожелтения до отрыва от ветки, мне откроется какая-то тайна! Я пойму что-то важное в этой жизни — и в мироздании вообще!»

— Красота спасет мир! — важно сказал Змей.

Курочкин заволновался, заерзал.

«Он хочет сказать, — перевел Писатель, — что мы совершенно неправильно понимаем эти слова Достоевского. Мы понимаем их примитивно: дескать, красота и гармония спасут человечество! И нам не вопрект в наши бедные головы, что гармония и красота с человечеством несовместимы! Да, красота и гармония, присущие Природе, спасут мир — но не для человека, а от человека!» Я правильно понял? — спросил Писатель Курочкина.

Тот закивал.

— А я не верю! — прозвучал злой голос Парфена. — Я не верю ни одному его слову! Нет, он не сумасшедший, он придумал себе сумасшествие! Замолчал, видите ли! На листики любуется! Тайну природы хочет открыть! Змей, сбегай за бутылкой, мы сейчас разберемся!

— А почему я? Я вам на посылках, что ль? — спросил Змей, но за бутылкой побежал — и всем показалось, что он вернулся сразу же: будто, едва выйдя за дверь, тут же вошел с двумя бутылками легкого вина.

Они сели на ящики, выпили. Угостили и Курочкина. Тот не отказался. — Ты хотя бы скажи: почему ты молчишь? — попросил Змей. — А то обидно как-то: пьешь с нами, а молчишь.

Парфену и Писателю это тоже показалось обидно.

— Он разучился говорить, — сказал Парфен.

Курочкин усмехнулся.

— Ему нечего сказать, — съязвил Писатель.

Курочкин усмехнулся.

— Он просто всех западло считает, — предположил Змей.

Курочкин усмехнулся.

— А мне, например, неприятно, что меня считают западло, потому что я не западло! — сказал Парфен. — Я с добром к нему пришел, а он меня презирает!

— Г., м. е., с. м.! — выкрикнул Писатель хохоча.

— Мы уговаривались не материться, — напомнил Змей.

— Я сейчас вот что сделаю, — сказал Парфен. — Я сейчас пойду и найду пилу и спилю дерево.

Курочкин посмотрел на него недоверчиво.

— Спилю, спилю, можешь не сомневаться! — И Парфен решительно поднялся.

Курочкин сделал протестующий жест рукой.

— Не хочешь? Скажи: «Не надо!» — и не буду спиливать. Только два слова: «не надо». Не хочешь? Ну, тогда извини.

И он пошел к двери.

— Ннн, — сказал Курочкин.

— Что?

— Не надо! — сказал Курочкин — и заплакал, слез с подоконника, лег лицом в угол на кучу тряпья, дергая плечами в неумолчном плаче.

Друзья посидели еще немного, понимая, что утешать бесполезно, — и ушли.

### Глава пятнадцатая,

*в которой Змей и Писатель упрекают Парфена в жестокости, Змей объясняет, почему Октябрьская революция 1917 года произошла в России, а не где-нибудь еще, а Писатель рассказывает историю об Идеальной Жене*

— Ну и сволочь ты, Парфен! — сказал Змей дружески. — Зачем ты его расстроил? Зачем говорить заставил?

— Это мне нравится! — возмутился Парфен. — А вы не заставляли?

— Мы просто просили, — сказал Писатель. — А ты его шантажировал. Соприкосновение с властью тебя испортило, Парфен. И главное — чего ты добился? Вместо того чтобы человеку вернуть веру в людей, мы, может, уничтожили эту веру окончательно!

— Это все деньги, — философски сказал Змей. — Где деньги появляются, там сразу беда. Настоящая русская жизнь несовместима с деньгами. Там, где нет денег, там настоящая русская жизнь. Там, где они есть, ее нет. Из-за этого и революция произошла.

Парфен и Писатель одновременно остановились и изумленно посмотрели на Змея.

— Объясни! — потребовал Парфен.

— С удовольствием!

Змей взял в ближайшем ларьке три бутылки пива, друзья сели на лавочке (в сквере между Крытым рынком и цирком), и Змей объяснил.

— Великая Октябрьская социалистическая революция... — начал он и тут же сбился: — Кстати, не понимаю, с какой стати говорить: *переворот*,

*большевицкий путч* и тому подобное? Всякое событие должно иметь свое единственное название. Революция, хотим мы того или нет, имела социалистические задачи. Значит — социалистическая. Произошла в октябре. Значит — Октябрьская. Имела великие последствия, в том числе и кровавые. Значит — Великая. Ну, это ладно. Никто до сих пор толком не объяснил, почему эта самая пролетарская революция произошла в непролетарской аграрной монархии. Она произошла в стране, экономически к революции наименее готовой среди всех других более или менее развитых стран. Почему? Опять-таки все сваливают на заговор большевиков и тому подобное. Но нет! Есть корни более глубокие! Что есть коммунизм, если отбросить побочные признаки? Коммунизм есть общество без денег! И такого общества русский человек втайне всегда хотел! Отсюда мечты и сказания о Беловодье и прочих заповедных землях, где молочные реки с кисельными берегами, податей платить не надо, все равны и расчеты друг с другом производят не деньгами, а взаимной симпатией и помощью.

— Откуда ты это знаешь? — удивился Парфен.

— Я много чего знаю, но молчу, — скромно ответил Змей, молчать отнюдь не собираясь. — Что мы видим в русской истории? Мы видим крепостное право с перерывом на полвека, поскольку после революции оно, в сущности, возобновилось, и крестьянин, как вы знаете, до шестидесятых годов даже паспорта не имел, а зарплату получал в палочках — зерном, навозом и сеном, денег практически в руках не держа. И это плохо! Народ стонал и хотел переменить свое положение! Но! Но давно замечено, что всякий, кто хочет переменить положение, стремится это сделать так, чтобы положение осталось, в сущности, таким же, только лучше.

— Не понял, — наморщил лоб Писатель.

— Объясню, — без высокомерия сказал Змей. — Народ стремился избавиться от рабского труда без денег ради свободного труда — но без денег же! Русского человека унижает какой-то бумажно-медный эквивалент его труда, его жизни, его, так сказать, экзистенции! — (Писатель и Парфен переглянулись.) — Он втайне всегда мечтал о коммунизме, когда не будет хозяев и не будет денег. От каждого по способностям, каждому по потребностям — это же замечательный лозунг!

— Извини, брат! — не вытерпел Парфен. — Мировая практика показала, что заложенный в человеке эгоизм в коммунистические рамки загнать невозможно.

— Но в этом-то и суть! — обрадовался Змей. — Если бы дело коммунизма представлялось русской душе вполне возможным, она за него никогда не взялась бы. Она взялась за него именно потому, что оно — невозможно. Ибо в желании достичь невозможного и есть смысл революции!

Змей отхлебнул пивка, собираясь продолжить, но Парфен и Писатель уже поняли его мысль.

— Значит, — сказал Писатель, — мы занялись бессмысленным делом, если собираемся кому-то помочь деньгами?

— Я этого не сказал! — возразил Змей. — Во-первых, хоть деньги *в принципе* несовместимы с русской жизнью или, вернее сказать, с душой русской жизни, но *в действительности* иногда очень даже совместимы. — Иллюстрируя, он щелкнул пальцем по горлышку бутылки, а потом погладил себя по животу, демонстрируя, каким образом деньги могут быть уместны в душе русской жизни. — Во-вторых, мы поступаем вполне национально, пытаясь достичь невозможной цели. И парадокс в том, что она иногда достижима! Просто ты, Парфен, вместо человека в настоящей беде подсунил нам идиота, бывшего пособника бандитов. Ты вот говорил, что у него сестра есть — бедствует с тремя детьми и мужем. Вот простое человеческое горе, вот куда надо идти!

— Если б я знал, где она живет! — ответил Парфен.

— Трое детей? — переспросил задумчиво Писатель. — Есть трое детей. И есть женщина, которая... Вот уж кого мы осчастливить можем! Пойдемте, тут недалеко!

И они пошли, и по дороге Писатель рассказал следующую историю.

Лилия Ласкерова росла в доброй, хорошей семье и мечтала завести себе такую же. Правда, будучи единственным ребенком, она хотела иметь несколько детей.

*Милку находят, жену выбирают*, говорит народ, и Лилия, хоть и не знала этой поговорки, душой чувствовала ее правоту. И она с девичества хотела, чтобы ее именно выбрали. Она замечательно училась, закончила кроме общеобразовательной музыкальную школу по классу фортепиано, она занималась физкультурой (спорта чураясь из-за вредных для женского организма чрезмерных нагрузок), она воспитывала в себе ровность и мягкость характера, необходимую для семейной жизни, она пристально глядявалась в зеркало: достаточно ли хороша, чтобы нравиться? И когда подростковые черты ее закрепились и она увидела, что у нее не весьма красивый нос, Лилия мягко, но категорично высказала родителям желание сделать пластическую операцию. Родители удивились. Тогда ведь подобные операции очень в новинку были, делали их в двух-трех клиниках бывшего Советского Союза — и чуть ли не подпольно, ибо государство ко всяким попыткам своих граждан изменить внешность относилось очень подозрительно. И стоило это, конечно, соответственно. Отец, будучи молодым доктором наук да к тому же военным, работая в секретном оборонном научно-исследовательском институте, получал хорошую зарплату, ему по силам было оплатить операцию, но он не понимал, зачем это красавице дочери. Никогда до этого ни о чем не просившая, Лилия сказала: «Мне это нужно».

И операцию сделали, и удачно: Лилия окончательно похорошела. При желании, слегка изменив вырез глаз (ей советовали при операции), она могла бы стать вообще редчайшей красавицей — из тех, вслед кому даже женщины на улице оборачиваются. Но именно этого Лилии не надо было, ей требовалось столько привлекательности, сколько следует для создания красивой семейной пары (ведь не только ее, но и она будет выбирать).

Излишне говорить, что она не пила алкоголя, не курила табака и не употребляла нецензурных выражений.

И ее полюбил юноша из приличнейшей семьи, юноша из вундеркиндов, перспективный ученый, сразу нашедший общий язык с отцом Лилии. И Лилия полюбила юношу. И они поженились, и у них родился сын. Родители с обеих сторон не могли нарадоваться на них, купили им кооперативную квартиру, муж Борис работал и научно творил, а Лилия воспитывала ребенка и создавала в доме уют, гармонически соответствуя Борису и телом.

Она уже думала о том, что пора заводить второго ребенка. Но тут случилось что-то: Борис стал каким-то иным, раздражительным, а потом вдруг закрутил роман с какой-то лаборанткой, Лилию любезные люди тут же поставили в известность. Однажды вечером, вернувшись домой, Борис увидел в прихожей два больших чемодана. Он молча взял их, повернулся и ушел.

Лилия ждала.

И он вернулся к ней через полгода.

Она сказала, что не сможет жить с ним, потому что не сможет простить.

«Вот и слава Богу!» — сказал Борис загадочную фразу — и ушел теперь уж навсегда.

Лилия решила, что будет жить одна и воспитывать сына. А вокруг нее меж тем как вороны кружились мужчины, но, по правде сказать, мало кто

всерьез покушался на ее покой: все как-то сразу распознавали в ней не лакомство временной любовницы, а гордое достоинство вечно ждущей *идеальной жены*.

Она стала работать в сфере культуры — весьма энергично и успешно. И тут ей встретился художник Соченов. Довольно молодой, тридцати лет, и очень нетипичный в смысле чурания от богемной жизни. Не пил, не курил, с б. одухотворенными не знался, имея вполне приличную связь с замужней женщиной. Были до этого две жены, но, увы, стервы. Тем не менее он знал, что по натуре все равно семьянин, он мечтал просто жить с хорошей женой и хорошими детьми и писать свои пейзажи в меру отведенного Богом таланта с перерывом на обед, а потом эти пейзажи продавать через Худфонд и в магазине «Народные ремесла»: не чрезмерный, но верный заработок, учитывая, что у него и почитатели есть, и покупатели, а иногда и то и другое в одном лице. И вот ему встретилась Лилия.

Они полюбили друг друга.

Он полюбил сына Лилии Ванюшу, а Лилия ему через год еще сына подарила, Матвея, и это был первый ребенок, которого Соченов признал истинно своим, законным: предыдущие зачатые были тоже в законе первых браков, но брак с Лилией Соченов считал законным в ином, высшем смысле (не веря раньше в Бога, теперь он стал поверивать в Него). Тут и любовь была, и ответственность, и часто, стоя перед мольбертом, когда работа ладилась и необыкновенный покой разливался в душе, Соченов вдруг ознобом чувствовал за спиной гармонический мир Семьи, и от этого и радостно становилось, и страшно.

Все было хорошо. На пятую годовщину свадьбы они устроили себе праздничный ужин при свечах. Соченову захотелось шампанского. Он принес шампанского сразу полдюжины и, выпив первую бутылку, сказал с напугавшей ее мукой: «Боже, как я тебя люблю! Боже, какая ты женщина!»

В этот вечер он напился, вышел за сигаретами — и исчез.

Она обзванивала милицейские участки, больницы, морги.

Она, не боясь унижения, потому что не знала, что это такое, ходила по друзьям его, бывшим женам, подругам.

Почти все видели его, но никто не мог указать его теперешнее местонахождение.

По слухам, он уехал в Москву.

Через шесть с половиной лет она увидела его на улице, пьяного, в обнимку с совершенно непотребной девкой.

Она прошла мимо.

И уже не чаяла для себя иной судьбы, кроме как растить в одиночку двоих сыновей и заниматься любимой работой в сфере культуры, но тут на ее пути встретился Самсон Вырьин, режиссер, приехавший в драматический театр что-то ставить. Он, имея семью где-то то ли в Улан-Удэ, то ли в Йошкар-Оле, вот уже двенадцать лет практически не бывал дома, разъезжая по стране и ставя спектакли в разных театрах. Ему предлагали стать главным режиссером, но он нигде не захотел остаться, за ним следовала туманная слава гения-одиночки; по крайней мере он предпослагал так.

Однажды Лилия, заядлая театралка, была на премьере. Как человека близкого к театру, ее пригласили на послепремьерный фуршет. Она хотела побыть там минут пятнадцать и тихо скрыться, но Самсон углядел ее и подошел смело, открыто; у него в каждом городе был роман с актрисами или с околотеатральными дамами. Он говорил с нею о холоде творческого одиночества, о холоде дорог и перепаути, о холоде паршивого гостиничного номера. Она пригласила его к себе на ужин в ближайший свободный вечер.

Вырьин пришел в ее квартирешку и с удивлением увидел, что стол накрыт на четверых и уже сидят за ним сыновья Лилии, один побольше,

другой поменьше. И ни вина, ни водки, а свою бутылку ему вежливо не позволили поставить:

— В этом доме спиртного не пьют.

В присутствии детей (которых Вырьин вообще не любил) он не знал, о чем говорить, вяло отвечал на вопросы Лилии, касательные недавнего спектакля, выжидал и, чтобы время зря не тратить, активно (впрок) кушал.

Ужин закончился, детишки ушли в другую комнату.

— А они в гости не собираются? — спросил Самсон. — Или погулять?

— Зачем?

Растерявшись, Самсон уныло стал говорить о холоде творческого одиночества, о холоде дорог и перепутий, о холоде паршивого гостиничного номера.

И поглядывал, поглядывал на нее — и вдруг сказал:

— Знаете что? Выходите за меня замуж!

— Прямо сейчас? — спросила Лилия.

— Сейчас нельзя, потому что я еще женат.

— Не знаю... Вы мне почему-то нравитесь... Надо подумать.

И Самсон уехал в Йошкар-Олу (или Улан-Удэ) разводиться, а потом куда-то для заработка — ставить спектакль, писал ей письма, она отвечала ему.

Они полюбили друг друга.

Он полюбил ее детей, Ивана и Матвея. Работы, к сожалению, он в театрах города не смог добыть, пришлось взять при одном из Домов культуры, чудом сохранившихся, самодеятельный коллектив, подрабатывая также постановкой массовых городских праздников и шествий.

Через год Лилия родила ему сына Прохора.

Вырьин был счастлив.

Однажды он сказал Лилии, что она удивительно — просто потрясающе! — похожа внешне на его бывшую жену, отличаясь во всем остальном в лучшую сторону.

А Лилия спросила его, не хочет ли он поехать куда-то в серьезный театр и поставить серьезный спектакль.

— Зачем? — спросил Вырьин. — Это, образным интеллигентным языком говоря, туфта и фуфл! У меня есть мозги, но нет таланта. Мои спектакли были холодны как лед и рассчитаны, как шахматные партии-пятиминутки. Я умный бездарь. Я люблю тебя и детей, и больше мне ничего не надо. Мне все равно, кем работать, лишь бы деньги, лишь бы тебе было полегче.

— Мне хорошо, — сказала Лилия.

И он бросил окончательно театральное свое баловство и, заняв денег у богатого старшего брата из Улан-Удэ (или Йошкар-Олы), пустился в коммерцию — и успешно. Одного терпеть не мог — связанных с работой поездок. И вот уже встал на ноги, вот уже в семье благополучием стало пахивать, и вдруг Вырьин не возвращается из очередной командировки.

Через два года он присылает документы и заявление на развод, Лилия оформляет все и возвращает ему, ни строки не добавив от себя.

Тут Писатель замолчал.

— Ну? Что дальше-то? — спросил Змей.

— Не понимаю! — сказал Писатель. — Не понимаю знаете чего? Не только бывшая жена этого самого режиссера была похожа на Лилию, но и бывшие или последующие жены двух первых ее мужей внешне были почти точные ее копии. И не только внешне!

— Ну и чего тут не понимать? — сказал Змей с невозможной деликатностью, показывая интонацией, что он не учит Писателя логике жизни, а как бы высказывает дурковатую народную правду, которая сама со-

бой исходит из его уст, будто и без его участия, и даже вид у Змея стал несколько придурковатый. — Чего тут не понимать? Очень простая история: мужчина жаждет идеала, но вынести его не может. Вот и все.

— Мудро и верно! — поддержал Парфен, чувствуя еще горький, неприятный осадок после посещения Курочкина и своего непонятного там поведения и желая поэтому быть согласным с друзьями и послушным течению их мыслей.

— Нет, не в этом дело! — сказал Писатель. — Суть-то в том, что все трое продолжают ее любить! Но — издали. Они не ее идеальности испугались, не своей к ней любви испугались, они испугались того, что такая женщина, в сущности, есть цель жизни, но если цель достигнута, то возникает ощущение, что дальше незачем жить! Мне художник признавался потом, что пытался ее всячески совратить. Это, говорит, такая картина, которую надо все время разрушать и воссоздавать заново!

— Пошла писать губерния! — дружелюбно сказал Парфен. — Это ты уже придумываешь. Ты лучше скажи, как она теперь живет.

— В нищете, как же еще. В ужасающей нищете. Трое сыновей, из которых один почти уже взрослый, все та же двухкомнатная квартирка, Лилия постоянно ищет приработок, она вечно в долгах, вечно в мыслях об элементарном: чем детей накормить! Такая душа, такой ум — все гибнет, пропадает!

— А красота? — спросил Парфен, глядя с усиленным простодушием.

— То-то и оно, что выглядит лет на двадцать восемь, не больше! И есть мужчины, готовые ей помочь, ничего не прося взамен — ни любви, ни постели.

— И ты в том числе?

— И я, — сказал Писатель.

И солгал.

Помочь он Лилии не может, да она и не приняла бы помощи. А заходит к ней — пообщаться, на самом деле раздраженно испытывая в ней несокрушимую невинность идеальной жены (при том, что она ничьей женой не является), его эта идеальность дразнит и уязвляет, и не раз подвезжал он к Лилии, мечтая превратить ее из идеальной жены в идеальную любовницу, — и даже как-то, отчаявшись, объяснил ей, что если она не перейдет в эту другую категорию (с его, например, помощью), то ей обеспечены к сорока годам неврозы, депрессии и т. п. Лилия выслушивает спокойно, не умея обижаться на посторонних, даже когда ей хамят, и говорит:

— Что ж, чему быть...

И тут друзья подошли к пятиэтажному дому.

— Здесь, — сказал Писатель. — Давненько я тут не бывал, с полгода уже...

## Глава шестнадцатая

### *Лилия и бойскаут*

Дверь им открыл длинный подросток, при виде которого сразу становилось ясно, что говорит он басом. Но подтверждения этому друзья не дождались: ничего не спрашивая (узнав Писателя, но даже не кивнув ему), подросток впустил их в квартиру. И скрылся.

Друзья переглянулись и стали потихоньку продвигаться, озираясь ища живое. Живое оказалось в кухне, но признаков жизни не подавало. Голова его с нечесаными космами лежала на столе, невообразимо грязном, с пустыми бутылками и стаканами.

— Новый сожитель? — тихо спросил Змей.

Писатель пожал плечами и громко сказал:

— Здравствуйте!

Голова зашевелилась и поднялась.

Они увидели женское опухшее лицо, на щеке четко прорисовался красный след от чайной ложки, на котором оно, лицо, сейчас лежало.

Глаза были туманны, но вот в них появился проблеск сознания: она узнала Писателя.

— Ба, кто пришел! — сказала женщина. — Выпить есть?

— Нет.

— А чего же ты пришел?

— Я?.. В гости.

— Кто так в гости ходит, с. е., х. т. в. з., п.!

— А не хватит тебе, Лиля? Ты давно?

Лилия вздохнула и сказала:

— С недельку.

— Надо перестать.

— Учи ученого, е. т. м., к. б.! Закурить дай хотя бы!

Писатель дал ей сигарету.

— Ваньк! — закричала Лилия. — Где Костик?

Ответа не было.

— Ваньк! — грозно повторила Лилия.

Нет ответа.

Лилия взяла стакан и разбила о стену.

— Ваньк!

Подросток явился и встал в двери.

— Где Костик, я спрашиваю!

— Не знаю, — ответил подросток долгожданным басом.

— А Матюша где?

— В школе.

— А Проша где?

— В школе.

— А почему же ты не в школе, е. т. м., с. с.?!

— А потому, что я ее в этом году закончил уже.

— Серьезно? — удивилась Лилия. — Молодец! Это надо отметить!

Подросток на это предложение не отреагировал, ушел.

Писатель, взволнованный, потрясенный, сел против Лилии, не обращая внимания на грязь.

— Лилия, что случилось? — спросил он. — Что с тобой? Ты пьешь, куришь!

— Все в порядке. Я счастлива.

— Но ты же болеешь, тебе лечиться надо!

— Может, и надо, — не стала спорить Лилия. — А деньги где?

— Деньги есть! Вот! — Писатель нетерпеливо протянул руку, и Парфен вложил в нее деньги. — Вот! Три тысячи долларов! И вылечить можешь, и старшему сыну поможешь в институт поступить, и младших в порядок приведешь. Надо еще — я принесу еще!

Лилия долго смотрела на деньги.

— Не верит, — сказал Змей.

Она взглянула на него, поднялась, подошла к крану и долго умывала лицо холодной водой. Умылась, утерлась серым полотенцем.

— Откуда это? — спросила.

— Я премию литературную получил. Большую. Я всегда тебе хотел помочь, ты же знаешь.

— Чего ты хотел, я знаю!..

Она села и опять уставилась на деньги.

Потом подняла уже почти трезвое, просветлевшее и похорошевшее лицо (и Змею с Парфеном как-то сразу легче на душе сделалось).

— Я знала, — сказала она. — Я знала, что рано или поздно так и будет. Я рвалась и упиралась — и оказалась на доньшке. Я перестала рваться и упираться — и все само собой появилось. Только так в жизни и бывает. Господи! Заново жизнь! Господи!

Она смеялась и плакала.

Тут послышался стук двери, и в кухню вошел молодой человек лет тридцати с бутылками дешевого вина в руках. Но выглядели они в его руках как-то невинно, да и у самого у него вид был невинный: аккуратный, подтянутый, он похож был на пионервожатого (это для тех, кто помнит, что такое пионервожатый, если ж современным языком сказать — на престарелого бойскаута) с неистребимой какой-то детскостью в лице, но затвердевшей при этом в жесткие непреклонные контуры.

— Здравствуйте, — вежливо сказал он голубоватым голосом (каким он у пионервожатых почему-то и бывал), ставя бутылки на стол. — Это тебе, Лилушонок. Сейчас получше будет. Много не дам, а по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, Лилюнчик? А это что такое?

— Это деньги, Костик.

— Какие деньги?

— Вот он. — Лилия указала на Писателя. — Он мой друг. Он принес мне деньги. Чтобы помочь.

— Конечно, конечно, — сказал бойскаут Костик так, как говорят больному белой горячкой, что чертики, в общем-то, есть, но это ничего, исчезнут.

— Это настоящие деньги. Три тысячи.

— Конечно, конечно, — согласился Костик и повернулся к Писателю. — За что эти деньги? — четко спросил он.

— Что значит — за что? Просто так.

— Ничего не бывает просто. Чего вы добиваетесь? Хотите у женщины отнять последнюю квартиру? Дадите три тысячи, а скажете, что давали тридцать, и фальшивую расписку покажете? А это кто?

— Мы друзья, — сказал Змей. — И ты зря...

— Я не с тобой разговариваю, — обрезал его Костик. — Итак, зачем вы пришли втроем?

— Мы просто...

— Повторяю: ничего не бывает просто.

— Костик, нале! — послышался голос Лилии, которая опять ослабла.

— Сейчас, Лили. Итак, насколько я понимаю, вразумительного ответа нет? Конечно, вы надеялись застать тут беззащитную одинокую женщину. Но ее есть кому защитить. Убирайте свои бумажки — и убирайтесь!

— Костик, ты что? Это деньги! — вскрикнула Лилия.

— Тебе они нужны, Лиленьш? Бери! Но я — уйду.

Костик взял бутылки и сделал шаг от стола...

— Выбирай, Ли: или эта бумажная грязь — или я!

— Костик, я не смогу без тебя жить! — сказала Лилия, глядя на бутылки. — Останься. А вы проваливайте к е. м., е. в. м., с. п.! — И Лилия схватила деньги и сделала движение, чтобы разорвать их.

Парфен метнулся молнией, выхватил, спрятал в карман.

Змей взял Писателя под локоть.

Тот был настолько ошарашен, что плохо соображал, и позволил себя вывести.

И только на улице у него прорезался голос.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — А вы?

— Я тоже, — сказал Парфен, которому было не до умствований, потому что при виде денег, которые могли погибнуть на его глазах, он вдруг вспомнил о тех, основных, оставшихся в квартире Змея.

И этой тревогой он поделился с товарищами.

— В самом деле, — сказал Писатель. — Надо проверить.

И они пошли с Парфеном, и отошли уже шагов на двадцать, и увидели, что Змея нет с ними.

Обернулись. Змей стоял с опущенными руками и понурой головой.

— Ты чего?

— Конечно! — сказал Змей. — Деньги для вас важнее человека!

— Ты о чем?

— А о том! Теперь — моя очередь.

— Какая очередь?

— Вы меня водили к своим людям, которым хотели денег дать? Теперь — моя очередь.

— Хорошо, — сказал Писатель. — Если это недолго.

— Пешком десять минут.

— Пошли.

### Глава семнадцатая

*Лотерейщик Н. Ю. Юрьев и алгоритм Фортуны. Беллетристика. Осмеяние Змея. Тю-тю*

Они купили по бутылке пива и пошли, на ходу прикладываясь.

— Ну? — поторопил Парфен задумчивого Змея. — Что у тебя за кандидатура? Что за обездоленный человек?

— Он не то что обездоленный, он скорей псих. Это брат мой троюродный. И его надо вылечить.

— От чего? Не тяни, рассказывай!

И Змей рассказал.

Николай Юрьев был обычный мальчик и учился в школе. Тогда существовал обычай: девочки поздравляли одноклассников с днем Советской Армии (23 февраля), даря, допустим, открыточку или лотерейку ДОСААФ и книгу «Битва в пути», а мальчики поздравляли одноклассниц с Международным женским днем восьмого марта, тоже даря открыточку или лотереечку и тоже книгу — например, «Вязание крючком и спицами». Кстати, к Восьмому марта выпускались специальные лотерейные билеты. Досаафовские были дороже (50 коп.) и считались солиднее, потому что на них выпадало несколько автомобильных выигрышей, восьмимартовские стоили тридцать копеек, автомобилей было один-два, зато много всякой мелочи. Впрочем, и те и другие лотереи воспринимались одинаково бесполезными: не было случая не то что в классе, но и в школе, чтобы кто-то что-то выиграл. Не везло как-то.

И вот однажды Николаю поручили купить для семнадцати девочек семнадцать лотерейных билетов. Он купил. С приветливыми шутками, с мальчишескими смущеньями подарки были розданы девочкам, но одна книга и один билет оказались лишними: девочка накануне попала в больницу. Николай, раз уж он был ответственным за мероприятие, взял пакет с подарком домой, чтобы принести его в школу, когда девочка выздоровеет.

Но девочка не выздоровела, умерла.

Через какое-то время Николай, листая от безделья газету «Известия», которую выписывал отец, наткнулся на таблицу розыгрышей восьмимартовской лотереи. Он вспомнил о билете — и вдруг появилось в нем волнение странного предчувствия, которое он запомнил на всю жизнь. Он стал искать билет. Перерыл все, нашел книгу «Вязание крючком и спицами» — а лотереи нет. Он разозлился (хоть был мальчик уравновешенный), начал раскидывать вещи, пинать их ногами. Свитер свой так поддел, что он взлетел на шкаф. Успокоившись и не желая нагоняя от родителей, Нико-

лай стал убираться, полез и за свитером и там, на шкафу, в мохнатой пыли, обнаружил билет.

Он бросился к столу и с нарастающим чувством уверенности принялся сличать номер.

И — выигрыш!

«Гитара» — было обозначено.

Николай был счастлив. Играть на гитаре он не умел, но главное — выигрыш! Никто в школе никогда не выигрывал, а ему — повезло!

Никому ничего не говоря, он отправил заказным ценным письмом лотерею в адрес тиражной комиссии, оттуда пришел ответ и вопрос, не желает ли он получить выигрыш деньгами.

«Только гитарой в гарантированном мне законом СССР порядке, а не жульничество!» — сердито написал Николай.

Через три недели он получил уведомление о посылке и с замирающим сердцем помчался на почту.

Там ему объяснили, что посылка — наложенным платежом и для получения ее ему следует заплатить 8 руб. 30 коп. Николай побежал домой, схватил из книжного шкафа несколько книг отца, по которым тот учился в техникуме и которые ему, работающему прорабом на стройке, давно были не нужны, отнес их в магазин «Букинист» и сдал за 10 руб. 18 коп.

В результате он получил-таки выигрыш — гитару стоимостью 7 руб. 50 коп., выпущенную, как свидетельствовала наклейка внутри корпуса, Можихинским деревообрабатывающим комбинатом.

Гриф ее болтался, дека имела трещину, металлические струны басов под пальцами визжали, как сто рожающих кошек, но Николай с помощью приятеля-гитариста довел ее до ума и у того же приятеля перенял несколько аккордов. А дальше учился уже сам, но серьезно, по самоучителю Иванова-Крамского. После школы он стал подрабатывать музыкантом в ресторане, обивая порог филармонии и пытаясь проникнуть в какой-нибудь профессиональный вокально-инструментальный ансамбль. И ему повезло, его взяла на сельские гастроли ритм-гитаристом вместо запившего музыканта группа «Созидатели». Николай прошел нелегкую практическую музыкальную школу, он играл и на бас-гитаре, и на ударных, и за «Ионику» вставал, и перкуссией действовал, и даже саксофон освоил! Кроме этого у хваткого парнишки, трезвенника и скромника, обнаружились организаторские способности, и вскоре он стал по совместительству чем-то вроде администратора ансамбля. Шли годы, он превратился в администратора матерого, вся страна знала его — и помнит сейчас (имея в виду, конечно, профессиональные круги). Причем работал он по мере возможности честно, а если и получал прибыль незапланированную, то, упаси Боже, не в виде взяток, а в виде естественно остающегося неучтенного остатка, нигде никаким образом не зафиксированного. Внешний вид у него был такой, какой положено иметь администратору его ранга: черный дорогой костюм, ослепительно белая рубашка, лаковые туфли. Но никто не знал, что костюм, рубашка и туфли существуют у Николая Юрьевича в единственных экземплярах, он носит их крайне бережно, собственноручно чистит, гладит, стирает. И завеса над его второй тайной жизнью (потому что описанная до этого явная была даже и не жизнью, а приложением) открылась бы только тому, кто побывал бы у него в квартире. Обставлена она была старым шкафом, списанным по ветхости и простоявшим до этого тридцать семь лет в одной из гримерок филармонии, взятым оттуда же креслом и феноменальным советским дачно-походным изобретением — раскладушкой. Это — вещи. А питание? В стареньком холодильнике имелась бутылка подсолнечного масла, две луковицы, полпачки маргарина, пять картофелин и долька чеснока. Чаю и кофе он не пил.

И все это оттого, что Николай Юрьевич Юрьев экономил каждую копейку, абсолютно всё тратя на лотерейные билеты. Он покупал все, какие

только выпускались, он покупал их и вразбивку, и подряд по сто штук. И выигрывал: павлово-посадские платки, утюги, чайники, те же гитары неистощимого Можжихинского комбината... Один раз выиграл даже ковер, а один раз телевизор «Святязь». Все выигрыши он предпочитал получать деньгами, и препятствий ему не чинили, лишь только за «Святязь» категорически отказались выдать денежный эквивалент. Что ж, пришлось получить «Святязь», включенный в сеть, пятнадцать минут разогревался, потом появилась полоса, потом возник диктор и произнес: «...тытая доминирующие тенде...», после чего телевизор моргнул, икнул человеческим, но неестественным голосом, и взорвался.

Отделавшись испугом и обгоревшими концами портьер (новых покупать не стал, а укоротил), Юрьев бесчувственно (верней, с окаменевшим одним чувством) продолжил свое дело. Он мечтал о главном выигрыше — об автомобиле «Волга ГАЗ-24», все остальное его не устраивало, мелкие выигрыши лишь раззадоривали. И главное, чувство уверенности, осенившее его когда-то, не проходило. Тут настали времена, когда лотерей расплодилось безумное множество — от моментальных, стерев защитный слой на которых можно сразу же узнать, проиграл ты или выиграл, до еженедельных с объявлением выигрышных номеров по телевизору. Пришел черед и суперлотерей вроде «Русского лото» и «Лотто-миллион» с главным выигрышем, вырвавшимся до сумасшедших цифр. И Юрьев бросил все — и ударился именно в две эти лотереи. Но и обстоятельства первой, явной его жизни менялись на глазах: мелкие песчари новорожденного шоу-бизнеса, которых Юрьев и за людей-то не считал, на глазах выросли в молодых акул, зубастых и неуязвимых, какими и являются настоящие акулы животного мира. Однако Николай Юрьевич Юрьев стал почти психологически неуязвим, он равнодушно отнесся к тому, что его вытеснили, отстранили, убрали — и что приходится служить теперь в той же филармонии завхозом, под казенным серым халатом нося все тот же черный вечный свой костюм. Дело в том, что в результате многолетних расчетов, подсчетов, попыток выявить алгоритм Фортуны он пришел наконец к выводу, что никакого алгоритма нет: купишь ли ты тысячу билетов или один, увеличиваются шансы лишь на мелкие выигрыши (которые даже в совокупности всегда меньше расходов!), а для ГЛАВНОГО выигрыша — все равно. Поэтому он покупает один билет каждого розыгрыша, заполняет, отсылает — и ждет. Восемь раз он выигрывал мелкие суммы, ничуть им не радуясь. И для него уже не то важно, что у главного выигрыша много нулей, а то, что он один его получит, что удача наконец явится к нему во всем блеске, увенчает его жизнь — и оправдает многолетние предчувствия.

— Это прямо беллетристика какая-то! — поморщился Писатель, тонко чувствующий безвкусицу в литературных и жизненных сюжетах (потому отчасти, что в своих коммерческих произведениях строго соблюдал законы безвкусицы). — Не хватает финала: он выигрывает, едет лично доставить свой билет и получить деньги, в поезде у него крадут бумажник, в котором ничего, кроме билета, и нет.

— Или, — подхватил Парфен, желая показать, что и его ум способен на творческую фантазию, — получает выигрыш, решает поменять на доллары, и его обманывают жулики, оставив без копейки.

— Или, — соревновался Писатель, не желая уступить, — он умирает тут же, у экрана телевизора, как только узнает, что выиграл.

— Да ну вас, — обиделся Змей. — Я вам про живого человека рассказывал, а вы начинаете про беллетристику какую-то. Я могу и один к нему сходить, вот в этом доме он живет, — указал Змей на старый облупленный дом, первый этаж оштукатуренный, второй — деревянный.

— Иди, — сказал Парфен, отдавая ему деньги.

И Змей ушел.

— Вот сейчас он поднимается, — сказал Писатель.

— Юрьев открывает дверь, — сказал Парфен.

— Змей говорит ему, что хочет дать ему три тысячи долларов, — сказал Писатель.

— Юрьев ничего не понимает.

— Змей объясняет как умеет.

— Юрьев начинает понимать. Он в первую секунду радуется: удача пришла.

— Но тут же до него доходит смысл: нет, это не удача, а суррогат удачи!

— И он страшно кричит на Змея. Ему не надо подачек, он играет с судьбой в честную игру!

— Пошел прочь, кричит он и норовит столкнуть Змея с лестницы.

— Тот спускается, на ходу придавая лицу спокойное выражение.

— Нет, выражение легкой досады. И говорит: его нет дома.

И как только Парфен с Писателем закончили этот свой ёрнический диалог, из-за угла дома показался Змей с выражением легкой досады на лице.

— Его нет дома, — сказал он.

— Какая жалость! — воскликнул Парфен. — Может, сходим на работу, в филармонию?

— Не надо. Там эта... соседка там... Сказала, что он в больнице.

— Тем более! В больницу к нему пойдем!

— Ты дослушай! — рассердился Змей. — Он в больнице, да. А в больнице отделения разные, так или нет? Морг в том числе. Он в морге, в общем.

— Тогда.. — начал было Парфен, но Змей с такой обидой посмотрел на него, что тот умолк.

— Ладно, — сказал Писатель. — Ходим, ходим, а время обедать. Давайте купим пожарть чего-нибудь и пойдем, Змей, к тебе. Закусим, выпьем слегка.

Так они и сделали. То есть купили по дороге колбасы, сыра, хлеба, бутылочку водки, — и вот они дома у Змея, в уютной его комнатухе.

Змей полез под кровать. Шарил. Вылез. Осмотрелся.

— Что? — спросил Парфен.

— Тю-тю.

— Что — тю-тю? — заорал Писатель.

— Нету денег...

### Глава восемнадцатая,

*в которой Писатель и Парфен обличают Змея, ибо Писатель с досадой подумал, что надо было быстрее хватать эти деньги и нести домой — на радость жене и дочерям, он тосковал, что не увидит теперь их счастливых лиц; с другой стороны, дочери стали до того отчужденными, что, пожалуй, элементарного человеческого чувства признательности выразить не пожелают, так как слишком это для отца большая роскошь, обойдется; впрочем, нет смысла заранее огорчаться — денег-то нет; а Парфен признался себе, что втайне с самого момента нахождения денег представлял, в каком изумлении вытянется лицо жены (и без того достаточно вытянутое), а он не сразу, нет, не сразу выложит эти деньги, он сначала скажет, что губернатор вскорости покинет губернию и решил напоследок всех помощников щедро одарить, — и даст ей тысячу, когда же она наохается и наохается, скажет, что давно пора бы, к чертям собачьим, сменить мебель, она возразит: на это тысячи не хватит, он скажет: «Почему тысячи? У меня еще есть!» — и начнет вынимать деньги, раскладывая их на широкой супружеской постели (он почему-то эту сце-*

*ну в спальне представил), и жена вслух будет считать, на глазах сходя с ума от радости, — и вот уже вся постель застелена купюрами, они берут их в охапки и осыпают себя, а потом обнимаются и... — но тут Парфен подумал с тоскою, что; увы, пусть подло это, но не жене хотел бы он эти деньги бросить к ногам, а той женщине, которая ушла от него, с нею хотел бы он обняться и... — но денег-то нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

— Ты лопух, — сказал Змею Писатель.

— Ты просто идиот, — констатировал Парфен.

— Ты нарочно это сделал! — заявил Писатель.

— Ты, может, их перепрятал? — заподозрил Парфен.

— У него на это не хватило б ни времени, ни ума, — отверг Писатель.

— В таком случае, его убить мало! — приговорил Парфен.

— Ты абсолютно нищий духом человек, а еще в Евангелии сказано, что у неимеющего отнимется! — заклеил Писатель.

— Ты козел, — втолковывал Парфен.

— Ты один раз в жизни в руки получил счастье, но, поскольку оно для тебя в диковинку, ты сумел все сделать для того, чтобы это счастье уплыло из твоих рук! — объяснил Писатель.

— Ты урод, — изгалялся Парфен.

— Ты еще в детстве поражал меня своим неопитством и нежеланием развивать свой ум и интеллект! — огорчился Писатель.

— Ты мундук! — неистовствовал Парфен.

— Ты е. п., ш. т., г. с., в. д. е. к.! — не выдержал Писатель.

— Мы договаривались не выражаться, — напомнил Змей, глядя в пол.

— Не выражаться! — завопил Парфен. До этого он сжимал в руке один из шаров, увенчивающих допотопную металлическую кровать Змея. Когда-то шар плотно был привинчен, потом резьба стерлась и разболталась, Змей еще в детстве, балуясь, отвинчивал-привинчивал шары — и вот теперь шар держался на штыре нахлобучкой. И Парфен дернул рукой и ощутил шар в руке и вне себя от ярости бросил его в Змея.

Он промахнулся. Шар шарахнулся в стенку, проломив ее, реечно-штукатурную, — и тут же исчез в дыре.

Писатель подошел, осмотрел и сказал Парфену:

— Ты его убить мог.

Змей поднял голову, тоже подошел и сказал:

— Да.

— Я мимо бросал, — сказал Парфен, мгновенно вспотев и зная, что говорит неправду.

Змей подумал о чем-то и вдруг закричал:

— Мама! — и выбежал.

Парфен и Писатель молчали.

Через пару минут Змей влетел в комнату:

— Пошли! Еще есть шанс! Ах, мама, мама, маманюшка!

На бегу объяснил: да, в его комнату никто не входит. Кроме матери! А мать — дело понятное, про нее и говорить вроде не надо было. Она, оказывается, решила убраться, увидела сверток. А у Змея, человека очень чисто-плотного, о чем не раз упоминалось, есть привычка: остатки еды и всего прочего сворачивать в аккуратные бумажные свертки, а потом выносить в мусорный бак. Вот мать и подумала, что это очередной мусор, и вынесла.

— А когда баки эти увозят? — спросил Писатель.

— Когда вздумается.

— Обычно утром или вечером, — с надеждой сказал Парфен.

— У нас ничего не делается обычно! У нас все делается как попало! — закричал Писатель с гражданской болью.

Глава девятнадцатая

*Фима Досталь по кличке Достоевский. Было три, стало семь. Хохот и денежный полет. Нервный шофер. Свалка. Эксперт и проницатель. Чуть не убили*

Мусорный контейнер оказался пуст.

Они стояли вокруг него, глядели на дно.

Прилипший обрывок туалетной бумаги выглядел оскорбительно.

— Спокойно, — сказал Парфен. — Безвыходных ситуаций не бывает.

И он ринулся куда-то, а Писатель и Змей поспешили за ним, почему-то сразу и безоговорочно поверив, что именно Парфен, человек дела и политики, сумеет вернуть деньги. Мы вот всё ругаем политику, думали они второпях, а она иногда — нужна. На кнопки какие-то нажать — и дело в шляпе. Какие кнопки надо нажимать, они не знали, но имели представление о том, что в политике происходят самые фантастические чудеса, почему же не случится чуду заурядному и не в политической, а в человеческой жизни?

Парфен, наменяв мелочи для телефона-автомата, влез в будку и стал по памяти набирать нужные номера. Голос его стал озабочен, но не бытовой озабоченностью, не личной, а какой-то особенной, в которой слышалась энергичная и строгая печаль о людях вообще. Он спрашивал о чем-то каких-то Иванов Петровичей и Петров Ивановичей. И добился истины.

— Этот участок убирают машины АТХ-1, начальник Иван Иванович Низовой. Своят на свалку за город, за Жареный Бугор. Если поедем сейчас туда, то успеем как раз к разгрузке, а то и раньше. Змей, лови мотор!

Змей тут же выскочил на дорогу и поднял руку.

— Дурак, смотреть надо, кого тормозить! — одернул было его Парфен, но — поздно.

Змей, не помнивший, когда последний раз он пользовался услугами такси или частных, не разбираясь в иерархии машин, указывал остановиться не чему там нибудь, а длинному автомобилю представительского класса, мерцающе-зеленого цвета, с темными стеклами.

А ехал в нем не кто иной, как Фима Досталь по кличке Достоевский, один из крупнейших легальных бандитов Саратова. Глянув в зеркало заднего обзора и не увидев других машин, Фима понял с изумлением, что эти оборванцы останавливают, как извозчика, именно его! Достоевский возмутился всеми ста пятнадцатью килограммами своего тела. Несмотря на тучность, он был ловок в вождении машины (хотя статус не позволял ему слишком часто ездить самому, его обычно шофер возит), он не хотел на смерть давить нахалов, а только — напугать. Вот этого горбоносого, который на проезжую часть вышел и машет клешней. Достоевский сбросил скорость и замигал поворотником, якобы намереваясь остановиться. Горбоносый опустил руку и ждал спокойно, что-то говоря своим спутникам. Тут Достоевский дал скорости (колеса взвизгнули) и рванулся вперед. Удара явного не было, но некое соприкосновение Достоевский ощутил телом машины. Он затормозил и вышел: ему желалось убедиться, что задуманное было выполнено чисто.

Горбоносый стоял скорчившись.

— Задел? — спросил Достоевский.

Змей, решив, что человек сделал гадость не нарочно и вышел извиниться, сказал правду:

— Слегка.

— Что и требовалось доказать! — удовлетворился Достоевский, вынул из бумажника долларовую сотню и сунул горбоносому за пояс штанов. — Лечись!

И повернулся, чтобы уйти.

Парфен, выхватив сотню у Змея, подскочил сзади к Достоевскому, проглотил воздух и выкрикнул:

— Ты!

Тот обернулся.

Парфен скомкал купюру и бросил Достоевскому в лицо.

— Подавись своей поганой деньгой, гад!

Достоевский изумился еще раз. Он даже и не припомнит, чтобы в последние пять лет ему пришлось изумляться два раза подряд. И от этого он даже растерялся (а почувствовав это, изумился в третий раз!!!) и сказал:

— Это настоящие деньги. Это доллары!

— У самих хватает! — закричал Парфен. — И, вырвав сотню из кармана, бросил ее рядом со скомканной бумажкой.

— Ты кто? — спросил Достоевский.

— Я — человек!

— Тебе мало, что ли? На еще! — И Достоевский выкинул из бумажника сотню, порхнувшую вниз к двум.

— Повторяю — свои есть! — ответил новой сотней Парфен.

Достоевский изумился! — Боже мой, кому рассказать, не поверят же, падлы! — в четвертый раз подряд изумился!

— То есть они у тебя вот так вот в кармане? — оглядел он мятого небритого Парфена.

— Вот так вот в кармане!

— А давай, — сказал Достоевский, — спорить, у кого больше: у тебя в кармане или у меня вот тут? — похлопал он по бумажнику.

— Давай! — закричал Парфен.

— Тут по две, — сосчитал Достоевский. — Три! — и бросил.

— Три! — повторил его слово и жест Парфен.

— Четыре!

— Четыре!

— Пять!

— Пять!

...

— Пятнадцать!

— Пятнадцать!

...

— Двадцать пять!

— Двадцать пять!

По лицу Достоевского тек ручьями пот, Парфен же был величественен и спокоен, и друзья гордились своим товарищем.

— Двадцать восемь! — выкрикнул Достоевский.

Парфен немедленно ответил.

— Двадцать девять, — тише сказал Достоевский — и купюру вытаскивал медленно, вытащив же, заглянул в бумажник.

Парфен ответил.

Достоевский смотрел в бумажник.

— Ну-с? — спросил Парфен. — Игра окончена? — И бросил свою двадцать девятую победную купюру, а для укрепления триумфа — и последнюю, тридцатую!

Достоевский залез рукой в бумажник, шарил. Полное лицо его, и без того имеющее что-то детское в себе, как у многих толстяков, совсем сделалось мальчишковым, обиженным и расстроенным.

И вдруг улыбка начала расползаться по его лицу.

Аккуратно вытащил он пачечку купюр и не бросил, а положил сверху прежней россыпи:

— Еще тысяча.

Парфен с невольной обезоруженностью хлопнул себя по пустому карману.

О, как хохотал Фима! Сотрясался он сам (даже страшно стало за него), сотрясался тротуар, люк канализационный подпрыгивал и звякал, машина его огромная мелко подрагивала на рессорах, а от мощного сапа, сопровождавшего хохот Достоевского, в этот безветренный солнечный тихий прозрачный осенний день поднялся пыльный смерч, который подхватил деньги, взвил их в воздух бледно-зелеными листьями — и они понеслись в разные стороны, полетели — и вот одна пала прямо в руки мужичка, стоящего сиротливо на балконе, который, выпив бутылочку пива, был обруган зверски женой, что позволяет себе при их нищенском состоянии пиво жрать, когда за квартиру семь месяцев не плочено, за свет — полгода, у ней у самой сапоги окончательно прохудились, и мужичок глядел с пятого этажа и думал, точно ли он насмерть разобьется, если прыгнет; а несколько купюр стайкой влетели в форточку кабинета заведующей детским садом, которая пригорюнилась над листком, где написано было: «Завтрак — каша манная, обед — каша пшенная, ужин — каша гречневая»; а вот две бумажки прикрыли на ладони мелочь, а мелочь эту перебирал в унынии молодой человек, желающий купить цветов своей девушке — и непременно розы, хотя бы две, но и на одну не хватало, и вдруг деньги с неба свалились; а вот аж с десяток слипшихся бумажек прибилося к поднятому вороту молодой женщины; она подняла ворот не от холода погоды, а от холода внутреннего, потому что шла на аборт убивать мальчика, которого они так с мужем хотели к имеющимся двум девочкам, — и женщина считает деньги, смеется, плачет, глядит на небо и бежит домой, к мужу...

Ничего этого, само собой, не было.

Отдохотавшись, Достоевский сказал:

— Ну, мужики! Давно я такой *балды не ловил!* Спасибо! Берите, все ваше — заработали!

*И сей крутой пахан вперся в свою навороченную тачку, дал по газам, притопил с торчка и уканал с понтом вдаль.*

— Семь тысяч стало, — сказал Змей.

— Без тебя считать умею! — огрызнулся Парфен, чем-то недовольный.

Да и на лице Писателя выразилось сомнение.

Через минуту они остановили машину попроще и велели гнать на свалку, пообещав хорошо заплатить.

Ехали некоторое время молча.

— Вот что, ребята, — сказал вдруг Писатель. — Вы ничего не поняли?

Змей и Парфен не отозвались. Они поняли — и, кажется, именно то, что хотел сказать Писатель. Но они надеялись, что, может быть, он скажет другое.

Но нет, он сказал именно то самое.

— В меня стреляли и чуть не попали, — сказал Писатель. — Я чуть не погиб.

— Стреляли во всех, — сказал Парфен.

— Но чуть не убили — меня! Далее. Парфен, ты чуть не убил Змея. Будешь отрицать?

— Я случайно. Я просто рукой взмахнул, а в ней эта железка оказалась...

— Это не важно. Мог убить?

— Мог.

— Далее. Только что Змея чуть не задавило машиной на наших глазах.

Так или нет?

— Так, — сказал Змей и потер коленки.

— Что же получается? — спросил Писатель.

— Что? — почти одновременно откликнулись Парфен и Змей, опять-таки прекрасно понимая, что именно получается, но опять-таки надеясь, что Писатель другое имеет в виду. Однако он имел в виду это самое.

— Получается, — сказал Писатель, — что не успели мы эти деньги найти, а они уже нам вредят!

— А я вам говорил, я говорил! — вставил Змей.

— Мы все трое чуть не погибли из-за этих денег. В один день. В течение нескольких часов. Я в такие случайности не верю. Это не случайности. А тут еще четыре тысячи свалились. Дьявольщина это, братцы. Вот что, — обратился он к шоферу, молодому мужчине лет тридцати, весьма угрюмому на вид, — поверните, пожалуйста, назад. За те же деньги.

Тот резко и с видимой досадой остановился, но перечить не стал, выждал момент, развернулся, и они поехали назад.

— Допустим, ты прав, — не выдержал через несколько минут Парфен. — Но, в таком случае, тем более нам следует найти эти деньги. Они попадут случайным людям и наделают беды. Надо это предотвратить! Послушай, приятель, — тронул он шофера за плечо. — Мы тут передумали, давай обратно крутанемся.

Визг тормозов был ему ответом. Машина остановилась.

— Может, сначала решим, куда ехать? — неприязненно спросил шофер.

— Если не нравится, найдем другую машину. Мы ведь платим, не так ли? — спокойно отвечивал Парфен.

Змей слегка съезился. Для его деликатной души всегда было загадкой, как это люди не боятся свою вспыхнувшую к кому-то неприязнь открыто обнаруживать, но еще больше он уважал тех, кто умеет не обращать на эту неприязнь внимания, а гнуть свою линию. Он хотел бы таким быть.

Шофер, что-то тихо шепча себе под нос, стал выворачивать руль.

Они опять поехали по направлению к свалке.

А Змея так и подзуживало возникшее желание показать, что и он умеет быть властным и строгим и подчинять своей воле других. Но — не придумывалась причина.

И вдруг — придумалась.

— Я там был один раз, на свалке этой, — сказал он. — Там свои люди, у них свои участки. Нас сразу заметят. Налетят, избыют. А то и убьют. Жизнь дороже денег! Вот что, любезный, — потянулся он вперед и потыкал пальцем в спину шофера. — Давай-ка крути назад. Решено окончательно, понял?

Затормозив так, что друзей резко бросило вперед, шофер обернулся к ним и закричал почти в истерике:

— Вылазьте из машины на хрен, е. в. м., к. е., с. м. т. п.!

— Мы платим! — закричал Змей (от испуга закричал).

— Да не нужны мне ваши деньги! Ты мне скажи, куда ехать, я тебя хоть на Северный полюс отвезу! Но ты мне нормально скажи! Ты мне скажи — и поехали! А они как эти, е. в. м., ц. р., п.!

— Какая вам разница, куда ехать? — холодно осведомился Парфен.

— А такая! Ехать так ехать, а не ехать так не ехать! Вылазьте, говорю, а то сейчас перехерачу вас тут всех! — И нервный шофер показал им какую-то палку с загогулиной (этой палкой руль блокируют, чтоб не угнали, узнал автомобилевладелец Парфен).

Делать нечего, они вылезли из машины.

Шофер резко сорвался с места и полетел, не взяв с них даже денег, полетел вольный и свободный, в любезном его сердцу, как и сердцу всякого человека, в прямом, то есть единственно верном направлении.

Друзья вскоре остановили другую машину и до самой свалки ехали молча.

Чуть не доезжая, они вышли.

Змей был не прав: бродящие по бескрайнему мусорному полю люди не проявили к ним интереса.

Писатель тоскливо огляделся.

— Ну и где тут искать?

И тут подъехала очередная машина. Жители свалки устремились к ней. Но водитель машины не дал им сразу грабительствовать. Длинной палкой он поворошил кучу, что-то такое выбрал и лишь после этого позволил. Мусорщики нагнулись и стали копошиться споро и шустро — и, между прочим, без ссор, не тратя на них время. Вот блеснуло что-то. Змей узнал, вскрикнул и побежал, за ним Писатель и Парфен. Они бежали, не выпуская из вида старика в балахоне, который нес в одной руке знакомый блестящий сверток, а в другой какой-то прямоугольный предмет.

Он скрылся под навесом из драного брезента, закрепленного на жердях. Друзья приблизились, заглянули.

Старик осмотрел предмет, оказавшийся шахматной доской, удовлетворенно хмыкнул. Взялся за сверток.

— Здравствуйте! — шагнул под брезент Писатель. И вдруг — совсем другим тоном: — Здравствуйте, Игорь Станиславович!

— Не имею чести! — сухо ответил старик.

— Да как же! Я... — Писатель назвал свое имя. — Я у вас в семинаре был по семиотике!

— Вы ошиблись. Я похож, но я... А впрочем... Глупо скрываться, если давно уже не придаешь этому значения. Я давно на пенсии, и даже не в этом дело. Я презираю людское мнение.

— А как, извините, вы попали сюда?

— Очень просто. Страсть коллекционера, антиквара.

И Игорь Станиславович, бывший профессор университета, рассказал свою нехитрую историю. Да, он занимался наукой и преподаванием. Это было его любимое дело. Но он был одинок, поэтому требовалось какое-то хобби. И он нашел его: стал собирать старые, но скромные (по средствам) старинные вещицы. Его коллекция антиквариата, в сущности, не имела никакой цены, но настоящие антиквары любили общаться с ним: все-таки профессор. К тому же он собирал еще и библиотеку по антиквариату и, не имея сам ценных вещей, мог определить не хуже эксперта-профессионала настоящую стоимость той или иной вещи и ее возраст. И вот однажды принесли чудесную фарфоровую статуэтку конца восемнадцатого века. «И где вы только достаете такие штучки?» — удивился профессор. Принесший доверял ему и сказал по секрету: на свалке. (Он бы не выдал секрета, если б не был смертельно болен и не знал о болезни; вскоре после этого он умер, предварительно из последних сил учинив погром в квартире и уничтожив все более или менее ценное.) Профессор побывал на свалке — и заболел ею. Теперь с весны до осени он проживает тут, всеми уважаемый и никем не обижаемый, потому что, на взгляд многих, собирает вещи совершенно бесполезные, при этом оказывая за небольшую мзду экспертные услуги (он и кличку за это получил: Профессор, хотя никто не знает, что он и на самом деле профессор). Ухватит, например, оборванец-искатель в куче мусора колечко — и бежит к Профессору узнать: не серебряное ли? не золотое ли? Чаще всего оно оказывалось дешевой бижутерией, но встречались кольца и впрямь золотые, неведомо как попавшие в мусор (дитя играло, например, и в ведро бросило, а ведро мамаша — в мусоропровод). Еще более непонятно для русского человека, как попадают на помойку среди всякой дряни непочатые бутылки водки, вина и коньяку, причем почему-то коньяк встречается чаще всего! — и Профессор в доказательство своих слов выставил две бутылки коньяка. А из чистого полиэтиленового пакета — одноразовые стаканчики.

Все с удовольствием выпили и тут же повторили: коньяк оказался хорош.

Конечно, уникальных антикварных вещей вроде той куколки встречается мало, продолжил Профессор. Но ему теперь даже не они интересны. Здесь, на свалке, он обнаружил, насколько заполнен мир причудливыми

предметами. Иногда даже о значении их не догадываешься, но видно, что предмет изящен, гармоничен, сделан с любовью. Главное, он штучный, единственный в своем роде — и совершенно не важно, сколько ему лет, двести или двадцать. А какие письма встречаются связками! Какие фотографии, дневники, какие умильные школьные тетради с любовными записочками внутри них! Сколько жизней и образов проходит перед твоим мысленным взором, какое наслаждение изучать все это, не касаясь ничьей тайны, потому что люди эти остаются неизвестны!

Друзья поневоле заслушались.

— Эх, е. т. м.! — горько сказал Парфен — и Змей на этот раз не сделал ему замечания. — Ищешь в жизни что-то... Смысл... Философский камень какой-то... А он оказывается — на свалке! На помойке!

— Вот именно! — согласился Профессор и разлил из второй бутылки. Выпили.

— Бросить все к черту и остаться здесь! — воскликнул Парфен.

Змея же интересовало другое.

— Я вот видел, — сказал он Профессору, — как другие копошатся — вон до сих пор еще. А вы подошли, взяли — и ушли.

— У меня свои правила и принципы, — сказал Профессор. — **Первое:** не налетать на кучу сразу, а подойти и осмотреть. *Ибо все ценное всегда лежит на поверхности!* Ведь когда машина вываливает мусор, дно оказывается вершиной, а вершина дном! **Второе:** ни в коем случае не глядеть, что берут другие. Это отвлекает внимание. *И: то, что берут другие, тебе завсегда не надобно!* **Третье:** отбрось ум и ориентируйся на чутье. *Если взгляд остановился на предмете больше чем на секунду, бери его не раздумывая.* **Четвертое:** не бери никогда более трех вещей сразу. *Чем больше выбор, тем больше несвободы, ограничь выбор числом или размером — и обретишь свободу!* **Пятое:** забудь все правила, если внутренний голос тебе говорит, что искать надо не на поверхности, а внутри, что надо не рассматривать, а набрасываться, отнимать то, что схватил другой, и так далее. Умеешь это — тогда ты настоящий ПРОНИЦАТЕЛЬ!

— Гениально! — выдохнул захмелевший Писатель.

— А вот эти вещи сегодняшние, чем они интересны? — выспрашивал Змей с дотошностью прилежного ученика.

— Объясняю. Шахматная доска, совершенно целая, — не просто раскрашенная фанера. Я сразу понял, что она выполнена из двух цельных кусков дерева, а квадратики, а также цифры и буквы — инкрустированы!

Змей, Писатель и Парфен взяли доску и по очереди поднесли к глазам. Восхитились.

— Этот же пакет... Понимаете, меня всегда волнуют пакеты, свертки. В одном может оказаться всего лишь картофельная шелуха. В другом, такова страшная правда жизни, — новорожденный ребенок. В третьем — старые елочные игрушки. В четвертом — любовная переписка, письма от женщины, которые мужчина выбросил в приступе подлости, решив начать новую жизнь, ибо решение начать новую жизнь вообще подло в основе своей, хотя это неизбежная часто подлость, или письма от мужчины, которые женщина выбросила в приступе ревности, а потом пожалела, потому что для женщины ревность — чувство продуктивное и необходимое. Ну и так далее. И такое, знаете, волнение чувствуешь! Иногда пакет может лежать день, два, а я не вскрываю, я гадаю и мечтаю, что в нем.

— А что в этом? Не вскрывая? — спросил Змей, словно забыв, что там на самом деле, настолько искренний интерес написан был на лице его.

— Подумаем! — ответил Профессор. — Очень необычная оболочка, сам материал. Какой-то огнеупорный. Скорее всего, этот пакет не хотели выбрасывать. Он выброшен случайно, по ошибке.

Троица переглянулась.

— Для драгоценностей великоват. Какая-нибудь статуэтка? — не те формы. По форме пакета я вижу, что заверчено неумело, наспех, беспорядочно. — Писатель и Парфен посмотрели на Змея. — Но что-то тем не менее в этой же самой форме пакета говорит мне о достаточной ценности содержимого. Угадывается предмет прямоугольной формы. Почему-то я вижу, — закрыл глаза Профессор, — пачки денег в портфеле или большом бумажнике, их много, человек записывал их руками, не привыкшими к деньгам. Да. Деньги. Думаю, это деньги, — заключил Профессор беспристрастным исследовательским голосом и бестрепетными руками стал разворачивать сверток.

Тут Писатель не выдержал.

Он бросился, выхватил, прижал к груди.

— Это наше! — сдавленно закричал он. — Ясно вам? И как преподавателя я вас никогда не уважал! Я на лекции ваши не ходил!

— А ну положь взад! — стал подниматься Профессор, беря рукой толстую суковатую клюку.

Парфен не дремал, вырвал палку.

— Ишь на чужое нацелился! — подал голос Змей.

— Вы так? — угрожающе сказал Профессор. — Я сейчас, е. в. м., крикну — и от вас, суки, мокрого места не останется!

Но крикнуть не успел: Парфен успел увидеть рулончик скотча на гвозде, схватил, мигом оторвал полосу и заклеил рот старика. Однако Профессор, едва отскочил от него Парфен, не зевая кинулся к Писателю, не ожидая нападения, вырвал пакет — и упал на землю, в угол своего капища, прикрывая пакет собой, как герой войны гранату.

Они набросились на него. Они пытались перевернуть его, как ежа, на спину. (Змей клюкой поддевал.) Они падали на него и мяли, чувствуя под руками мощный микеланджеловский напряг мышц его спины, они щипали ему руки и выворачивали их, и только когда, отчаявшись, Змей треснул Профессора клюкой по башке, тот ослабел и выпустил пакет из рук.

Писатель сунул его за пазуху. Парфен перевернул старика.

— Ничего, оклемается. Дышит. Вот сволочь, а? — и оторвал от профессорского рта кусок скотча. Дыхание Профессора с сипением устремилось наружу, в вонючий и родной для него мир помойки, и слилось с ним.

— Сволочи! — просипел он.

— А еще ученым себя считал! — негодовал Писатель, поспешая прочь.

— Гадюка! — вторил Змей.

— Бессребреник! Антиквар! — издевался Парфен.

Но вдруг все умолкли и дальше шли в тишине — до дороги, где остановили машину, водитель которой начал отнекиваться, разглядев их, но, когда они посулили ему за поездку до центра солидную сумму, согласился.

## Глава двадцатая

*Злодеям — по злодеяниям их. Брат Змея — предатель. А он вовсе и не предатель. Сглаз, порча и депрессия. Расписка. Черт-баба*

В машине друзей разморило после коньяка.

— Еду, еду, еду к ней, еду к милушке своей! — тихо спел Змей. Он радовался не обретению денег, а тому, что его вина пред друзьями наконец снята. Песню же эту, а не другую он спел, привыкнув в компании своих простых ежедневных друзей быть таким же простым (каким, впрочем, и был на самом деле большее время своей жизни), говорить простые слова и

петь простые песни, хоть ему более по душе современные романсы с мыслью и тонким чувством, как-то: «Мне нравится, что вы больны не мной». Или: «Мне снился странный сон, что люди делятся на женщин и мужчин». И т. п.

Всем хотелось необыкновенного.

Но и чувство долга витало над ними.

И — ответственность Большой Идеи, без которой им казалось невыносимым и недостойным провести сегодняшний день.

— Итак, — сказал Писатель, — у нас теперь свободных семь тысяч.

Змей и Парфен склонили головы, соглашаясь.

— Мы пошли по неверному пути, пытаюсь облагодетельствовать этим дьявольским подареньем хороших и впавших в беду людей. Надо поступить иначе. Мы дадим эти деньги — злодею. Подлецу. На которого нет ни людского суда, ни юридического. И пусть они погубят его. Желательно при этом, чтобы злодей был еще и личным врагом: таким образом мы удовлетворим чувство мести, присущее каждому человеку, — сказал Писатель, который, будучи серьезным мыслителем, не боялся низких истин о человеке, а даже гордился знанием этих истин.

И в душе Писателя, а затем и Парфена шевельнулось нечто мефистофельское, в душе же Змея ничего не было, кроме удовольствия, но уж кто был похож на Мефистофеля, так именно он со своим довольно зловещим, если приглядеться, профилем.

— Вы чего? — спросил Змей, видя, что на него смотрят.

— Злодей есть у тебя на примете? Враг?

— Врагов нет.

— Ну, не тебе враг, а близкому твоему.

— Тоже нет.

— Так не бывает.

— Бывает. Ну, кто-то должен мне сколько-то. Так и я должен. По суду били. Так и я бил. Менты обижали. Но у них служба такая.

— Где обижали? — оживился Писатель. Ему, увы, тоже приходилось претерпевать в пьяном виде, он даже в вытрезвитель несколько раз попадал.

— Ну и что? — сказал Парфен. — Ты предложишь им деньги? А они нас засадят и не выпустят до тех пор, пока все остальные деньги не вытрясут.

Змей подумал и сказал вдруг с удивлением:

— А ведь враг-то у меня есть.

— Кто? — обрадовались Писатель и Парфен.

— Брат, — вздохнул Змей. — Родной брат мой.

— Это старший? — спросил Писатель. — Я его плохо помню. Как его зовут?

— Глеб.

— Ты же говорил, что он военным летчиком стал и погиб!

— Живой он. Скучная история. Ты думаешь, почему я с матерью в двух комнатках оказался?

— А сколько было? Я вроде, в школе когда учились, домой к тебе почему-то не заходил. Или не помню. Сколько времени прошло!

Было, рассказал Змей, аж пять комнат: удивительная квартира по тем временам. Но и отец был человек удивительный: мастер-изобретатель, которого так ценили на его заводе, что и целый дом ему отстроить могли, но он предпочитал родовое гнездо, где жили еще его родители, квартира, странным образом не превратившаяся в коммуналку.

Но вот отец умер, Глеб женился, жена его оказалась сквалыжница, потребовала размена квартиры, ссылаясь на будущих детей (справку о бере-

менности предоставила), и в считанные недели обтяпала дельце, и глядь — за стенами вокруг новые люди живут, а у Глеба с женой благоустроенная двухкомнатная квартира в благоустроенном доме.

Мать обиделась глубоко и серьезно. Змей было поскандалил на первых порах, а потом забыл о брате — намертво. Они с матерью даже не упоминают о нем. Слава Богу, хоть соседи приличными людьми оказались, Лидия Ивановна с сыном за двадцать лет, прошедших с тех пор, вполне сжились, сроднились с ними...

— И он за все эти годы ничем матери не помог? — возмутился Парфен.

— Он даже не появлялся. Ни разу.

— Подлец! Едем к нему!

— Он, может, и не там живет...

— А может — там!

Они поехали, по пути говоря (Парфен с Писателем) о том, что одна из главных национальных проблем современности — истончение, искривление, извращение, прерывание и омертвление родственных связей.

Дать денег в наказание брату-предателю решили две тысячи (оставив по две врагам Парфена и Писателя), а тысяча пусть будет про запас.

По пути в магазине «Военные аксессуары» они купили портфель-дипломат: специальный, металлический, с замками. Подумав, приобрели здесь же наручники. Уложили туда несгораемый сверток, примкнули портфель к руке Змея (так как-то само решилось), ключи от портфеля взял Писатель, а от наручников — Парфен.

— Теперь только вместе с рукой отымут! — похвастался Змей, любуясь блеском наручников и матовостью кейса, выкрашенного в тайный приключенческий темно-серый цвет.

— Ох, не говори ты так! — воскликнул мнительный Писатель.

Змей ухмыльнулся.

Завезло их довольно далеко — в район новостроек по имени Молодежный. Хотя давно они стали уже старостройками. Впрочем, они и когда новостройками были, выглядели старообразно, словно облупленные фасады и корявые балконы входили в замысел архитектора.

Дверь долго не открывали.

— Может, он на работе? — с надеждой спросил Змей.

Но нет, вот послышались шаркающие шаги.

Дверь открыл старик с всклокоченными волосами, с седой щетиной на щеках, в стариковских пижамных штанах.

— Скажите, а Глеб... — начал Змей и осекся: — Глеб, ты?

— Я, — ответил старик, и тут друзья увидели, что он совсем не старик, а, напротив, совсем молодой... Ну, то есть не совсем, но не более пятидесяти, это было видно по его спине, которой он повернулся, шаркая от них в квартиру, и по другим приметам.

Может, просто болеет человек?

— Обувь снимите! — сказал из комнаты брат Глеб.

— Слушайте, не надо! — прошептал Змей. — Давайте не будем! Он, похоже, и так Богом наказан!

— У Бога свое наказание, у нас свое! — горделиво сказал Писатель, чувствуя (по необходимости профессии) ледяной холод справедливой жестокости.

— Суть не в том, — возразил Парфен. — Мы теперь не накажем, а поможем ему. Деньги те же, а смысл иной.

Они вошли.

В квартирке, надо заметить, было чистенько, уютненько, мебелишка полированная, то, се... Телевизор в углу большой. Чувствовался скромный достаток.

— Давненько не виделись, — вяло сказал брат Глеб.

— Да, — сказал Змей.

— Нинка скоро придет. Жена.

— Намек поняли, — среагировал Парфен.

— Да нет, сидите. Только выпивать нельзя. Она зверь в этом смысле.

— А ты вроде выпиваешь? — по-братски откровенно спросил Змей.

— Мне одному можно. Мелкими порциями. А сейчас еще и бронхит, лечусь. На больничном я.

— Работаешь, значит? Где?

— На работе, — сказал брат Глеб.

— Выглядишь ты не очень, — сказал Змей тихо.

— А с чего мне выглядеть? Нинка соки сосет. Она вампир.

— Это в каком смысле?! — осведомился Парфен. — Как в фильме ужасов?

— В фильмах таких ужасов нет. Просто чувствую: сосет. Сглазила меня. Порчу навела. Зелья приворотного дала, чтобы я от нее не сбежал. Наколдовала через бабуку, чтоб я к маме не хотел идти, я и не хочу. А так бы я давно, — объяснил он брату.

— Да ты что! — воскликнул Змей. — Это мы все выдумываем себе! У нас элементарная депрессия, — блеснул он эрудицией, — а мы — сглаз, порча!

Брат только махнул рукой.

— Шас прям! Я эту бабуку как живую вижу. Иду на работу, работаю, хочу пивка потом выпить, она, бабка: «Ладно». Ну, выпью кружечку. Хочу вторую — не лезет! Прямо мутит, и все тут. И бабка эта перед глазами: «Иди домой! Иди домой!» Так вот и... На работу и домой — вся жизнь. Нет, иногда будто отпускает. Назло этой бабке, когда Нинки нет, беру бутылку водки, выпиваю — и ничего, нормально. Но Нинка потом меня привязывает.

— Это как?

— Ну, веревкой к столу привязывает на выходные дни. В наказание. А сама уходит.

— Веревку же перерезать можно! Или отвязать!

— Перережешь — увидит. А отвязать пробовал. Ходил, по квартире гулял, потом обратно привязался, а Нинка пришла и даже не посмотрела на узел, а сразу по морде мне. Это не колдовство? Насквозь меня видит через бабуку свою, ведьма!

Помолчав, он сказал:

— Извините, что не угощаю. Насчет угощения у нас Нинка распоряжается. Если захочет.

— Мы сами угощаем! — заторопился Змей, доставая припасенные две тысячи долларов и кладя их на стол перед братом Глебом.

— Это что?

— Деньги.

— Откуда?

— Заработал.

Брат посчитал.

— Две тысячи ихних? Воруешь, что ли? — спросил он равнодушно.

— Зачем! Хочешь верь, хочешь нет, — нашли! Целую кучу. Решил вот тебе помочь.

Брат потрогал деньги, даже понюхал, о чем-то коротко помечтал — и заплакал.

— Ты что? Ты что, брат?

— На что они мне? — утирал слезы Глеб. — Нинка отнимет. Были б дети, дал бы им и сказал бы: бегите куда глаза глядят отсюда.

— А разве нет детей? — спросил Змей. — У нее ж беременность была.  
 — Ложная оказалась. Так что...  
 — Постой, постой! Ты спрятать можешь!  
 — Найдет. У нее бабка все насквозь, я ж говорю... Там такая бабка!  
 — Иди ты, извини, со своей бабкой!.. Положи в банк на свое имя!  
 — Снять застави. Наколдует — своими ногами пойду, своими руками возьму и ей отдам.  
 — А если я тебе буду давать? Понемногу?  
 — Догадается.  
 — Вот чудеса! Что же делать? — растерялся Змей.  
 — Да ничего. Спасибо, что вспомнил. Маме привет, скажи: тоскую, — опять заплакал брат Глеб. — И идите, а то Нинка...

Но было поздно: хлопнула дверь.

В глазах Глеба появилось нечто такое, что дало повод Писателю подумать: не прав Змей, не в депрессии тут дело. И еще он подумал — уже лично для себя: лучшее средство от депрессии — отчаянье. Может, впасть в него?..

Резко вошла женщина Нинка.

Она была довольно моложава, довольно привлекательна, энергична, полна крови и жизни — и все друзья невольно переводили взгляд с нее на Глеба, сравнивая. А тот лишь покорно усмехнулся и пожал плечами.

— Я просила тебя, г., с. с., п. е., алкашей не звать в дом? — закричала Нинка. И с маху отвесила ему оплеуху. Голова Глеба мотнулась и тут же вернулась на прежнее место.

— Это не алкаши, — сказал он. — Это вот брат мой Сергей. А это...

— А это что? — увидела женщина на столе деньги.

Змей объяснил ей ситуацию.

— Так! И за что ж такие подарки?

— Брат он мне, — сказал Змей. — Решил помочь.

— А где ты раньше был, брат? А теперь явился с подачками своими!

Змей не знал, что ответить. Он уж было потянулся к деньгам, но женщина схватила их в пук:

— Нет, погоди! Я милицию сейчас вызову!

Тут все трое стали объяснять, что дело чистое, милицию вызывать ни к чему, хотите деньги взять — берите, не хотите — не надо!

— Дорогой бриллиант дорогой оправы требует! Шубу купите! — льстиво вспомнил Писатель слова из какой-то пьесы А. Н. Островского. Но его слова не подействовали. Зато удивительно точно поступил Парфен, безошибочно умеющий общаться с женщинами такой внешности и такого возраста (независимо, депутат она или продавец лука). Он безбоязненно взял Нинку за локоток и проворковал:

— Сударыня, о чем вы волнуетесь? Если б это деньги, а то это ведь мелочь. Сравните их масштаб с масштабом вашей личности — и все встанет на свое место. В то время, когда эмансипация выродилась в феминизм, а объективные тенденции способствуют уже вообще унисексу, это ли предмет для спора?

Нинка ничего не поняла из слов Парфена, но он этого и добивался, ему важно было, чтобы она поверила его тону, а не словам.

И она, посмотрев снисходительно на обаятельного мужчину, сказала:

— Ну ладно. Только без расписки не возьму. Сама бухгалтер, знаю, бумажка везде нужна.

Что ж, взяли с нее расписку и распрощались — и даже довольно приветливо.

— Ну и черт-баба! — сказал Парфен, садясь в машину, которая ждала их у подъезда. — Главного понять не могу, прости, Змей: зачем он ей нужен? А?

Змей смотрел в окно.

## Глава двадцать первая,

*в которой приятели рассуждают об искушении злом и о театральности злодея*

— Черт-баба, черт-баба... — задумчиво повторял Писатель, и Парфен понял, что у того рождается мысль.

— Черт... расписка... вечный сюжет, — бредил Писатель наяву. — Вот что, братцы! Собираясь злодействовать над злодеями, мы лишаем себя удовольствия театрализованно это дело! Пусть тот, кому мы дадим эти тысячи, напишет расписку, как жена твоего, Змей, брата.

— Гадина, что сделала с человеком!..

— Но расписку такую: я, имярек, продаю душу черту за две тысячи долларов.

— Не маловато? — спросил Парфен, как бы что-то мысленно прикидывая.

— И за доллар продадут! — успокоил Змей, и Писатель благодарно улынулся ему за поддержку.

— Едем к одному человечку! — сказал он.

## Глава двадцать вторая,

*в которой друзья едут к одному человечку, которым Писатель когда-то учился в Литературном институте; человек этот, по кличке Гений Недоделанный, с самого начала учебы приобрел вид учителя и мэтра, высокомерно поглядывая на остальных: Гений слишком был уверен в их бездарности; прошло время — и из всех тех, кто собирался стать писателями, писателем стал лишь Писатель, да еще пара выпускников Литинститута, а один так очень успешный, много издающийся, лауреат премий, в том числе зарубежных, лидер новой прозы, по мнению некоторых критиков; но Гений, сам за это время не опубликовав (и, по некоторым источникам, не написав) ни одной строчки, продолжал презирать тщедушные творения и Лауреата, и Писателя (Писателя еще и потому, что волею судеб был его земляком и проживал сейчас в том же городе), нашего Писателя снобизм Гения возмущал и раздражал всегда, при этом ему даже не доказать хотелось что-то, не признания Гения добиться (это было абсолютно невозможно!), ему хотелось его по-человечески уязвить, но не знал, чем; Гений вообще казался непотопляемым, в том числе и в смысле быта, снисходительно проживая то с одной, то с другой молоденькой красоткой из числа почитательниц его таланта (что Писателя тоже возмущало), жил на их деньги, а в последние годы, когда девчонка бедная попала, существовал на средства от продажи гербалайфа*

Гений встретил друзей не здороваясь, без удивления, провел в комнате, не познакомил с подружкой своей, которая лежала на диване с книгой — и читать не перестала.

Писателю не терпелось.

— Здравствуй, Гений Недоделанный! — сказал он.

— Привет, — сказал Гений.

— Я пришел к тебе по делу.

— Неужели?

— Вот деньги, две тысячи долларов! Я хочу дать тебе их.

(Вышколенная подружка Гения даже ухом не повела, как лежала, так и лежала. И зевнула даже.)

— За что?

— Мы проводим некий эксперимент, — торопился Писатель.

— Это хорошо. «Кюммелю» хочешь?

— Нет.

— Дело твое.

Гений налил себе из изящного графинчика в темный стакан какого-то напитка и со вкусом пригубил.

(— «Кюммель» — это что? — спросил Змей тихо Парфена. Тот толкнул его локтем. Он сам не знал.)

— Продолжай, продолжай, — поощрил и разрешил Гений.

— Я даю тебе деньги. А ты пишешь расписку. Что ты продаешь свою душу черту за эти деньги. Согласен?

— Занятный эксперимент. Что ж, я готов.

Гений сел за стол и на чистом листе бумаги написал требуемую расписку.

Писатель схватил ее.

— Ты не написал сумму! Две тысячи долларов! Прописью!

— Извини.

Гений дописал.

Потом взял из рук Писателя пачку банкнот и стал аккуратно рвать ее своими артистическими пальцами.

Подруга все так же читала.

— Видишь ли, друг мой, — сказал Гений офонаревшему Писателю, бросив обрывки на пол, — твой эксперимент глуп и пошл, как все, что ты делаешь.

— Ты не читал ни одной моей строки!

— Это и не обязательно. У тебя на лице все написано. И черновики, и чистовики. Ты бездарен.

— А ты гений?

— А я гений, — спокойно сказал Гений. — Потому что я в душе своей давно уничтожил все категории, все те системы координат, на которых базируется человеческое сознание. Ты говоришь: продать душу. А что такое — продать? И что такое душа? Ты говоришь: черт. А что это такое? Ты говоришь: расписка. А что это? Ты говоришь: деньги. Не понимаю!

— А жрешь на какие шиши? — неприязненно спросил Змей. Ему казалось, что он знает таких людей. Есть в их среде человек по кличке Трехголовый (хвастал, что у него три высших образования), тот тоже орет все время, что презирает материальное как факт и как философию, но, между прочим, где выпить на халюва, он чует своим носом и фактически, и философски. Едва соберутся мужики и бутылки не откроют еще, глядь — его тощая трехголовая фигура уже маячит поблизости.

— Живу на какие шиши? — иронически спросил Гений. — На деньги, конечно! Но дело не в предмете, а в отношении к нему! В моем сознании все становится артефактом! Думаете, я такой дурак, что не понимаю, что на эти две тысячи можно было бы купить много хорошего? Прекрасно понимаю! Но это — не артефакт! А вот порвать их — артефакт! Мне лично это принесло гораздо больше морального удовлетворения и даже физического, поскольку я ощутил нечто вроде интеллектуального оргазма! А эти артефакты, в свою очередь, преобразуются в стройную систему моего романа «Бездонный колодец»!

— Ты пишешь роман? — спросил Писатель — и даже с уважением: он никак не может избавиться от привычки трепетно относиться к попыткам других людей творчески выразиться.

— Писать? Но разве ты не знаешь, что всякое Слово уничтожает Пра-Слово? Разве ты не знаешь, что пишешь не по чистому листу: нет чистых листов, на каждом уже что-то написано! Замарывая своими закорючками это написанное, ты, может, уничтожаешь великое! А?

Писатель вдруг почувствовал, что Гений в чем-то прав. И глупой ему показалась эта квазидемоническая затея с распиской о продаже души черту.

Почувствовав себя победителем, Гений решил упочить победу.

— Или вот, — указал он на девушку. — Я, как вы это называете, люблю ее. Хотя — по-другому. К примеру, я пью кофе, так? Я же не говорю: мой кофе! А если и говорю, то это так, речевой оборот. Кофе — для всех и всем. У меня есть — почему не угостить? Точно так же дико говорить: моя женщина! Точно так же естественно угостить ею других. Многие, кстати, так называемые первобытные народы поступают мудро и инстинктивно подобным образом. Обнажись, котик, — сказал он подруге.

Та обнажилась, что стоило ей небольшого труда, ибо на ней было всего две-три вещи, и лежала гибкая, гладкая, стройная, спокойно глядя в потолок.

— Хороша? — спросил Гений.

Писатель затаил дыханье, Парфен, напротив, громко задышал, а у Змея кадык с бульканьем прошелся по всему горлу.

— Тогда прошу! — пригласил радушный хозяин.

— Но она-то не кофе, ее-то спросить надо бы! — вырвалось у Змея.

— Сейчас она — кофе. А потом этим напитком могу стать я. Существование двух людей во взаимном согласии и уступках — утопия! Необходимая равновесная сменяемость тиранств. В чем-то я тираню тебя, а в чем-то — ты. При взаимном согласии. Главное — чувство равновесия, око за око, зуб за зуб, как говорилось в мудром Ветхом Завете, а не в вашем людьми придуманном Новом! Ну? Кто первый?

Друзья не шелохнулись.

— Другого я и не ожидал! Вас ведь трое. О, стадо! Все человечество — стадо! И каждый боится мнения других! Ладно, выпьем в самом деле кофе. Котик, расстарайся для друзей.

— Иди ты, — сказала котик, одеваясь и берясь за книгу.

— Это — око за око! И равновесие восстановлено! И гармония торжествует! — сиял наглядностью своей правды Гений. — Ладно, пойду сварю кофе.

Но друзья отказались, заторопились — и ушли.

— Тсс! — вдруг сказал Змей, едва захлопнулась дверь. Он имел поистине змеиный слух и нечто услышал. А вскоре, по мере нарастания силы звуков, слышали и Парфен с Писателем.

— А я не б. тебе, чтобы под каждого подкладывать! — кричала девушка.

— Так не берет никто! Это — артефакт! А вот кофе могла бы сделать, сучка голоногая!

— А он есть у нас? Я чуть не обоссалась от обиды, когда ты деньги порвал!

— Дура! Ты посмотри, как аккуратно порвал! Их в любом банке поменяют, потеряем сотни три-четыре, вот и все!

— А они у нас лишние, эти три-четыре, козел? Гений недоделанный! Что ж ты им не сказал, что твой «Бездонный колодец» из всех редакций и издательств возвращают? — (Слово «бездонный», заменив всего две буквы, девушка превратила в многозначительное грубое ругательство.)

— Котик, не тронь этого! В морду дам!

— А по я. н. х, и. е.?

Тут друзья застеснялись и ушли.

Они шли и молчали каждый о своем.

### Глава двадцать третья,

*в которой писатель молчал о том, насколько значительна была для его жизни тайна Гения, насколько продуктивно было его соперничество с человеком ничего не написавшим, но дразнящим возможностью создания великого: надо ведь считать, что мы живем среди гениев, иначе никто ничего не создаст; и*

вообще для него всегда обидно увидеть мелочность в том, что казалось большим и серьезным, зато какая радость обнаружить великое в малом, зато какое несчастье наткнуться на полную фикцию и жульничество: он чуть не заплакал, когда узнал, что поэт *Вирзский*, за несколько лет взбаламутивший умы любителей поэзии, объявивших его тем, кто наконец дал русской лире полноценный белый стих, оказался переводчиком с древнего редчайшего языка балабанди, расшифровавшим несколько папирусов с описанием ритуальных рецептов приготовления человечины, и выдал это за свое (и все в один голос заговорили о феноменальности творчества *Вирзского*, разъявшего на глазах дух человеческий и создавшего его заново!); читатели, кстати, могут сказать, что таких писателей, как наш добродушный *Писатель*, не существует в современное время, нет, это не так, уж поверьте мне (а доказательства? — так я ж вам говорю!);

а *Змей* молчал о том,

какие действительно бездонные бездны открываются в людях и их умах: пусть роман этого человека возвращается в людях и их умах: пусть роман этого человека возвращается, но он упорен, он работает, он мыслит, он существует, не боясь сойти с ума, а он вот, *Змей*, всю жизнь себя бережет — ради чего? — ради беспробудного пьянства! — а ведь оно и есть то сумасшествие, которого он так боялся и которое подкралось с другой стороны; и *Змей* поражен был этим открытием и решил обязательно начать сочинять пьесу-трагедию под названием «Человечество как воплощенное небытие»;

а *Парфен* молчал о том,

что девушка эта стройностью похожа на ушедшую от него любовницу; он ведь очень переживал, он искал замены, но все неудачно, а потом встретилась одна, оказалась проституткой, причем фешенебельной, на панели не стояла, к массажным салонам приписана не была, жила одиноко и принимала гостей только по рекомендации предыдущих клиентов, брала она очень дорого, *Парфен* заинтересовался, долго копил, и вот не так давно посетил ее, и девушка его поразила: после двухчасового общения он почувствовал неподдельный интерес к себе, страсть же была и вовсе подлинной, она долго прощалась с ним у двери, как бы желая что-то сказать и боясь; не влюбилась ли она, подумал *Парфен* — и все хотел прийти еще раз, спросить, но все как-то не складывалось; и *Парфен* сказал друзьям... — впрочем, об этом в следующей главе

## Глава двадцать четвертая

### *Мила*

— Ребята, — сказал *Парфен*, — у нас ведь лишняя тыща есть? Дайте в счет моих денег. Мне тут сходить надо... Это рядом... Подождите, пивка вон в том барчике попейте. А?

*Змей* и *Писатель* посмотрели на него и сказали:

— Ладно.

*Парфен* вошел в один из так называемых престижных домов центра.

Из домофона услышал знакомый голос *Ми́лы* (то есть *Людмилы*, и, между прочим, именно таково было имя ушедшей от *Парфена* любовницы).

*Парфен* назвал себя.

— Разве вам была назначена встреча?

— Нет, но я... — *Парфен* замолчал.

— Хорошо. У меня случайно есть свободное время.

А ведь другого не впустила бы! — подумал вдруг *Парфен*, и предчувствие счастья охватило его.

— Я не одета, проходите! — удалялась *Мила* в домашнем халатике.

Парфен топтался в уютнейшей изящнейшей прихожей. Немного портил ее листок, хоть и в незаметном месте пристроенный — между электросчетчиком и гардеробным шкафом, но очень уж казенного вида и содержания:

### Прейскурант № 1

1. Снятие с клиента сапог (ботинок) у порога .....	20\$
2. Выслушивание слов «курва», «корова», «морда заспанная», а также нецензурных выражений .....	5\$
3. Щи горячие со сметаной и стопка водки .....	10\$
4. Выслушивание обид на жизнь .....	2\$
5. Рассказ по желанию клиента о своей жизни .....	2\$
6. Стриптиз под прихлопывание и притопывание клиента .....	20\$
7. Изобразить баню и попарить клиента (со стоимостью веника) .....	20\$
8. Основная услуга:	
а) в виде «как по телевизору» .....	150\$
б) в виде «как меня 20 лет назад Маня» .....	150\$
в) в том виде, в каком моментально приспичит клиенту (без извр.) .....	20\$
9. Туалетные принадлежности, напитки и проч. обговариваются отдельно	
10. Особые услуги обговариваются отдельно.	
11. Членовредительство, хулиганские поступки, садомазохистские действия запрещаются	

### Прейскурант № 2

1. Встреча со словами: «Явился, козел?!» .....	2\$
2. Пихание кулаками умыться, а потом в кухню .....	2\$
3. Картошка жареная подгоревшая с бутылкой пива и словами «На больше не заработал» .....	5\$
4. Выслушивание упреков в свой адрес .....	5\$
5. Осыпание клиента упреками, ругательствами и т. п. (по просьбе — с нанесением легких телесных повреждений) .....	20\$
6. Основная услуга (с отказываниями, ссылками на болезни и недомогание, а потом согласие нехотя и выполнение без всяких чувств) .....	200\$
7. См. п. п. 9, 10, 11 Прейскуранта № 1	

**Прейскурант № 3** ..... 300\$

— Я еще в прошлый раз хотел спросить, — сказал Парфен.

— О чем?

— О преЙскурантах.

— Многие спрашивают, — слегка поморщилась Мила. — В сущности, если я расскажу, это будет особая услуга.

— Я готов! — полез за деньгами Парфен.

— Успеете. Что вас именно интересует?

— Ну, например. Первые два преЙскуранта у вас для так называемых простых людей?

— Что ж, назовем их так.

— Получается, их больше?

— Нет. Просто тем, кто по третьему преЙскуранту, не надо ничего объяснять.

— Ясно... А почему выслушивать обиды и самой говорить о себе почти ничего не стоит, а сапоги снять — аж двадцать долларов?

— Очень просто. Я слушаю обиды и думаю о своем, мне это очень легко. Рассказываю о себе — автоматически, тоже легко. Иногда, правда, бывает, разойдусь, так начну расписывать — целый театр, но это ж для меня самой удовольствие, грешно за это деньги брать. Снимать же ботинки так дорого потому, что я это ненавижу. Мужские носки — самый мерзкий предмет на свете.

— Ясно. А почему, извините, «в том виде, в каком моментально приспичит», всего двадцатка?

— Потому что это длится обычно несколько секунд. Я не беру лишних денег за небольшую работу.

— Ну, по второму все ясно... Хотя... Ведь оба они — это явное пародирование семейных отношений!

— Конечно. Я очень скоро пришла к выводу, что многие клиенты во все не желают чего-то феерически нового. Некоторым надо убедиться, что не у них одних жена такая стерва — это я второй прейскурант имею в виду. Некоторым нужна опять-таки жена, но ласковая и добрая — это по-первому. А некоторые, если не почувствуют себя в домашней обстановке, ничего не смогут! У них за долгие годы сложился стереотип. При этом, сами понимаете, возможны варианты: первый прейскурант вдруг перетекает во второй, второй в первый — и так далее. Но я люблю порядок, четкость.

— Я ничего из первого и второго не припомню. Значит, вы меня по третьему принимали? Это — что?

— Это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. В вас какая-то озабоченность, вас тоже обуревают стремление к порядку, тоска о нем, вы спросили о прейскурантах не из праздного любопытства. Я это увидела и решила рассказать. И даже не без удовольствия. Так что вам это обойдется в два доллара. Ибо! — подняла изящный пальчик Мила. — Ничего нельзя делать бесплатно. Это закон коммерции, а я, хотите вы того или нет, занимаюсь коммерцией.

— Да, конечно... Но все-таки какая загадка в третьем прейскуранте? Почему там ничего не указано?

— О, куда вы! Об этом я никому не рассказываю!

— Я вас очень прошу.

Мила подумала.

— Странно, — сказала она, — но я чувствую, что рассказать о третьем прейскуранте для вас — это как раз начать его выполнять... Клиенты разные. Каждый хочет разного. Некоторые вообще не знают, чего хотят. В лоб спросить: «Чего изволите?» — уличная работа. Я беру дорого, потому что угадываю. За первые несколько минут я должна понять и характер человека, и его наклонности, и потаенные мечты — и так далее. И поразить потом его тем, что — выполнить невысказанные пожелания.

— Просто и гениально.

— Ничего гениального, любая женщина сумеет, если захочет. От меня мало кто хочет только, извините, акта. За этим идут к другим. Но и излишеств задушевного общения тоже не нужно. Ведь приходят иногда те, у кого кроме жены есть и любовница, а то и две. Но там везде ответственность. Связь же со мной — никакой ответственности. И полная тайна. С проституткой тоже нет ответственности, но там только тело. Я же — аманта (так я себя называю), я тело — с душой, я актриса — и хорошая. Абсолютное большинство проституток тоже умеют изобразить страсть, но умный мужчина всегда это знает и, если он уважает себя, не будет иметь дело с ними. Я же, понимаете, именно актриса. Для меня наслаждение заключается не в том, чтобы просто, грубо говоря, удовлетворить клиента, а сделать так, чтобы он поверил в мою страсть. Для этого один путь: самой

довести себя до страсти. И очень редко у меня не получается. Обычно я даже люблю того, с кем. На время сеанса. Сложность одна: некоторые женщины предлагают или долгие отношения... Морока, — вздохнула Мила. — Приходится говорить, что я дала клятву никому не принадлежать до тридцати лет.

— То есть... То есть вы в прошлый раз, когда мне казалось...

— Да.

— Потрясающе... А зачем вы мне это рассказали? Ведь актеру, актрисе нельзя на сцене вдруг перестать играть. Вот вы рассказали — и что же? Сейчас начнете меня опять охмурять? Но я-то не поверю уже!

— Не буду охмурять. Вы не за этим пришли.

— Да.

— Жениться на мне хотите?

— Да. Или...

— Нет. Поэтому я вам и рассказала. Вы из тех клиентов, с которыми я расстаюсь навсегда. Вы даже здесь умудрились найти ответственность.

Парфен огляделся. Все вокруг, чудившееся до этого очаровательным и лишь для него созданным, показалось таким же производственно-общим, как, например, кабинет стоматолога. Да, у стоматолога хорошее настроение, тебе вменялось, что ты ему лично симпатичен, на самом же деле ты для него — челюсть, тысячная, десятитысячная, очередная челюсть!

— Минутку! — воскликнул Парфен. — Но ведь не для одного удовольствия вы работаете! Из-за денег, Мила?

— В первую очередь из-за них. И меня не Милой зовут.

— Но я не просил же, чтобы вы себя так назвали! Вы сами!

— Я угадала, что вам нужно это имя.

— Тогда так, — сказал Парфен, чувствуя себя оскорбленным. — Я плачу втрое больше, раздевайся.

— Ого! Вот этого я — не люблю.

— Тысячу наличными! — швырнул деньги Парфен.

— Хоть десять!

— А если и вправду десять?

— Проваливай, дядя. Вон на улицах стоят, на любой вкус.

Парфен был унижен. Он не привык к этому. И тут Парфен вспомнил, что он представитель власти, в конце концов! У него связи, в конце концов!

— Вот что, милочка! — сказал он, развалившись в кресле и положив ногу на ногу. — Если ты сейчас не обслужишь меня по любому прежнему за обычную цену, завтра же это гнездышко твое прикроют. Ты ведь не знаешь, кто я...

— И знать не хочу! — прервала Мила. — Он угрожает тут! Завтра? Ты до завтра не доживешь, через полгода твой труп выловят у Астрахани, понял? Ты от моего дома на двадцать шагов отойти не успеешь! Понял, падла, е. т. м., к. б., с. м. в.?

— Ну вот что!.. — грозно поднялся Парфен.

Резким движением Мила ударила его кулаком поддых — с недюжинной, надо сказать, силой. А потом носками острых туфель (очень больно!) гнала его к двери, ударяя по ногам, по ребрам, по голове (гибка, стерва!), распахнула дверь и последним ударом сбросила его на лестницу, по которой Парфен и покатился, а Мила в довершение всего харкнула вслед ему, с треском захлопнув дверь.

...Парфен привел себя в порядок, ощупал: все цело.

Ладно! — мысленно сказал он веско, будто не Миле, а всему поганому и опоганившему его, Парфена, человечеству.

И я-то знаю, что означало это отчаянное и злое «ладно» и во что оно вылилось, читателей же покорнейше прошу потерпеть.

Глава двадцать пятая

*Искушения во власти. Провал театрализации. Полный провал. И вообще опять тю-тю*

— Искусшал кого-нибудь? — спросил Писатель Парфена.

— Хренотень это все! — ответил Парфен. — Искушения эти... Впрочем, напоследок хотел бы я на реакцию некоторых посмотреть!

— Почему напоследок? — спросил Змей.

Парфен не ответил, а напрямик повел друзей к большому административному зданию. Парфена внутрь согласились пустить беспрепятственно, на Писателя выписали пропуск по паспорту, который он всегда носил с собой на всякий случай, а вот у Змея паспорта не было ни с собой, ни вовсе. Он его потерял где-то лет пять назад и с тех пор не нуждался в нем. Решили, что он посидит в вестибюле под охранительной сенью милиционера-привратника, а они быстренько обернутся.

Зайдя в одну из комнат, Парфен свойски сел к компьютеру, настучал короткий текст и распечатал несколько бумажек. В другой комнате у секретарши взял с прибаутками гербовую печать и тиснул на бумажках.

А потом зашел с Писателем в один из кабинетов.

Там деловито сидел лысоватый человек в очках, одной рукой что-то писал, а другой говорил по телефону. Он разрешающе кивнул, и они вошли.

Кончив говорить, но продолжая писать, лысоватый вопросительно посмотрел на Парфена. Парфен молча положил перед ним расписку и две тысячи. И приготовился объяснять. Но не пришлось. Лысоватый, шевеля губами, прочел: «Я... согласен продать душу черту... тысячи долларов... Печать, подпись...» И опять занял делом обе руки: одной подписывал бумажку, другой теребил доллары, считая. Бумажку вручил Парфену, доллары прикрыл папкой.

— У тебя все? — спросил Парфена.

— Вообще-то...

Зазвонил телефон, лысоватый начал говорить.

Писатель и Парфен постояли и вышли.

— Да... — сказал в коридоре Писатель.

— Да... — сказал Парфен. — Вот тебе и театрализация злодейства. Вот тебе и артефакт, как говорит твой Гений. Ладно, еще в один кабинетик сунемся.

Человек в другом кабинетике, похожий на самого Парфена, но чуть потолще, обрадовался ему как родному:

— Парфеныч навестил! Проходи, дорогой! Где был с утра?

И Писателю вежливо кивнул, глянув потом на Парфена: следует ли знакомиться? Нет нужды, ответил взглядом Парфен.

Двойник Парфена, видимо, до этого бездельничал, потому что гостям был рад искренне. Чаю налил, пепельницу подставил, анекдот рассказал.

— Тут такая история, — приступил Парфен. — Выдвигаем нового кандидата.

— Кого и куда?

— Это я тебе потом. Но странное условие, понимаешь. Надо черту душу продать.

— Чего?

Парфен положил перед двойником бумажку.

Тот прочел, вспотел и потянулся к телефону.

— Не звони. Приказано с каждым беседовать отдельно. Вот человек из Москвы уполномочен.

— Но условие действительно странное. Парфеныч, объясни, свои же люди! И деньги живые?

— Вот, — выложил Парфен.

Двойник пересчитал и вспотел еще больше.

— И с каждым отдельно?

— Отдельно. Все знают, что другие знают, но никто не знает, кто именно знает. Умные молчат и не задают вопросов.

Двойник совсем взмок. Он встал и начал расхаживать по кабинету. Принял решение. Сел за стол. Сказал строго:

— А вы знаете, что это такое? Ты, Парфеныч, знаешь, что меня мама крестила и я, смотри, — (рванул из-под галстука, из-под рубашки), — крестик не снимаю?! Ты знаешь, что я пощусь, в церковь хожу, что я Богу своему истинному... — Тут голос двойника истерически сорвался.

— В общем, — успокоился он, — две тысячи — это смешно. Небось другим по десять отламывают.

— Всем по две, честное слово. Ну, тысячу можем еще накинуть.

— Но не мне, значит?

— Могу и тебе. — Парфен доложил оставшуюся последнюю (не считая, естественно, тех, что у Змея) тысячу.

Двойник пересчитал, поставил подпись.

— Что же это за времена! — горько сказал он. — Неужели других методов нету к прогрессу?

— Нету.

— Скурвишься с вами!

— Расписочку-то отдай, Димыч.

— Какую?

— Расписку! Димыч, не шути!

— А я разве не отдавал? — изумился двойник Димыч.

— Он ее потихоньку на пол сбросил, — с мальчишеским ехидством сказал Писатель, приметивший это сразу, но сберегавший увиденное до времени.

— Случайно, ей-богу! — перекрестился в запале правдивости Димыч.

Парфен поднял расписку, положил ее в карман, сказал:

— Прощай, иуда! Мало тебе людей продавать, ты теперь и душу свою бессмертную продал!

— Но-но-но! При чем тут душа, когда высокая политика! Душа моя в целости!

— Это как? — оторопел Парфен. Удивился и Писатель.

— А так! Бумажка, она и есть бумажка. А душа моя — при мне!

— Нет, но ты же собственноручно: продаю душу черту — и подпись!

— Подпись моя, а насчет продажи — отпечатано компьютером! Мало ли, может, меня пытали! Обманом подпись добыли! Бог, он правду всегда узнает! И оступившегося простит, а искусителей накажет!

С этими словами Димыч достал демонстрировавшийся уже крестик и со смертной силой веры поцеловал его, а на людишек, стоявших перед ним, посмотрел черными глазами несмирившегося пророка.

И Писатель с Парфеном, не нашедши, что сказать, удалились от него.

— Ты чего от него хотел-то? — спросил Писатель Парфена. — Вы работаете, что ли, вместе?

— Ну. И он немало мне подлостей устраивал. То есть я подозревал. Что он сволочь вообще. Захотел проверить.

— Сволочь, и даже очень, — сказал Писатель.

— А мне-то что? — закричал Парфен тем живым человеческим голосом, каким в коридорах власти кричать не принято (впрочем, и любым иным). — Что, я и без того не знал? Зачем замарался? А сам я не сволочь? Женщину сегодня за тещу хотел купить — с душой и всем прочим! А ты — не сволочь?

— Сволочь, — согласился Писатель.

— Так что ж мы херней-то занимаемся? То благодетели, то искусители! Да нормальные люди что делают? Они основное прячут, а на часть начинают душу отводить, праздновать, безобразничать! До самого дна подлости доходят! Ты писателем считаешь себя, ты должен все насквозь пройти до последней степени низости, чтобы на своей шкуре... До самого, повторяю, дна!

— А где оно? — грустно спросил Писатель.

— А вот мы и узнаем! — заорал Парфен. И остолбенел.

— Ты что? — спросил Писатель.

— Змея нет, — сказал Парфен, указывая вниз, в вестибюль.

— Опять тю-тю? — сказал Писатель, вспомнивший вдруг, что он давно уже хочет выпить.

### Глава двадцать шестая

*Благородное остолбенение. Куда уходит уходящий. Судьбы и жизни. Гимн русскому человеку*

Итак, приятели наши стояли и столбенели. Кажется, нехорошо так говорить и нельзя так говорить. «Остолбенение» — не процесс, а явление мгновенное, то есть взял человек и застыл как столб от какого-либо потрясения. А потом оживает (или нет — в зависимости от обстоятельств, ибо есть люди остолбеневшие навсегда — от любви, например; чтобы не быть голословным, автор ссылается на собственный пример: он как остолбенел в оны лета, так и не отстолбенел еще и никогда уж, наверное, не отстолбенеет).

Есть страна и есть в ней такие люди, для которых столбенение — именно процесс! Как в ударившемся о преграду поезде (упаси, Господи, — и прости за неудачный пример!) вещи и люди долго еще будут нестись с прежней скоростью (что, кажется, и происходит на некоторых магистральных рейлвях нынешнего нашего бытия), так и в остолбеневшем русском человеке все долго еще несется и движется, пока не застынет в настоящем полном столбняке. И даже более того, одна часть остолбеневаает, а другие движутся — и часто совсем в разных направлениях. Вместо того чтобы вихрь двух тел, как в голливудском (не к ночи будь помянут) боевике, ринулся к привратному менту, чтобы выпотрошить его, подлюку, и донзаться, куда делся Змей, взвихрились потоки не телесные, а мыслительные.

Ну, во-первых, и Писатель и Парфен в очередной раз подумали, что вместо того, чтобы заниматься дурью, давно бы они сидели у домашних очагов, осыпанные долларами и поцелуями близких, разговаривая дельно, как истинные отцы семейств, о шубах, новых телевизорах и прочих позволительных теперь роскошествах: например, не выписать ли сразу два литературно-художественных журнала?

Потом они представили, что Змея, может, сдал сам милиционер своим собратьям, так как ему показался подозрительным вид человека в затрапезе с дорогим портфелем в руках, да еще пристегнутого к нему наручника-ми! И уж из милиции портфеля не выцарапать теперь, денег не видать ни в жизнь! Но еще хуже, если Змеем, увидев несуразность в его облике, заинтересовались бандиты, которые сюда так и шастают по разным своим делам. Тогда не только портфеля и денег не видать, но и самого Змея: отпилят ему в самом деле руку, зря он так шутил, а потом и самого распилят на части, и следов его не найдешь! — содрогнулись Писатель и Парфен.

Потом Писатель подумал (за время, которого привратнику не хватило бы и глазом моргнуть), что вот исчез Змей, а он даже не успел расспросить его, как и чем он жил в последнее время. Были школьные дружки, потом разошлись, у каждого своя судьба, но ведь есть же точки соприкос-

новения, уж кому, как не Писателю, уметь их найти! Не спросил: как ты, Змеюшка, почему ты один живешь, о чем не спишь по ночам, о чем думаешь, глядя на улетающий в небе гусиный караван, на щебечущих на земле детей? Не спросил! Ушел человек — и теперь не спросишь!

Но нет, спросишь! — осенило тут Парфена, который по удивительному совпадению думал на ту же тему. Не от нас уходит человек, а — в нас уходит! Живший, бывший с нами, он нас меньше беспокоил и интересовал, а как уйдет, начинаешь и его вопросами пытаться, и на его вопросы отвечать, и вдруг снится он, снится, снится, до слез! Живший, он в себе жил, ну и около нас немного, а в нас — совсем чуть-чуть. Уйдя же, он полностью переходит в нас!

Но, значит, — осенило Писателя, — мы страшным образом богаче станем! Тяжелее... Мудрее... Начинаем больше думать о тех, в ком мы останемся. Больше о себе думать — в высшем смысле!

А тут и я, то есть автор, который пристолбенел рядышком, засовестился, что, уписав столько страниц, не удосужился толком рассказать, а что они за люди-то: Змей, Парфен, Писатель, а иначе говоря Сергей Викторович Углов, Павел Павлович Парфенов и Иван Алексеевич Свинццкий... Отделался скороговоркой, а ведь за каждым из них — Жизнь и Судьба. О, если б не проклятые законы жанра, не позволяющие надолго останавливать движение! — оно должно нестись стремительно, как гоголевская птица-тройка! Правда, Гоголь, сочиняя по жанру то же, что и, извините, автор данного текста, то есть плутовской роман в реалистической транскрипции, мог позволить себе лирические отступления. Но то, как вы правильно заметите, Гоголь!..

Если б не эти законы, я бы о каждом из моих героев написал отдельный роман — и чего б там только не было! О когдатойшей любви, например Змея к той, кто стала его женой, а потом бросила его, и он забыл о ней, а она, между прочим, его все ждет, все ждет, а он и не знает... Или о любви жены Парфена к Парфену, которую она скрывает ехидством и бытовой злостью, со страхом чувствуя странное желание вызвать отвращение в Парфене к себе, чтобы он бросил ее и стал счастлив, — разве не глубокая трагедия, самого Шекспира достойная? А сколько о Писателе мог бы я написать! — и о том, как метался он из стороны в сторону, не сходя с места, и о романах его — коммерческих, художественных и тех, что в жизни были, и об одной загадочной загадке в жизни и мыслях жены его Иолы...

Но тут неожиданно, созерцая остолбеневших своих героев, я стал прислушиваться к себе, к какой-то внутренней музыке, и понял вдруг, что там сам собою слагается гимн русскому (независимо от национальности) человеку! Да, он подчас медлителен. Он семь раз отмерит, один раз отрежет — или вообще плюнет на это дело. Да, да, да! Но не просто так он медлит, не просто так отмеряет. Он в это время — думает. Он занят производством мысли как продукта! Никогда вроде бы не углублен русский человек в проблему целиком и полностью, вечно у него путаются под ногами какие-то прибудные мысли. Вот строит он дом, выкладывает из кирпича стену. Ну и думай об этом, старайся, чтобы стена была ровна и красива, кирпич к кирпичу. Да он и думает об этом, но еще, пошвыстывая, решает в голове совсем никчемный и посторонний вопрос: с какой высоты должен упасть кирпич на непокрытую голову прораба, чтобы прораба до смерти не убить, а только поувечить? Насколько это зависит от тяжести кирпича? Насколько от крепости головы прораба и ее наклона в данный момент? Насколько от наличия волос на голове? А от толщины их? И сколько могут веса выдержать, допустим, десять сплетенных волосков длиной десять сантиметров? Вроде бы — несурзаца, но вот он придет домой, расскажет сынишке об этих мыслях, а тот призадумается, сострижет собственный чуб, начнет экспериментировать, а там вырастет, выучится, увлечется технологией полимерных нитей — и, может, мы скоро уже будем раскатывать не

на металлических рельсах, а на полимерных, а дом, двадцатиэтажный дом, можно будет засунуть в карман, как авоську, и поехать к морю всей улицей, а там растянуть авоську, покрыть прочнейший каркас прочнейшими же нитями: вот и гостиница в полосе приборя на двести номеров.

Впечатляет?

Но вернемся к нашим героям.

Хорошо, бросились бы они к милиционеру, растерзали бы его, поувеличили бы, не дай Бог! Они же остолбенели типичным русским остолбенением. И оно, конечно, не вечно, но...

Но, когда они все же собирались сбежать и терзать-таки милиционера, мягко скрипнула дверь в фальшиво-мраморной стене и оттуда благодушно вышел Змей.

— Что-то вы долго, — сказал он. — А я тут в туалет... А то пиво-то пили... Круговорот воды в природе, святое дело!

Как тут не прослезиться? Слава круговороту воды в природе, слава остолбенению, слава Судьбе и Жизни, слава русскому человеку, слава, слава, слава!

### Глава двадцать седьмая,

*в которой герои решают вопрос кумиров, зиждителей, отцов отечества и т. п., а автор по веской причине собирается их прикончить, но вместо этого впадает в еще одно лирическое отступление*

Конечно же встретившимся друзьям захотелось выпить, что они немедленно и исполнили в ближайшей забегаловке.

— Я когда там в туалете был... — сказал Змей. — Там чисто, светло... Отделка хорошая... Уважаешь себя... И мысли такие... Высокие... И я подумал: зачем нам бедным помогать, их слишком много! Богатых или злодеев деньгами губить? — они сами себя погубят! А вот бывают, например, премии...

— Снова здорово! — сказал Парфен. — Все! Никакой благотворительности! Хочу пить, гулять и лобзать молодых красоток! Не согласны — отдайте мою долю.

— Ты не уважаешь меня? — спросил Змей.

— Я уважаю, но...

— А уважаешь — дослушай. Именно, кстати, об уважении. Давайте подумаем, кого мы больше всего уважаем. И отдадим ему деньги. Чтобы он жил и процветал на благо человечества. То есть такая как бы премия — от нас.

— Я уважаю больше всего себя! — заявил Парфен.

Писатель подумал, что вслух этого не скажет, но тоже уважает себя, пожалуй, больше всех. А уж премии-то достоин как никто за многолетний свой бескорыстный труд на литературной ниве.

— Я согласен, но это не в счет, — сказал Змей. — Я тоже уважаю больше всех себя. И маму. Но — кроме нас, понимаете?

— Не сойдемся, — сказал Парфен. — У каждого будет своя кандидатура.

— А мы отыщем такую, чтобы все согласились. Потому что, конечно, я тоже больше всех уважаю дорогого, земля ему пухом, Владимира Семеновича Высоцкого, но его уже нет!

— А я, — серьезно сказал Писатель, — академика Л., но у него и так премий много, да и откажется он. За это и уважаю, что откажется.

— А я не уважаю никого, — сказал Парфен. — Не сотвори себе кумира!

— Это плохо, — огорчился за него Змей. — Нельзя жить без маяка в душе. Чтобы вспомнить: есть такой человек! — и легче.

Все трое призадумались. Все трое честно стали перебирать в уме людей, славных жизнью и делами, которых они взяли бы в пример себе. Пи-

сатель, поразмыслив, даже академика Л. отверг. Уважать-то он его уважает, а чтобы вот именно — кумир... Нет, не чувствуется этого в душе.

— Полным-полно у людей идолов, — сказал он. — А у нас, получается, никого? Как же мы дошли до жизни такой?

Они стали думать, как дошли до жизни такой.

— Вот что, — сказал Парфен, доставая блокнот и ручку. — Давайте рационально, по порядку. Политика, наука, культура, спорт и так далее.

Друзья радостно согласились.

Они составили список деятелей политики — и вычеркнули одного за другим всех, у каждого найдя недостаток.

Потом составили список экономистов — и вычеркнули всех, у каждого найдя недостаток.

Потом составили список так называемых бизнесменов — и, едва глянув на него, перечеркнули весь разом с брезгливыми гримасами.

Потом составили список ученых, кого знали, — и вычеркнули всех, у каждого найдя недостаток.

Потом составили список деятелей культуры — и вычеркнули всех, у каждого найдя недостаток.

Потом составили список спортсменов — и вычеркнули всех, у каждого найдя недостаток.

Пригорюнились.

Сидели же они, между прочим, в одном кафе, что на улице Немецкой (бывш. просп. Кирова, бывш. ул. Немреспублики), неподалеку от крупнейшего в городе книжного магазина. Это не просто к слову говорится, а потому, что произошло следующее: Писатель что-то вспомнил, подхватился, убежал и мигом вернулся с толстой книгой «Кто есть кто в России».

— Мы же не знаем многих! — увлеченно сказал он. — Поэтому сделаем так: наугад откроем, ткнем — в кого попадем, тому и достанется. Ведь это деньги судьбы, случая, пусть случай и решит! Тут все-таки семьсот деятелей, за что-то их втиснули, а?

Парфен пожал плечами, увидев фотографии на обложке и подумав, что он никому бы из этих обложечных не дал, что тогда говорить о тех, кто внутри? А Змей обрадовался:

— Можно мне?

Емудали книгу. Он положил ее перед собой и стал ощупывать пальцами.

И с треском открыл, тут же ткнув пальцем.

И зачитал вслух:

— «Слаповский Алексей Иванович. Впервые шумный успех выпал на долю саратовского прозаика и драматурга в 1994 г., хотя к этому времени он давным-давно печатался, а пьесы его шли во многих театрах российской провинции. Именно в тот год Слаповский (которого столь авторитетный критик, как А. Немзер, считает одним из самых значительных писателей поколения) попал в список финалистов английской премии Букера за лучший русский роман года. Он, филигранно, мастерски владеющий искусством построения авантюрного сюжета, умеющий блеснуть недюжинным умом и не чуждый иронии, считался одним из главных претендентов на премию. И даже признание председателя жюри критика Л. Аннинского, не скрывавшего, что сознательно (и вполне удачно) противодействовал „лауреатству“ Слаповского, — даже это воспринималось как своего рода негативная составляющая успеха. Где удача, там неприязнь, вражда, а подчас и зависть. (В том числе зависть уходящего поколения к энергии и силе „восходящих звезд“.)»

— Ну хватит! — перебил раздраженно Парфен. — Чего он сочинил-то?

— Тут список есть. Я не читал. А ты? — обратился Змей к Писателю. — Он же, между прочим, саратовский, оказывается. Вот так живешь рядом — и не знаешь! Ты-то должен знать! Может, он даже приятель твой.

— Так, познакомили... — вяло сказал Писатель. — И читал кое-что. Занятно, не более.

— Ну и нечего баловать! — подвел черту Парфен.

Змей, тоже разочаровавшись в идее, отложил книгу.

Ладно, братцы... Это я вам говорю, родитель ваш, автор. Ладно, спасибо. Не надо мне ваших денег! Пусть я в долгах как в шелках и перспективы туманные... Ничего! Выкручусь!

А вот как выкрутитесь вы, обидевшие меня (особенно ты, Свинцитский, мои книги хваливший и в глаза, и заглазно!)? Вы даже и не подозреваете о том ужасе, который навис над вами. Буквально навис! — ибо такова авторская воля и мощь, что он потолок на вас может обрушить, заложив бомбу на этаже над вами, где проживает богатый человек, которого решили убрать конкуренты. И — мокрое место от вас и от ваших идиотских рассуждений. Хоронить нечего будет!

И уже рука занеслась, уже виделась соблазнительная сцена огня, летящих обломков, криков, стонов...

Нет, не получается. Во-первых, живые все-таки люди, а во-вторых, это я бахвалюсь только, на самом же деле нет моей уже воли над вами, а ждет вас то, что вы сами приурочите для себя.

Тем более хоть и идиотские ваши мысли, но — моим родственные, ибо и я не раз задумывался: почему в наше время кумиров и идиолов в моей душе нет истинного кумира? Чтобы я, на ночь помолившись о здравии близких и родных, затем сказал бы тихо ему вдаль сквозь ночь: «Живи, милый человек, ты нужен мне больше всех!» Кто помаленьку, а кто побольше — многие нужны, но чтобы вот так, чтобы...

А ведь если честно, понимаю: есть такие люди. Не может их не быть, потому что если б их не было, то и нас бы всех давно не было! Беда не в том; что нет их, а в общем недоверии души, направленном как вверх, так и вниз. Сотворять-то кумира, может, и не надо (хотя многие не понимают, что они слишком упрощенно эти слова понимают, не понимая, что они — звучный отзвук великой борьбы монотеизма с язычеством), но — быть достойным того, *кто и не знает о тебе!* — то есть гордо и тайно...

И вот прижимаешь обывательские, пошлые, старинные эти свои мыслишки к обывательской цветастенькой подушке под шум ветра за окнами, чувствуешь себя сиротливо, худо, мелко, думаешь: не взять ли чекушечку... Но нет, нельзя. От чекушечки дела не будет, а я занят сейчас, в отличие от моих героев, которые, правда, тоже заняты, но такими делами, которым выпивка не помеха!

### Глава двадцать восьмая,

*написанная, но полностью вычеркнутая, потому что в ней было еще одно угрюмо-покаянное лирическое отступление о питии как не веселии русском, а гибели нашей, но такого словоблудия ни один нормальный читатель вынести не сможет*

### Глава двадцать девятая

*Ай да Парфен!*

— Вот что! — сказал Парфен. — Давно мечтаю я уехать далеко-далеко и начать новую жизнь!

Змей и Писатель несказанно удивились. Не успел Парфен это произнести, а они уже уверены были, что тоже об этом сейчас думали, потому

что тоже давно мечтают уехать далеко-далеко и начать новую жизнь. Ай да Парфен, молодец!

— В Нерюнгри! — сказал Змей.

— Почему?

— Название нравится!

— В Москву! — сказал Писатель, вспомнив о своей литинститутской юности.

— Во Владивосток! — сказал Парфен.

— Почему?

— Ехать долго, за окном пейзажи... Там — океан. Я там не был никогда. И там нас ни одна собака не отыщет!

Все доводы показались Змею и Писателю убедительными.

— Значит, так, — втолковывал Парфен. — Сейчас меняем три тысячи долларов — билеты дорогие. Последним вечерним поездом в Москву, а от туда сразу же на Владивосток.

— У меня паспорта нет, — напомнил Змей. — Без паспорта билет не дадут.

— Положись на меня, — успокоил Парфен. — Я где работаю, в конце концов? Данные паспорта помнишь?

— Нет.

— Не важно, из головы придумаем. А во Владивостоке сделаем тебе новый паспорт. Итак, берем билеты до Москвы и заказываем сразу на Владивосток. Остальные деньги прячем.

— Двадцать одну, — вдруг сказал Змей.

— Что?

— Двадцать одну берем себе. По семь на каждого. Надо еще родственникам оставить на прожитье.

— Маловато! — сказал Писатель.

— А ты там жуировать собираешься? — спросил Парфен. — Мы будем работать! Мы наймемся на сейнер рыбу ловить.

И Писатель со Змеем тут же поняли, что они именно хотели на сейнер рыбу ловить... И дружно кивнули, уважая умного друга.

Парфен подвел итоги:

— Прав Змей, родным надо что-то оставить. И сказать, что уезжаем. Честно. Без экивоков. Поэтому — план. Берем билеты. Договариваемся, где встречаемся. И прощаемся с теми, с кем хотим. Навсегда.

Слово это, печальное и высокое, заставило друзей встать. И они стоя выпили.

И не прошло и часа, билеты были куплены, деньги спрятаны, каждый имел при себе наличность для родных и на собственные прощальные нужды. Встреча была назначена на вокзале за полчаса до проходящего ночного поезда на Москву. (№ 183, Астрахань — Москва, убытие в 1 час 13 мин.)

## Глава тридцатая

### Прощания. Змей

Змей стоял перед матерью, и был он теперь, конечно, не Змей, а Сергей Углов, потому что Лидия Ивановна даже и не знала, что его так дразнили в школе.

Она сидела на старом стуле, покрытом старой шалью, перед ней на круглом старом столе лежали вороха денег, она даже и оценить не могла, сколько, понимала лишь: много. Страшно много. Именно — *страшно*.

— Когда ты учиться после школы дальше не пошел, а начал работать, я думала: ладно, не всем профессорами быть, главное — человек ты не злой, хороший!..

— Мама, эти деньги честные, говорю же! — бубнил Углов.

Не слышала его Лидия Ивановна, продолжала причитать:

— Когда с женой тебе не повезло и ты один бобылем зажил, я думала: ладно, не всем под женами маяться, может, и к лучшему, главное — человек ты спокойный, честный!..

— Сама ты посуди, где я украсть их мог? Для воровства умение надо! — с тихим отчаяньем говорил Углов, страдая за мать.

— Когда работы ты лишился и выпивать стал, я думала: ладно, опять не повезло, главное — человек ты тихий, безответный, выпьешь — не буянишь, всегда домой придешь... да на своих ноженьках... да на постельку ляжешь... да на маму смотришь весь бледненький... виноватый!.. — совсем уж заголосила Лидия Ивановна, будто по покойнику. — А теперь да что мне и делать? Да и как людям в глаза глядеть? Да и убери ты деньги свои поганые! — с мукой и со слезами речитативом выговаривала Лидия Ивановна, и сыну стало страшно за нее.

— Мама! — закричал он. — Да я тебе чем хочешь клянусь, нашли мы эти деньги, с утра встретились — я, Пашка Парфенов и Свинцитский Ванька, писатель, через дорогу живет, мы учились вместе, вспомни! Станет тебе писатель воровать?

— Воровать, может, не станет, а жульничать — все могут. Сжулили вы эти деньги.

— Да как?

— Это вам виднее. Убери. Видеть не могу.

— Еще раз объясняю: нашли мы их! У «Трех медведей». Голые деньги, без документов, неизвестно, кому отдавать. Ванька, Пашка! Пашка вообще в правительстве губернском, ему-то зачем воровать? — кричал Углов.

— А чего там еще делать, если не воровать? — заметила Лидия Ивановна, но уже как-то поспокойней.

Помолчали.

— Не выбрасывать же их теперь, — сказал Углов. — Купим еды себе. Тебе кофточку купим розовую.

— Старухе — розовую? Ты думай, что говоришь. Сынок, посмотри на меня.

Углов посмотрел.

— Скажи мне, только глазами не виляй: нашли деньги или что?

Углов прямо посмотрел матери в глаза и сказал:

— Нашли.

И она поверила.

Да и как не поверить, если Сергей Углов не умеет врать? С детства провал: не умеет. Если еще отвернется от человека, то, может, и получится. А когда в глаза — никак. И пытается, но сразу видно: врет. Поэтому попытки оставил. Нет, учителям-то врал — и даже иногда в глаза, но тут ведь общая игра: ты учитель — я дурак, ты хочешь, чтобы тебя надули, ну, я и надуваю, и оба в дураках, но к обоюдному удовольствию. Врал и по комсомольской линии, и по профсоюзной на работе; тоже ведь игра: один врет, другой кивает с удовлетворением. А вот в серьезных человеческих отношениях Углов — не врет. (Единственное, может, исключение: когда просит денег на выпивку, но тут врет не сам Углов, а его больной, надо прямо сказать, организм.) Из-за этого в свое время и ушла от него жена. О чем она ни спросит — ну, обычные супружнины вопросы: где был, почему поздно, с кем пил, куда деньги дел и т. п., заставив при этом смотреть в глаза, — Углов все выкладывает. По молодости гульнул на стороне: всего один шальной полухмельной вечер с шальной полухмельной-

полузнакомой бабою — и по первому же запросу-подозрению все сам рассказал, дурак! Какая женщина от мужчины подобную правдивость стерпит? И — ушла. Были, возможно, и другие причины, но эта, пожалуй, главная.

И вот мать поверила — и вспомнила, что сын ей еще что-то молол про какой-то Владивосток.

— Куда ты, говоришь, ехать собрался? — насмешливо спросила она, совершенно убежденная, что это он спьяну брякнул. Мало ли: месяц назад тарактел, что сделает вместо чердака мансарду, застекленную на все четыре стороны и сверху, чтоб, как он выразился, «спать в окружении неба и звезд».

— Да мы решили, — сказал Углов, — поехать и на работу устроиться там. На сейнеры, рыбу ловить. Заработки хорошие, говорят.

— Это из тебя — работник?

— А почему нет?

— Сереженька, роднуня, ты же алкоголик! Кто тебя возьмет?

— Сегодня алкоголик, завтра — нет. Я брошу.

— Бросал один такой... Спрячу я деньги пока...

И мать пошла прятать деньги, а Углов смотрел ей вслед и думал, что она хоть и не старуха полная еще, а в возрасте серьезном. Как же он уедет от нее? А — заболает? На старшего брата не оставишь, он даже ей не рассказал о нем, чтобы не расстраивать. Как же быть? С собой — не возьмешь. Вопрос получается — неразрешимый!

Но так устроен человек, что умеет откладывать неразрешимые вопросы на потом, надеясь, что они сами как-то разрешатся. А главное — Углов услышал голоса и заулыбался. Он ведь *фуршет* созвал!

На втором этаже его дома есть веранда, верней, сушилка для белья, там стулья старые, скамьи, столы дощатые, там часто собираются местные алкаши, вот их, родимых, он и созвал, обегав всю улицу, и заранее радовался: он всегда радуется, когда имеет возможность угостить товарищей. Послал гонцов купить водки и пива, хлеба, консервов...

Он появился на веранде, когда фуршет уже начался: тут сигналов к началу не ждут. Не те традиции. И тем, кто именно виновник торжества, не особо интересуются, поэтому появление Змея обошлось без фурора. Шумели умеренно — по местным же традициям. Люди все-таки городские, обтесанные, зачем песни горланить или скандалить, когда можно по душам потолковать?

Змей взял стакан, плеснул в него и встал, прося этим к себе внимания.

### Глава тридцать первая,

*в которой Змей, подняв стакан для тоста, смотрит вокруг и понимает вдруг, что любит эту малую свою родину, он любит эти до сучочков и царапин знакомые серые доски, любит эти шаткие перила лестницы, которые однажды обрушились под его неверной рукой, и пришлось ему с переломом ребра в больнице полежать, любит это тощее дерево с десятком последних желтых листьев, а главное, он любит этих людей: и Андрюшу Немизерова, голубоглазого блондина, имеющего обыкновение после полубутылки водки заводить обличительные речи, исполненные гражданского негодования, и Сережу Боровкова, статного румяного мужчину, который славится умением бутылку водки поровну на восемнадцать человек разлить, и Андрюшу Дмитровского, у которого была когда-то редчайшая профессия «воскобой», и он вот уже лет семь про эту профессию рассказывает, этим и живет, и Аню Сарафанову, вечно не сидящую без работы, но зато имеющую столько ухажеров, что ее пятеро детей с голода не пропадают, и при этом никто из ухажеров не сумел похва-*

статься победой над Аней, и двоюродную сестру Ани Веру Лавлову, которую однажды приезжали снимать из центрального журнала, потому что она оказалась по внешности лица точной копией поэтессы Марины Цветаевой; сняться-то Вера снялась (о Цветаевой досель не зная), но когда съемщики собрались уезжать, не дав денег и даже «фунфырика» не поставив, разъяренная Вера разбила их аппараты, их морды, а также и машину, на которой они приехали, вот что значит довести человека: ведь тишайшая женщина и прекрасная мать, готовая за двух своих сыночков любого убить; а вот громогласная и вечно веселая Надюша Сероедова, которая если уж ругает кого, то лучше тому человеку сразу под землю провалиться, но если кого полюбит и начнет хвалить, то уему ей нет, сутками она полюбившегося человека славословит, несмотря на упреки соседей и предупреждения милиции о соблюдении тишины; а вот Леша Антипенко, бывший актер с рыкающим голосом (и рост — два метра с кепкой), умеющий за столом одной рукой одну женщину по коленке гладить, другой рукой другой женщине поясницу голубить, а ногой под столом еще и третьей женщины ножку ласкать — и никто на него не в обиде, зная почти детскую его простоту и доброту, несмотря на бывшую жестокую актерскую профессию; а вот пенсионер Роман Братман, любящий по-нашенски клюнуть и закусить соленьким и заслуживающийся сладострастно богатством русской речи, цена ее переливы и ее мощную грусть; а вот Эдик Бойков, пьющий ежедневно и обладающий при этом феноменальной способностью говорить гладко, даже падая и засыная, встает же он таким, что соседи сбегаются смотреть: брюки со стрелочкой, рубашечка чистая, словно не на полу человек спал, а в воздухах обретался, — и никто не знает этому объяснения; а вот Валера Володько, человек, после бутылки водки начинающий стискивать зубы и обводить всех тяжелым взглядом, тут важно вовремя крикнуть ему в ухо: «Вперед!» — и он почему-то от этого слова светлеет, обаятельнейшим образом улыбается, спрыгивает с веранды и бежит по улицам города, счастливый, с одной ему известной целью, и бежит так час или два и возвращается уже спокойный; а вот Игорь Букварев, в квартире которого живут три собаки, пять кошек, две канарейки и черепаха — и всех он кормит, отказывая себе в последнем, кроме вина, ибо без вина у него что-то вроде паралича: еле ходит и двух слов не может связать; а вот Владик Горьков, человек огромного мужества: сам себе плоскогубцами три больших зуба выдрал — и теперь к стоматологам никто не ходит, пользуясь его услугами (сто грамм — зуб); а вот Михаил Петухов, справедливейший человек, всегда строго следящий за ходом застолья и безобидно покрикивающий: «Саньке налить полста!.. Ваське двойную!.. Нинке не наливать до следующих указаний!» — и таким образом режиссирующий питье так, что оно течет ровно и благородно; а вот Ольга Дмитрук, бывший бухгалтер, знаменитая способностью, посмотрев в течение трех секунд на любой стол, определить с точностью до рубля стоимость всех напитков и кушаний; уважая этот талант, ее даже на свадьбы с этим аттракционом приглашают; а вот Саша Филинов, бывший подводник, то и дело восклицаящий: «Идем на погружение!» — при этом никто никогда не видел его в состоянии полного погружения; а вот Витя Шушаков, известный тем, что предсказывает политические события в стране на полгода вперед, перед его домом регулярно останавливаются черные машины, и выходят таинственные люди в черном, другой бы на своем даре капиталы нажил, а Витя довольствуется за любой прогноз одним и тем же гонораром, который он, не уважая свой легкий труд, называет — «пузырь»... И это только собравшиеся здесь, а сколько не сумевших прийти — милых, славных, близких, — аж слезы подступают....

И Змей, дождавшись тишины, возгласил сквозь спазмы прощальных рыданий:

— За Владивосток! Ура!

## Глава тридцать вторая

*Прощания. Парфен. Мила*

Парфен, то есть Парфенов Павел Павлович, направился было домой, но по пути передумал и велел нанятому шоферу поехать на улицу Окосечную, что у Волги.

Окосечная улица колоритна: с одной стороны столетние хибары, с другой — овраг, поросший бурьяном, а посреди вечно грязная дорога, зато вдали чудный вид на Волгу. Может, за этот колорит и облюбовали улицу художники, которые здесь селятся.

Когда-то хибары были добротными домами в два с половиной этажа, считая верхний деревянный полуэтаж, который следовало бы мансардой назвать, но неудобно. Эти-то полуэтажи и снимают художники под свои мастерские, а часто там и живут, потому что с семьями у них вечная неразбериха.

Здесь, в одном из домов, и устроилась теперь с новым своим возлюбленным Мила, бывшая любимая женщина Парфенова.

Парфенов поднялся по темной лестнице, постучал в ветхую деревянную дверь.

— Открыто! — послышался такой узнаваемый, сразу все всколыхнувший голос.

Парфенов вошел.

Мила лежала на чем-то, напоминающем нары, грызла большое яблоко и читала журнал «Огонек» за 1989 год.

Парфенов с некоторым удовлетворением увидел вокруг полный беспорядок: кучами и где попало — краски, кисти, холсты, рамы, чудовищно намалеванные картины, разрисованные стены, на столе — грязные тарелки, в банке из-под кофе — окурки.

— Привет, — сказала Мила.

— Привет.

— Ты ко мне?

— А к кому же?

— Может, к Кириллу. К нему часто клиенты ходят.

— Картины покупают?

— А то!

— Неужели эти картины кому-то нравятся?

— Мало ли идиотов.

— То есть они и тебе самой не нравятся? — удивился Парфенов.

— Что я, дура?

— А зачем же ты тут живешь? Он как мужчина тебя устраивает?

— Ты его видел? Шимпанзе нарядить — он! Но гонора!

— Зачем же... Не понимаю.

— Надо же где-то жить, — сказала Мила. — Не с родителями же дома. Заедят.

И Парфенов вспомнил, что она еще очень молода, ей всего двадцать один год. Он подумал, что жизнь с этой девочкой, которая вскружила ему голову оптимистичным своим цинизмом и молодой телесной страстностью, была бы ужасной, а ведь он, дурак, подумывал о такой жизни! И не просто так подумывал, ему казалось, что Мила привязалась к нему и даже по-своему — любит.

— А я уезжаю, — сказал он.

— Командировка?

— Уезжаю навсегда. Во Владивосток.

— Перевод по службе?

— Нет. Просто бросаю все и уезжаю.

— Нормально, — оценила Мила.

— Удивительно, — сказал Парфенов. — Недавно подумал о тебе и понял, что никогда тебя не любил.

— А я знала.

— Нет, действительно, не любил.

— Да знаю я.

— Ты не веришь?

— Вот заладил. Если б любил, не ушла бы.

Парфенов был ошарашен.

— Постой. Это ты меня не любила, поэтому ушла. А я — любил.

— Ни капли. Просто нравилось со мной постелькаться, вот и все.

— Это неправда. Уж кого я в жизни любил, если честно, то тебя.

— Ври больше.

Парфенов усиленно соображал.

— Постой. Но если так... Получается недоразумение. Ты думала, что я тебя не любил, поэтому ушла. А я думал, что ты разлюбила, поэтому ушла. Но если выясняется, что я тебя любил — и люблю, и что ты тоже, то тогда... Зачем тогда мне Владивосток? Я останусь, и мы...

— Красивый город, говорят. Океан, сопки...

— Ты меня слышишь? Давай...

— Что? Поженимся?

— Ну хотя бы. Да. Поженимся.

Парфенов подошел к Миле и присел на край нар, взял ее за руку. Рука была холодная и вялая.

— Нет, не любишь ты меня. Сам же сказал. Вошел и сразу: я тебя не любил.

— Я с досады! Мало ли что человек с досады!.. Мне обидно, что ты...

— Все. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

— Да люблю я тебя, дура, люблю, Мила, Милочка, радость моя, — целовал Парфенов холодную руку.

Мила хрустнула яблоком и сказала набитым ртом:

— Бубу, гага росые мууки самами кукут!

— Что?

Она прожевала:

— Люблю, когда взрослые мужики соплями текут. Жалкий вид у них. Вы, мужичье, после сорока все такие жалкие делаетесь. Как ни крути, а молодость кончилась.

— Постой, — не обращал внимания на обидные слова Парфенов, глупо улыбаясь. — Ты скажи еще раз: значит, я ошибся? Значит, ты меня любишь, но тебе показалось, что я тебя не люблю, а... ну... ну, держу как любовницу?

— Именно так, то есть не совсем. Ты меня не любил, я тебя тоже, вот какой расклад.

— Но только что...

— Только что было без пятнадцати, а сейчас без десяти! Бежит время!

Парфенов вспомнил проститутку Милу и свою обиду. Он почувствовал вдруг в себе желание сдавить пальцами это хрупкое горло — до смерти. Все они для одного созданы: морочить нас!

— Убил бы тебя! — сказал он.

— Вот в это верю. А остальное выдумки, Пал Палыч. В вас все — выдумки. А жаль, человек-то вы, в принципе, хороший. И любить вас можно. Кто-то даже прямо до смерти полюбит, я вполне могу представить. Ох, не завидую ей!

— Почему?

— Потому что вы хоть замечательный, но тухлый. Впрочем, все тухлые, — тут же успокоила Мила Парфенова.

Он встал.

— Ладно. Ты изволишь изображать из себя черт знает что... А на самом деле ты дешевка. Ты спишь с каким-то павианом...

— Шимпанзе!

— За угол, за банку консервов и бутылку вина! И при этом считаешь себя интеллектуалкой. И при этом смеешь говорить про любовь! Да ты не знаешь, что это такое, и никогда не узнаешь, потому что у вашего поколения атрофирован тот орган, которым любят!

— А каким? — поинтересовалась Мила и посмотрела куда-то в направлении своих ног.

— Мразь. Сучка мелкая. Подстилка богомная.

— У вас богатый словарный запас. Вы поэт в душе, я всегда это знала. Но вы поэта в себе убили. Зачем?

Это поколение ничем не проймешь, думал Парфенов о Миле и заодно о сыне Павле и о многих других, общаться с которыми неприятно, поскольку все они напускают на себя независимый вид *пофигизма*, скрывая этим несостоятельность и пустоту своих мыслей и чувств!

(!!! — добавлю от себя. Автор.)

Но Миле он не стал этого говорить (метать бисер!), он поступил мужественно: молча вышел. И, спускаясь по лестнице, похвалил себя за мужество.

А Мила полежала, доела яблоко, встала, налила стакан воды, потом достала давно на этот случай припасенный пузырек с таблетками: они были разные, она собирала их несколько месяцев, большей частью — транквилизаторы. От них, говорят, будто засыпаешь...

Она высыпала таблетки на ладонь и горстями забрасывала в рот, запрокидывая голову, как у куста в солнечном саду горстями сыплют в рот смородину, и так же при этом морщась, хотя таблетки были абсолютно безвкусными.

### Глава тридцать третья,

*являющаяся продолжением тридцать второй*

Парфенов перед тем, как прийти домой, завернул в рюмочную на Ульяновской и выпил полстакана водки. Не для того, чтобы успокоиться. Не для того, чтобы горечь залить. Не потому, чтобы укрепить себя в мужестве перед разговором с женой. Не оттого, что просто хотелось выпить (впрочем, хотелось). Ему требовалось подогреть в себе радостную энергию освобождения. Вы говорите, не вникая в смысл своих слов, руководствуясь только настроениями! — думал он о Миле, об Ольге, о сыне Павле и о многих других, так вот, и я не хочу утруждать себя взвешенностью речей!

Дома его встретили вкусные запахи.

Ольга и Павел обедали на кухне.

— Повадились родителей обжирать! — сказал Парфенов Павлу. — Или дома жена не кормит?

Павел округлил глаза и засмеялся, а Ольга сказала:

— Папа у нас седня выпимши. Ему покуражиться хочется.

— Вот именно, — не отрицал Парфенов, сам налил себе супа, начал есть и как бы между прочим положил на стол билеты.

Павел взял их.

— Саратов — Москва — Владивосток транзитом! Вот это поездка! — сказал он.

— Что это? Твоего любимого губернатора переводят во Владивосток? — спросила Ольга с улыбкой.

— Я сам себя перевожу. Уезжаю.

— Почему во Владивосток-то? — спросил Павел.

— А подальше от вас, — сказал Парфенов. — Надоели вы мне.

Наступила пауза. Павел отца просто не понимал, потому что никогда его таким не видел, а Ольга думала о том, что муж, давно не любящий ее, нашел какую-то себе пассию, наверняка красивую и молодую, и вот уезжает навсегда. Почему-то во Владивосток. Может, она из Владивостока... И Ольга, давно готовившая себя к чему-то подобному, оказалась не готова. Но вида не подала.

— Что ж, скатертью дорога, — спокойно сказала она. — Надолго едем?

— Навсегда.

— Нет, но почему? — тараторил Павел, сразу утративший обычный свой лоск и ставший похожим на того круглоглазого карапуза, которого Парфенов двадцать лет назад любил к потолку подбрасывать.

— Я ж говорю: мне все тут осточертело! Вы в том числе. Что смотришь, сынок? Ты не уважаешь меня, ты считаешь, что я в коридорах власти пристроился пол языком мести, разве не так? Ты давно не любишь меня, я давно не нужен тебе. Равно как и тебе, — отнесся Парфенов к Ольге. — Но я не в претензии! Какие претензии, если я вас тоже давно не люблю, родные мои. Вы мне надоели. Мне скучно с вами. Я иссяк для семейной жизни. Что, так и буду вертеться, хитрить, любовниц на стороне искать?

Ольга издала легкий звук, показав глазами на сына.

— Да брось ты! — махнул рукой Парфенов. — Он не маленький! Если он сам не трахает подруг своей жены — и надо ж такую уродину отыскать! — то он последний дурак!

— Ну знаешь!.. — начал было Павел, но Парфенов пресек:

— Не будем! Не будем лицемерить. Простимся спокойно и достойно. Кстати, Оля, я знаю, у тебя с деньгами нет проблем, но все-таки на первое время... — И он выложил пачку денег.

Павел присвистнул:

— Ты что, банк ограбил?

— Очень может быть. Ну, слезы прощанья будут? Не будет слез. Очень хорошо.

Парфенов и впрямь не увидел слез прощанья. Он видел только растерянность. Но сожаления, печали, потрясения — не увидел он. И понял с горечью, что прав: не любят его давно ни жена, ни сын. И — не надо.

Но вот быть дома до поезда — невыносимо. Он, в сущности, простился, ему тут больше нечего делать.

Куда пойти?

Есть Роберт, друг по работе и другим делам, он тоже сегодня свободен. Надо позвонить ему.

Парфенов позвонил.

Ответил приятный баритон друга Роберта, всегда спокойного, знающего цену вещам и людям.

— Здравствуй, Роба, — сказал Парфенов. — Я тут во Владивосток уезжаю.

— Очень хорошо, — сказал Роба. — И сколько надо выпить, чтобы поехать во Владивосток?

— Я слишком трезв. И в трезвом уме говорю тебе, Роба: жаль, но я всегда тебя презирал. Твое спокойствие. И вообще. Ты холоден, как сом. И с усами, кстати.

— Ладно. Завтра поговорим, — ответил Роберт.

— Повторяю: я трезв! Я сегодня ночью уезжаю во Владивосток. И хочу, чтобы ты напоследок знал: ты дерьмо! Я тебя ненавижу.

— Очень жаль, — сокрушенно вздохнул Роберт.

— Сукин сын! — заорал Парфенов и бросил трубку.

Энергия кипела в нем.

Он заглянул на кухню и сказал Ольге:

— Собери вещи, если не трудно. Поезд в полночь, часов в одиннадцать я заеду.

И быстро вышел из квартиры, из дома, из двора — к дороге, приказным жестом остановил машину и сел, не зная еще, куда поедет.

### Глава тридцать четвертая

#### *Прощания. Писатель*

Писатель же Иван Алексеевич Свинцитский, тоже заглянув в рюмочную на Ульяновской, увы, ослаб. А в ослабшем виде он становился загадочным и непредсказуемым. Явившись домой, он сел в свое любимое мягкое кресло под торшером, где так хорошо читать вечерами, и позвал судьбоносным голосом:

— Иола!

Иола сказала:

— Я здесь.

Она действительно была здесь же, за письменным столом, редактировала текст последнего коммерческого романа Свинцитского.

Писатель удивился, но осознал. И позвал тем же многозначительным голосом:

— Люда! Оля!

Девы-старшеклассницы, пришедшие из школы и тихо слонявшиеся по комнатам с грезами о вечерних планах, не сразу, но вплыли в комнату.

— Дорогие мои! Я уезжаю!

И он достал из карманов билеты и деньги и рассыпал по полу. И заплакал без голоса, одними глазами.

Девочки так удивились, что даже взяли на себя труд нагнуться и собрать рассыпанное — и подать матери. Иола рассматривала билеты, деньги...

— Ни о чем не спрашивайте! — закричал Свинцитский. — Я решил! Сегодня ночью. Во Владивосток! Как Гоген или Ван Гог, не помню. Ну, который все бросил и стал гением. Художник. Я страшно необразован! Но талант во мне есть, я чувствую! Но ничего не выходит! Но я же могу! Но почему не выходит? И я понял: надо бросить! Все говорят: Гоген — или Ван Гог? — бросил постылые краски и шумы города! Не верю! Наверняка он бросил что-то очень дорогое! Бросать надо что-то очень дорогое, иначе нет смысла! Это преступление, но мне как раз нужно преступление! Я слишком порядочен, поэтому из меня ничего не получается. Я должен бросить жену и детей, заразиться сифилисом от портовой шлюхи, стать алкоголиком, и тогда я напишу роман... Это будет роман!.. И даже если я его не напишу, я успею стать гением! Гений и злодейство две вещи несовместные? Чепуха! Только злодей и может быть гением!

Тут Свинцитский окончательно обессилел от горя и от своей отчаянной мудрости и повесил голову.

И слюнка потекла из уголка его рта, и дочери, ранее не преминувшие бы перехихикнуться, как-то странно посмотрели на мать.

— Билеты-то настоящие, — сказала Люда.

— И деньги, — сказала Оля.

— Разберемся, — сказала Иола, оставаясь совершенно спокойной матерью и женой. — Помогите-ка мне.

Втроем они подняли огрузневшего Свинцитского, повели — и уложили.

— Через час разбудить! — были последние его слова.

— Конечно, — сказала мать серьезно — и строго глянула на дочерей, чтобы те не вздумали смеяться.

Но те и не собирались.

Глава тридцать пятая

*Парфенов в поисках разврата и порока. Брюнеточка. Отставник. Кислые апартаменты. Юля и Галя. Обморок*

Парфенову хотелось оставить о себе память экстраординарным поступком в паршивом этом городе (который окончательно стал для него таким с сегодняшнего дня). В рамках закона, конечно.

Сперва он велел водителю ехать к зданию губернского правительства. Пребывая в нетерпеливом раздражении, думал: ну и что он там сделает? Нахамит губернатору или кому иному из верхних?

Глупо, мелко, пошло.

Соберет народ и произнесет обличительную речь, предъявляя известные ему компрометирующие тех же верхних факты?

Глупо, мелко, пошло.

Пока размышлял, приехали.

— Дальше! — сказал он.

— Куда?

— Куда дорога ведет!

Водитель, человек с лицом, исполненным житейского опыта, хмыкнул.

Дорога через несколько минут привела машину на улицу Большую Казачью (бывш. 20 лет ВЛКСМ), известную, в частности, тем, что на ней молоденькие дешевые девочки стоят. Правда, стоять они начинают ближе к вечеру, но есть некоторые из старшекласниц или первокурсниц вузов и техникумов, которые, не желая заниматься этим как регулярным бизнесом, выходят на условные точки, когда нет еще жестоких конкуренток, которые ведь и поувечить могут, были случаи. Они даже не на условных точках этих стоят, а прохаживаются поблизости и с таким видом, будто — просто идут, задумавшись. В одну сторону подумают несколько шагов, повернут — в другую подумают. Поди докажи, что я клиента ловлю!

Поэтому водитель, почувшый, что надобно Парфенову, и повез его сюда. Вскоре он притормозил и сказал:

— Вот эта ничего себе.

Парфенов понял, что его поняли, — и посмотрел.

Тоненькая брюнеточка с распущенными волосами. Действительно хороша. Но нельзя же вот так хватать первую попавшуюся.

— Проедемся еще.

Они проехались. Видели опять же брюнеток, блондинок, шатенок, полных, худых, средних, высоких, маленьких, с глазами и губами всех оттенков и форм. Но все как-то казалось не то. Глянет Парфенов — нет, брюнеточка была лучше. И решил вернуться к брюнеточке.

Сделали круг, приехали на то место, где брюнеточка стояла.

А она уже не стоит, она уже в машину садится!

Парфенов выскочил, подбежал, успел подхватить брюнеточку под локоток.

Она обернулась, недоумевая, а двое сидевших в машине настоящих мужчин удивились:

— В чем дело, дорогой?

— Мы договаривались, я раньше, мы с ней... Прошу... — И Парфенов почти силой вынул девушку из машины и поставил рядом с собой.

— Я заплачу! — шепнул он ей. — Хорошо заплачу!

— Да мне все равно! — сказала она.

Но настоящим мужчинам было не все равно.

Они вышли, и старший из них начал разговор:

— Если вы раньше, зачем она к нам сидеть полезла, так? Все правильно должно быть, так? Вы не пришли раньше, она к нам согласилась, значит, вам придется ждать, так?

- Не так!
- Почему? — удивился старший.
- Потому! — нагло ответил Парфенов.

Девушка засмеялась. Ей нравился этот странный дядька. Да и с одним как-то все-таки... Все-таки она не такая еще привычная. Всего раз десятый...

— Тогда мы будем с вами спорить! — сказал старший, и настоящие мужчины двинулись вперед.

Но на Парфенова напал кураж.

Он сунул руку во внутренний карман и сказал:

— Ну, идите ко мне, идите!

Настоящие мужчины переглянулись.

— Ладно, — сказал старший. — Мы еще с вами увидимся.

— Надеюсь! — гордо сказал Парфенов и повел брюнеточку к своей машине.

— Куда поедет? — спросил водитель.

— То есть? — удивилась девушка. — У вас, что ль, *хазы* нет?

— Квартиры? Нет. Я думал, у вас. У тебя, — сказал Парфенов.

— Фраера тоже! Отсветили от клиентов, а куда везти — не знают!

— Сама должна соображать, если работаешь! — обрезал ее водитель. — А если любительница, нечего и лезть!

Девушка промолчала.

— Что ж мне с вами делать, — побарабанил пальцами по рулю водитель. — Вот что, — обернулся он к Парфенову. — Я тебя на свою квартиру отвезу. Двести в час. И чтоб полный порядок.

— Гарантирую.

— Деньги вперед. Сколько понадобится?

— Часа два, — сказал Парфенов.

— Ого! — сказала девушка. — Дядя гигант? — И потрепала Парфенова по штанам.

— Поехали, — сказал Парфенов.

Он был недоволен. Рассмотрев девушку вблизи, он увидел, что кожа у нее еще подростково прыщевата, что рот, нарисованный помадой, на самом деле вдвое меньше, что на ресницах комками лепится дешевая тушь... Оставалась надежда, что у нее хоть фигура хороша. Да еще промелькнула странная мысль, что настоящий порок и разврат и должен быть вот с такими вот изъянцами — с прыщами и фальшивыми губами...

Доехали до улицы Вишневой, поднялись вверх, остановились у пятиэтажного дома.

— Сейчас рекогносцировку местности проведу, — по-военному выразился водитель. — (Похоже, он и был отставной военный, прирабатывающий к пенсии частным извозом, недаром зеленая армейская рубашка на нем — и на красной шее характерные морщины военно-полевого качества.)

— Между прочим, я тоже двести в час стою, — сказала девушка.

— Ладно, ладно, — ответил Парфенов.

Явился отставник.

— Облом, ребята! Тещу черт принес, стирает, видите ли! Но у меня еще родная мама есть! — утешил он. — Мы ее сейчас попросим погулять — и нет проблем. И дешевле будет стоять: сотня в час.

— И частичные удобства? — спросила девушка.

— Удобства все! — весело сказал отставник, гоня машину. — Только в общем месте, но это разве проблема, когда главное — любовь?

— Коммуналка? — спросила девушка.

— Ну и что? Там комната сорок метров, а потолки — пять!

— Мы там что, летать будем?

— Плачу триста в час, — сказал ей Парфенов. Она его все больше раздражала. И голос какой-то... Ринит у нее, что ли, или просто насморк? Да и фигуру он успел косвенно рассмотреть. Ножки худенькие в черных чулочках из-под короткой юбки высовываются загогулинками, коленочки шишковаты, свитерочек плоско обтягивает стан.

«Но, может, это опять-таки и лучше?!» — возникла недавняя странная мысль.

Приехали в центр, на улицу Бахметьевскую, подрулили к двухэтажному дому, отставник убежал.

И вернулся бодрый:

— Все нормально! Мама, правда, приболела, но она будет за ширмочкой лежать, не встанет. Ну, может, чего-нибудь скажет, она любит на жизнь пожаловаться, маразм! Не обращайтесь внимания!

Девушка хмыкнула, а Парфенов, в уме своем представлявший уже сцены с нежными девичьими криками и стонами и мужским пламенным рычанием, не хотел, чтобы старушка это слышала.

— Не пойдет, — сказал он.

— Тогда так, — не унывая, сказал ему отставник. — Стольник в зубы этой шалаве — и на фиг ее, а я везу тебя туда, куда надо!

— Чего?! — возмутилась брюнеточка.

— Вали, вали! — посоветовал ей отставник, вынул из руки Парфенова сотенную бумажку, которую тот по его слову достал, сунул девице и открыл дверь.

Она, ругаясь сквозь зубы, вылезла из машины.

И отставник погнал с лицом вдохновенным и бодрым. Видимо, он был из тех упертых служаек, которые, взявшись за дело, доводят его до конца.

Мигом пролетели они несколько кварталов и остановились возле обычного девятиэтажного дома.

Мигом отставник залетел в подъезд и мигом вылетел:

— Все нормально, тебя ждут, и выбор есть! Квартира семнадцать, назывешься Владиком. Я ж забыл спросить, как тебя зовут. Тебя ждать?

— Нет.

— Как хочешь.

И, взяв за труды достаточную сумму, довольный отставник укатил.

Парфенов поднялся на третий этаж, позвонил в дверь семнадцатой квартиры, назвался Владиком, егопустили.

Впустил мужчину в джинсах и майке, живот нависал на джинсы, от мужчины пахло чем-то кислым, но потом Парфенов понял, что это запах всей квартиры.

— На сколько? — спросил мужчина.

— Часа на два.

— Обоих?

— Кого?

— Девушек обоих?

— Обоих, — усмехнулся Парфенов.

— Семьсот пятьдесят, — явно наобум сказал мужчина, с трусливой наглостью глянув на Парфенова.

Но тому неохота было изображать из себя знатока. Он вынул пачку денег, отлистнул семь сотенных и пятидесятку.

— Туда, — указал мужчина.

(Квартира представляла собой двухкомнатную «распашонку»: посредине кухня и санузел, а по бокам комнаты. Сутенер находился в одной из комнат, а «обои» — в другой.)

«Обои» эти хоть и были малочисленны, но зато — на любой вкус! Одна, естественно, блондинка (неестественная), вторая — брюнетка (кажется, природная). Одна повыше, ближе к топ-модельному стандарту, но,

само собой, статнее, вторая — гибче и мельче, но зато красивенькая, с орехово-зелеными, подлость такая, глазками.

В комнате был широчайший диван, ничем не покрытый, зеленого цвета, во многих местах залоснившийся, — и больше почти ничего не было. Ну и телевизор, конечно, с видеомагнитофоном, оттуда ритмические стоны звучали. Девушки лежали на диване в мятом полупрозрачном белье, которое должно было казаться эротичным, в опостылевший телевизор не смотрели, а смотрели так как-то... в никуда. Вот мужчина вошел — стали смотреть на него. Не старый еще, хорошо. Не сильно пьяный, тоже хорошо. Одет не сильно круто, тоже хорошо. Интеллигент, в общем, как они таких называли. Не самый худший вариант (хотя некоторые из них так распоясываются — почище загулявшего *брата*на какого-нибудь).

В дверь постучали.

— Не желаете напитков? — спросил мужчина голосом официанта.

— Желаем! — тут же откликнулась блондинка.

Слово ее произвело неожиданное действие. Мужчина влетел, поставил наскоро на пол поднос с бутылками и какой-то дрянью закуской, подскочил к блондинке, схватил ее за ухо и стал крутить с криком:

— Я тебе сколько говорил, подлюка! Ты к концу дня опять лыка вязать не будешь? Работать я буду за тебя?

— Я пошутила! — верещала блондинка.

— То-то, — сказал мужчина, вытирая пальцы о штаны. А потом нагнул-ся и что-то пошептал ей в наказанное покрасневшее ухо. Она кивнула.

Все это выглядело как дело семейное, обычное, при котором посторонних не стесняются, поскольку они, войдя сюда, тут же как бы становятся членами семьи. И именно поэтому мужчина сказал Парфенову совершенно по-свойски:

— Ей не давать, заметано?

— Ладно, — кивнул Парфенов.

Мужчина вышел.

Повисла пауза.

Всем было скучно. Ни Парфенову, ни девушкам не хотелось начинать того, ради чего они были здесь.

Вдруг блондинка вздохнула, разделась (такими бытовыми движениями, как в бане раздеваются), легла на спину, резко подняла вверх ноги и брякнула их, раскидывая, о постель так, что та вся заколыхалась. Ее подруге это показалось почему-то очень смешно, она аж повалилась от смеха.

Полежав так некоторое время, блондинка поднялась, села и сказала:

— Муштин, а муштин! Налей полстакашка, а? У меня день рожденья сегодня, а он даже в день рожденья меня оскорбляет!

— И мне немножко! — просюсюкала черненькая.

Что ж, налил им Парфенов винца, а себе — водки. Чокнулись.

— Юля.

— Галя.

— Пал Палыч.

Девушки, выпив, закусили дольками соленых огурцов, а Парфенов выбрал апельсин.

Ему тепло стало и хорошо.

Намеревался он совсем другое делать: раздеть этих шлюх, излапать их, изнасиловать, унижить словами и движениями, довести до того, чтобы пощады запросили.

И — расхотел.

И — сидят выпивают (он вдогонку тут же еще выпил), разговор завязался.

— На улице такая прелесть! Золотая осень! — сказала Юля. — А этот сучец нас даже погулять не выпускает. Собак и тех выгуливают.

— Хочу собаку, — печально сказала Галя. — Чтоб меня любила, а других грызла.

— А поедем на природу! — сказал Парфенов. — Недалеко, в пригород. Постоим, воздухом подышим, осенним лесом полюбуемся. А?

Девушки переглянулись.

— Я оплачу!

— Нет, — сказала Юля. — Он не разрешит.

— Жаль. На природе, знаете, думается хорошо. О себе. О жизни.

И Парфенов взял да и рассказал этим девушкам о себе и о жизни, о том, что на самом деле он хотел стать когда-то матросом торгового флота и избороздить все моря и океаны, а потом сбежать (еще в советское время) с корабля, устроиться портовым грузчиком, потом начать собственное дельце, слегка разбогатеть, поселиться на берегу в какой-нибудь камышовой хижине и писать книги, как писатель Эрнест Хемингуэй. Знаете такого?

Девушки не знали.

Парфенов близко к тексту рассказал им один из своих любимых рассказов — «Кошка под дождем». На девушек это произвело почему-то такое впечатление, что они заплакали. Заплакал и Парфенов.

— Что мы всякое фуфло пьем? — сказала Юля. — У меня день рождения или нет? — И она достала начатую бутылку мартини. Налила всем. Сказала: — За вас! — и подняла стакан.

— Спасибо, — сказал Парфенов и отпил из стакана.

И еще лучше, еще теплее стало ему. Он погладил по колену маленькую девушку.

— Ты на мою дочь похожа!

— У вас есть дочь?

— Нет. Но я хотел. И тебя хочу.

Парфенов потянулся к девушке и упал, потеряв сознание.

## Глава тридцать шестая

### *Невскрываемый портфель*

Долго ли, коротко, а выпивка кончилась. Она всегда кончается, сколько б ее ни было. И наличности у Змея не осталось. Он пошел к матери, чтобы у нее займы спросить, но она куда-то отлучилась, скорее всего к соседям телевизор смотреть. Можно бы и поискать, и подождать, пока вернется, но — время не ждет, гости не ждут! А ведь деньги есть: общие деньги в бронированном портфеле. А портфель в сарае, во дворе, под ящиками с картошкой. Он возьмет немного, разве друзья осудят его? Возьмет из своей доли.

Змей сбегал за портфелем, принес его.

— Чего у тебя там? — спросил кто-то.

— Да деньги.

И только сейчас Змей вспомнил, что ключи от портфеля у Писателя. Или у Парфена. Оба близко живут, можно сбежать, но, опять-таки, зачем время терять? Вот есть же тут Боря Кузьмин, слесарь, который двумя проволочками вскрывает любые замки. Особенно сложные — тремя.

Кузьмин взял, осмотрел и, к общему удивлению, спасовал.

— Это как сейф, — сказал он.

Стали пробовать.

Немизеров принес зубило и попробовал зубилом. Не вышло.

Боровков попробовал клещами. Не вышло.

Дмитровский попробовал коловоротом. Не вышло.

Аня Сарафанова попробовала на зуб.

Вера Лавлова попробовала серной кислотой (хранила на случай — сжечь харю той бабе, которая посмеет строить амуры ее мужу, когда она выйдет замуж).

Надюша Сероедова попробовала утюгом.

Роман Братман попробовал теоретически опустить портфель в море на глубину 10 000 метров (любил научную фантастику), где его разорвало бы от давления.

Эдик Бойков попробовал авторучкой.

Валера Володько попробовал кулаком.

Игорь Букварев привел своего ротвейлера и попробовал ротвейлером.

Горьков попробовал любимыми своими зубоврачебными плоскогубцами.

Петухов попробовал силой интеллектуального анализа, прищулив один глаз для концентрации мысли.

Ольга Дмитрук, бухгалтер, уставшая от точной тонкости цифр, попробовала ломом.

Саша Филинов попробовал домкратом.

Витя Шушаков попробовал сыренизировать, но его не поняли.

— Да ну его к черту! — обиделся он и пнул портфель ногой. Тот закувыркался по лестнице — и вдруг раскрылся, и из него посыпались деньги в невообразимом количестве.

— О! — обрадовался Змей. — Сейчас выпьем!

Нехорошая тишина была ему ответом.

— Ребята, имейте совесть... — сказал он.

Но все, кто был тут, ломанулись вниз, на ходу растопыривая руки (что показывает их совершенную неопытность в обращении с деньгами, потому что ловить их удобнее сведя руки вместе).

Все хватали доллары, отпихивая друг друга, в результате чего Немизерову оторвали карман.

Боровкова ударили в ногу.

Дмитровскому заворотили салазки.

Аня Сарафанова потеряла покой.

Роман Братман потерял лицо.

Вера Лавлова утратила былую нежность.

Надюша Сероедова усомнилась в способности любить.

Эдик Бойков не знал, за что держаться: за деньги или за стрелки брюк, чтоб не смяли.

Валера Володько, увлекшись борьбой, не успел ни одного доллара поднять.

Игорь Букварев — тоже, занятый тем, что пытался натравить на людей своего добрейшего пса.

Горьков был в сторонке, где больше всего долларов и оказалось.

Петухов заботился о том, чтобы, собирая деньги, не иметь алчного вида.

Ольга Дмитрук устало сидела на лестнице, и деньги, взвившиеся в процессе их ловли другими, сами падали ей в руки.

Саша Филинов собирал, чтобы отдать владельцу.

Витя Шушаков по-прежнему иронизировал, но набил при этом полную пазуху.

— Братцы, там ведь не мои! Отдайте! — закричал Змей.

Естественно, никто его не слышал, думая уже о том, куда бежать с навзатанными деньгами. Вот только эту еще бумажку поднять, и эту, и эту...

Змей заплакал.

### Глава тридцать седьмая

#### *Сон Писателя*

А писатель Иван Алексеевич Свинцитский в это время беспробудно спал, и снился ему вовсе не пьяный, а, наоборот, какой-то очень ясный и сюжетный сон.

Итак, снится писателю Свинцитскому, что он — писатель Свинцитский, но не такой, как он есть, явный сочинитель коммерческих романов (впрочем, под псевдонимами) и тайный — художественных, живущий в глухом Саратове, обремененный семейными заботами, а другой Свинцитский — всеми критиками признанный, читателями любимый, на все языки переведенный и при этом очень скромный. И вот призывает его Президент всея Руси и говорит: «Имел неосторожность на ночь вчера вашу новую книгу начать — и оторваться не мог, пока не прочел. И смеялся, и плакал. Вижу, правду говорил мне советник по культуре, что заслуги ваши перед Отечеством велики. Скажите, чем могу я со своей стороны эти заслуги отметить? Просите, что вам нужно, чтобы вы и впредь спокойно работали на благо этой самой словесности».

«Да все у меня есть, — отвечает писатель Свинцитский. — Стол да стул, да бумага, да чего носить, да чего покушать. Более и не надо ничего. Покою в душе нет, но это мне никто не в силах предоставить».

«Уж я-то понимаю! — вздыхает Президент. — Покой нам только снится! Ну, на тебе тогда орден „За заслуги перед Отечеством“ 2-й степени — и иди с Богом».

Писатель Свинцитский выходит из Кремля, садится в «мерседес», где поджидает его молодая красавица жена в песцовой шубке, и катит по Москве. Приезжают они в подмосковный свой трехэтажный особняк, ужинают холодной осетриной с подогретым красным вином, ложатся в постель, и после взаимной нежности красавица жена начинает похрапывать, а писатель Свинцитский ворочается и думает о том, что всего-то он достиг (при том, что чего-то, конечно, не достиг) — и неизвестно, что теперь делать, можно в любой момент помирать. Сердце от этих мыслей начинает болеть, он пьет лекарство и помаленьку впадает в сон.

И снится этому писателю Свинцитскому, что он — писатель Свинцитский, но не такой, как он есть, всеми признанный и увенчанный и самим Президентом обласканный, а живущий в каком-то глухом городишке-райцентре, он одинок, он ходит в отрепьях, он свет знакомство с подозрительными личностями, он давно уже перестал даже писать, он зимует в каком-то подвальном брошенном овощехранилище вместе с такими же бомжами, как он сам. И просыпается он однажды с жестокого похмелья, и плохо ему, и не хочется жить, но вдруг отворяется люк, ударяет по глазам луч света, потом опять темно, потом глаза привыкают — и перед ним женщина ужасного вида, с бутылкой в руке. Хватает он эту бутылку, пьет вино — и счастлив, и думает, что не надо ему иной доли, и с блаженной улыбкой — засыпает.

И снится этому бомжу-писателю Свинцитскому, что он — писатель Свинцитский, но не такой, как он есть, опустившийся алкоголик, а такой, который живет в большом, местами и временами красивом волжском городе Саратове, что он благополучно кормится сочинением коммерческих романов, а свое, заветное, пишет свободными вечерами, пишет радостно, хоть и с тайной болью, пишет свободно, и у него милая жена, у него милые дочери-близняшки, квартирка ничего себе, за окошком ветер посвистывает, а в комнате тепло, на столе чашка кофе с молоком дымится — и так славно, так тихо на душе. И слезы текут во сне у писателя-бомжа Свинцитского, и не хочет он просыпаться, чтобы не разрушилась эта блаженная картина скромного счастья...

Писатель Свинцитский проснулся. Не тот, который бомж, и не тот, который орденосец, а наш, который Иван Алексеевич, который деньги нашел.

Он проснулся со слезами на глазах и почувствовал радость оттого, что жив, оттого, что дома, но и тревогу какую-то, смутную, непонятную, почувствовал он...

— Проснулся? — спросила Иола, повернувшись к нему от стола, за которым работала. — Может, объяснишь, что это за деньги и что за Владивосток?

— Сейчас, — сказал Иван Алексеевич. — Сейчас.

### Глава тридцать восьмая,

*содержание которой станет известно каждому, кто прочтет ее*

Проснулся в это же время, но в совсем другом, как вы догадываетесь, месте, и Павел Павлович Парфенов.

Он подумал, что уже вечер или ночь.

Потому что темно было вокруг.

Он пошевелился, пощупал руками вокруг себя. Кирпичи, обломки досок...

Голова раскалывалась от боли.

Парфенов замычал, обхватил ее руками.

Медленно сел, потом встал на четвереньки и осторожно пополз. Пополз туда, где было немного светлее.

Что-то вроде дверного проема. Он, опираясь о косяк, встал. Продвинулся вперед. Вон там — еще светлее.

Дошел. Деревянная лестница с полусгнившими ступенями.

Стал подниматься.

Каждый шаг отзывался приливом боли в голове.

Еще светлее.

Огляделся.

Полуразрушенная комната с драными обоями, без пола, балки косо нависают, сквозь них — вечеряющее небо.

Увидел коридор, по стенке дошел до него и через коридор — наружу.

Прошел шагов десять и только тогда обернулся.

Разломанный старый дом с пустыми окнами.

Вокруг — пустырь, обнесенный забором.

Место будущей стройплощадки.

Где он?

Парфенов побрел вдоль забора.

Ворота. Полуоткрытые.

Вышел.

Огляделся.

Совершенно незнакомая улица. Слева — старые дома, справа — дом девятиэтажный.

Пошел к этому дому.

На ходу вяло щупал карманы: пусто.

Не удивился.

Вокруг почему-то — никого.

Обогнул дом — и узнал подъезд. Возле него стоит ржавый «Запорожец», по нему и узнал.

Медленно поднялся. Семнадцатая квартира. Он помнит.

Позвонил.

— Кто?

— Парфенов Павел Павлович, — почти шепотом произнес Парфенов.

— Кто? — спросили еще раз.

— Откройте, пожалуйста! — громче сказал Парфенов.

Открыл мужчина в джинсах и майке, живот набекрень. В зубах сигарета, один глаз прищурен от дыма, но сигарету в руку не берет (чтобы обе руки свободны были).

— Кроме вас, я тут никого не знаю, — сказал Парфенов. — Мне ничего не нужно. Скажите, где я. Мне надо домой.

— Домой? Ну и иди.

— Улица Мичурина. Мне надо домой. Дайте немного денег. Доехать. Я не смогу. И вина. Если можно — немного вина.

— Ты кто, мужик? Какие деньги? Какое вино? Ты с ума сошел?

— Вы меня обидели, но я не осуждаю, — сказал Парфенов ровным голосом (но даже и от ровных речевых движений рта голова пульсировала дикой болью). — Это ваша жизнь. Дело сделано. Никакой мести. Все глупо. Я хочу домой, понимаете?

— Ну и иди, я же сказал! Прется в чужую квартиру! Сейчас милицию вызову! Иди, иди! — Мужчина выплюнул сигарету в лицо Парфенова и захлопнул дверь.

Шлепнувшись о щеку Парфенова, сигарета кольнула огоньком, но эта боль была ничто по сравнению с головной болью.

Парфенов позвонил.

Дверь резко распахнулась, мужчина выскочил, схватил его за шиворот и поволок вниз.

Парфенов не кричал, не пытался сопротивляться: боялся, что голова от этого лопнет.

Мужчина доволоч его до самого низа, вытащил из подъезда, швырнул на землю.

— Как вы не понимаете? — тихо сказал Парфенов, лежа на земле. — У меня нет сил, чтобы вам мстить. И я не хочу. Вы взяли деньги — пусть это будет ваше счастье. Или несчастье. Но я хочу домой. Там жена, я хочу к ней. Там сын, понимаете? Вы понимаете это или нет? У сына жена дура. Они скоро родят мне внука. Вы понимаете, идиоты вы этакие?

Понимать было некому: мужчина с животом давно уже скрылся в подъезде.

Парфенов, всхлипывая от жалости к себе и этим глупым людям, поднялся и пошел наугад.

Через некоторое время он вышел на улицу, по которой двигались автомобили.

— Цивилизация, — сказал Парфенов и поднял руку.

Остановилась машина.

Усилие, которое требовалось сделать, казалось невероятно трудным. Но сделать его нужно. Парфенов согнулся и сказал в окно:

— На Мичурина, но расплачусь, когда приедем. Сто рублей дам.

— Кольцо — обручальное?

— Что? — не понял Парфенов.

— Кольцо на пальце — обручальное? Золотое?

— Да.

— В залог дашь, — сказал невидимый водитель. (Чтобы увидеть, надо нагнуться ниже, а это невозможно.)

— Согласен, — протянул Парфенов руку.

Человек крутил кольцо и рвал — и снял наконец.

— Спасибо, — сказал Парфенов.

— Не за что, — сказал невидимый человек, и — на газ, и — уехал.

Парфенов постоял, сокрушенно склонив голову и бормоча:

— Какие глупые люди... Что они делают с собой? Зачем?

И побрел пешком вдоль улицы. Руку уже не поднимал.

Но одна машина остановилась сама.

— Эй, мужик! Садись, подвезем! — окликнули его.

Парфенов, принимая как должное и горе, и радость (лишь бы не очень думать, чтобы не треснула голова), пошел к машине. Его взяли за руки.

— Спасибо, — сказал он.

— Пожалуйста, — ответили ему, и чей-то кулак прекратил ему жизнь.

Так показалось Парфенову. На самом деле его всего лишь ударили поддых, но он сразу же потерял сознание.

— Э, ну и хилый! — удивился мальчик в милицейской форме. — Пошарь-ка, — сказал он напарнику, — что у него там есть?

— Ничего.

— Совсем?

— Совсем.

— А костюм приличный, хоть и грязный.

— Везем в отделение?

— Ну его на хрен. Прошлый раз на депутата напоролся, шуму было...

— Все они сейчас депутаты.

— Дышит?

— Вовсю.

— Ложь его — и поехали.

И второй раз очнулся Парфенов.

Ничему не удивлялся он. Ничего не знал он и не помнил на этом свете, кроме боли в голове и в животе. И еще помнил, что есть улица Мичурина и что ему надо туда. Там — дом.

И он побрел, как раненный, держась руками за живот, пошатываясь.

Час ли прошел, два ли. Фонари зажглись.

И вдруг он вышел. Если б были силы, испытал бы счастье. А сейчас просто тупо понял: напротив почтамт. От него туда, по этой улице. Там — дом. Идти. Надо идти.

Он шел и дошел до здания цирка. Кругом былолюдно. Наверное, на него смотрели. От него шарахались. Смеялись. Глупые люди. Какое ему дело до их мыслей! Ему надо домой, вот и все. Только передохнуть.

Он свернул к скверу, что напротив цирка. Сел.

Вскоре рядом сели несколько.

Подростковые голоса.

Мальчики, ласково подумал Парфенов. Я почти уже дома.

— Да не бойся, не смотрит никто! — голос.

— Я не боюсь, а ты все равно встань вот так.

Руки лезут в карманы пиджака, брюк.

— Вот сволочь! Ни копейки нет.

— Алкаш!

— Пиджак снять?

— Он тебе нужен?

— А для хохмы. И штаны тоже. Вы прикройте, прикройте!

Тело Парфенова дергается — как марионетка в руках неумелого кукольника. С него снимают пиджак. Брюки. Остальное. Он голый. Но ему все равно. Лишь бы перестали дергать.

Перестали.

Вот и спасибо.

Можно идти.

И он опять пошел.

Он сохранил ум и даже хитрость!

Он не пошел по улице Чапаева, где больше людей и милиционеров. Он пошел по улице Рахова. Там людей меньше, хотя машин столько же. Но машины менее страшны. Пусть смотрят. Глупые люди. Главное — дом все ближе. С каждым шагом.

Он шел и шел, глядя в землю.

Поднял голову: дом. Его дом. Светятся окна.

Так быстро? Не прошло и часа, не прошло и дня, не прошло и вечности!

— Здравствуйте, Пал Пальч! — старушечий голос.

— Здравствуйте, — вежливо ответил он.

Его знают и уважают. Его любят.

Бесконечные ступени лестницы.

Всё. Дома.

Лицо женщины, которую он любит.

— Паша!!!

— Ничего. Поздравьте меня — я жив!

— Отец?!

— И ты дома? Это приятно. И твоя жена? Пусть уйдет, мне стыдно.

— Паша, что это?

— Это я. Мне ванну. И вина. Пожалуйста: Или умру.

Пахучая жидкость. Зубы стучат о стекло. Теплым огнем внутрь. Радуга по телу. Голова проходит, и это кажется невероятным.

Приходит ясность.

И он вдруг понимает, что голый, понимает по-настоящему.

Он понимает — всё.

И почему-то начинается сотрясаться крупной дрожью.

Его усаживают.

Дают чего-то горького. Лекарство?

Рука жены.

Он берет ее и припадает к ней губами.

Рука почему-то влажная и соленая.

### Глава тридцать девятая

#### *Лишняя сотня*

Змей плакал, а люди думали, как бы смыться — но чтоб другие не заметили. И замешкались поэтому.

И вдруг голос Лидии Ивановны, матери Серегиной (Сергея Углова, Змея то есть):

— Куда ж вы, гости дорогие? А выпить не хотите разве? И денежки отдайте, Сережа ж говорит: чужие, а он чужого сроду не брал. Сколько там, Серег? Ты слышишь?

— Двадцать... одна... тысяча... — заикаясь от горестного плача, вымолвил Змей.

— Вот двадцать одну тысячку и соберите обратно, вы ж люди или нет? — сказала Лидия Ивановна.

И все посмотрели на веранду, на стол, за которым стояла Лидия Ивановна. Уютно горела лампа над столом (разве вечер уже?). Новая закусочка разложена. А главное — Бог весть откуда — несколько бутылок водки появилось! Разве от этого уйдешь? Деньги деньгами, но о душе надо подумать или нет?

— Так и совесть пропить недолго! — рассудительно сказал Братман, выкладывая на стол 1200 долларов.

— Нет на нас человека с ружьем! — сказал Немизеров, выкладывая 1000.

— В русском жанре живем! — сказал Боровков, выкладывая 1600.

— Такой поворот! — сказал Дмитровский, выкладывая 800.

— Даже странно, — сказала Аня Сарафанова, выкладывая 3500.

— Алчность — второй язык кровопийства, — туманно сказала Вера Лавлова, выкладывая 1200.

— Б. жизнь! — сказала Надюша Сероедова, выкладывая 900.

— Эх! — сказал Эдик Бойков, выкладывая 200.

— Ух! — сказал Валера Володько, не выкладывая ничего.

— Ах! — сказал Игорь Букварев, выкладывая 2400, которые неизвестно откуда у него взялись.

— Ха! — сказал Горьков, выкладывая 5300.

— Хе! — сказал Петухов, выкладывая 600.

— Ху! — облегченно сказал Саша Филинов, выкладывая 1100.

— Хм! — иронически сказал Витя Шушаков, выкладывая 1300.

И больше никто ничего не выложил.

Ольга Дмитрук глянула и через пять секунд сказала: двадцать одна тысяча сто долларов.

— Ошибочка! — радостно закричал Сергей Углов, размазывая слезы по лицу. — Должно быть ровно — двадцать одна тысяча!

— Проверьте! — обиженно сказала Ольга.

Стали проверять, три раза пересчитали (начав при этом выпивать и закусывать). И все три раза оказывалось, что откуда-то появилась лишняя сотня. И тем более это было невероятно, что никто из присутствующих долларов сроду и в руках-то не держал!

— Ладно! На праздник! — скинул Змей лишнюю сотню, как скидывают некозырную карту.

Мигом побежали менять ее у продавщицы Лены Вложиной, всегда имеющей денежку в кубышке, по льготному для нее курсу. Вернулись с вином, водкой, закуской и с писателем Иваном Алексеевичем Свинцитским.

— Блин! — закричал Змей. — Кого мы видим! Выпей, душа!

— Я выпью, — не стал спорить Иван Алексеевич. — А ехать не пора ли?

## Глава сороковая,

### *объясняющая появление Писателя и его вопрос*

Иола надеялась, что у мужа обычный запой.

Вот, бормоча: «Сейчас, сейчас», — пошел на кухню, шарится там. И найдет: Иола предусмотрительно купила бутылку водки и поставила в холодильник.

Хлопнула дверца холодильника.

Слышатся звуки, значение которых Иола безошибочно понимает. Сейчас он выпьет и опять ляжет спать. Всегда так бывало. День-другой он выпивает бодро, с разговорами и движениями (вполне умеренными), потом начинает вянуть, вянуть — и спать. Выпьет — поспит, выпьет — поспит. Спит все больше, пьет все меньше. Так и отходит помаленьку.

И ни в какой Владивосток, конечно, не поедет. Мало ли куда он собирался уезжать. Даже за границу. Даже немецкий язык начал самостоятельно изучать, избрав страной дальнейшего жизненного пребывания почему-то Австрию, в которой никогда не бывал.

Он не знает, что Иола, старательно помогая ему в жизни и творчестве, через два года собирается расстаться с ним.

И это покажется слишком странно, если хотя бы вкратце не рассказать ее историю.

Когда погиб ее отец, Иоланта была тринадцатилетней красивой девочкой, отличницей, разумницей, утешением овдовевшей матери. Но мать, больничная санитарка, не могла оказать дочери ни интеллектуальной, ни моральной поддержки. Она надеялась на одно: что Иола удачно выйдет замуж за хорошего и обеспеченного юношу.

Иолу же другие проблемы заботили. С ней случилась банальная для поры юности, да и вообще для жизни история: в нее влюбились сразу два мальчика, а она не знала, кому отдать предпочтение. Вот ей уже четырнадцать, уже пятнадцать, вот она уже школу заканчивает, мальчики по-прежнему в нее влюблены (не считая других, влюбляющихся попеременно и временно), а она по-прежнему к обоим относится с большой симпатией, ни тому ни другому ничего не позволяя — в ту пору, когда другие девушки, гораздо менее красивые, приобретают на глазах опыт и поцелуев, и

объятий в подъездах, и — некоторые — первого голенастого бестолкового секса.

Шутки шутками, но какие тут шутки, если Иола покоя себе не находит, если она влюблена в обоих, не спит ночами и решает, как быть.

Но и того мало! — сменились соседи, и въехала семья с сыном-студентом, который в тот же вечер пришел знакомиться — и совершенно Иолу очаровал. И она через неделю нашла в своей душе, что влюблена в него. Сперва была радость: эта любовь поможет избавиться от предыдущих. А потом почти ужас — когда поняла, что и прежних двух продолжает любить.

Значит, размышляла Иола, выхода нет! Ведь на маминой шее сидеть не будешь, замуж надо выходить. Она выйдет за одного, любя и других. Что ж — изменять будет мужу? Она этого не хотела, будучи чрезвычайно чистоплотной. Но как же поступить, как? Ей снилось даже, что она в одно и то же время, но в разных местах является женой сразу трех человек, и, просыпаясь, Иола жалела, что в реальности такое невозможно. И причина этих странностей — не во влечении к нескольким мужчинам сразу, а в том появившемся в ней после смерти отца душевном несогласии с постулатом, что *жизнь дается один раз*. Она не хотела с этим смириться — и не могла смириться.

И она решила вот как: выйти замуж за одного из тех, кого любит. Родить ребенка ему или двух. Жить с ним честно и порядочно, не изменяя. Вырастить детей до совершеннолетия. Заботиться о своем здоровье, чтобы сохранить молодость. И — начать новую жизнь, оставив по возможности детей и мужа обеспеченными и благополучными.

Она выбрала не из тех трех, кого любила (и продолжала любить), а четвертого (которого полюбила тоже) — молодого преподавателя филологического факультета, на который она поступила, выпускника Литературного института Ивана Свинцитского. Отец у него генерал, один из высоких чинов областного военкомата, у Ивана и квартира своя, что по тем временам было страшной редкостью.

Родителям Ивана она понравилась, не могла не понравиться.

Сыграли свадьбу, стали жить. Через год Иола родила девочек-двойняшек.

Она сидит дома, растит их, Иван работает, генерал, души не чая в снохе и внучках, помогает, свекровь, ранее не работавшая, устроилась в медкомиссию при военкомате (по образованию она была врач), чтобы помощь молодой семье стала еще ощутимей.

Иоле и Ивану хорошо, они много разговаривают, они вместе читают книги, в том числе те, которые в советское время были запрещены, являясь оба не то чтобы яркими противниками существующего строя, но иронически презирая его, считая отдельные положительные явления (того ж отца-генерала, добрейшего человека) — исключениями.

Вдруг гром среди ясного неба: Иваном заинтересовался КГБ (чем Иван до сих пор очень гордится). На беседы вызывали, которые Иван, естественно, именовал допросами. На этих беседах он то ли от привычного иронического презрения, то ли от легкомысленности, но менее всего оттого, что чувствовал себя генеральским сынком, дерзил, говорил о своих мыслях чистую правду. И столько нагородил, что вполне можно было серьезное дело сшить с серьезными последствиями. Но прежде чем это делать, полковники и майоры из *серого дома* (так называли в Саратове здание КГБ) вежливейшим образом пригласили для доверительного разговора генерала Свинцитского (оно и понятно: почти у каждого полковника и майора имелись сыновья призывного возраста).

Генерал был в шоке. Он обещал серым полковникам и майорам убить отщепенца морально.

Но Иван на требование отца впредь не прикасаться ни к чему, что припахивает хотя бы слегка антисоветчиной, вдруг впервые в жизни ему надерзил, сказал, что мыслями своими будет распоряжаться сам и т. д. и т. п. — и даже относительно коммунизма как-то не очень вежливо выразился.

И генерал проклял сына.

То была просто дурь, ей-богу: отец любил сына, а сын — отца.

И дурь была не столько в проклятии отца, а в том, что сыну возжелалось это проклятие принять всерьез.

Он отказался от помощи и впопыхах запретил генералу видеть внучек.

Того чуть инфаркт не хватил, но он выправился и заявил рыдающей своей жене, матери Ивана:

— Нет у нас сына!

А тут ему бывшие товарищи по армии, возвысившиеся в чинах донельзя, предложили работу в Министерстве обороны, и он согласился.

И отношения отца с сыном прекратились навсегда. А семь лет назад Иван ездил хоронить его.

Дела же в их семье пошли тяжело: Ивана убрали с преподавательского места, полтора года он вообще приличной работы отыскать не мог, ходил разгружать вагоны на товарную станцию Саратов-II. И чуть было не впал в отчаянье, но Иола поддерживала его, как могла, сама устроилась работать, хлопотала с утра до вечера, чтобы в доме были уют, чистота и порядок: она не могла допустить поломки и сбоя в *этой* жизни, ибо тогда она могла стать единственной и последней.

И потихоньку все выправилось, наладилось. И вот уже два года осталось до совершеннолетия дочерей, два года до начала новой жизни. Иола готова: она выглядит на тридцать с небольшим, в нее всегда кто-то влюблен, причем все чаще эти влюбленные моложе ее. Так оно и быть должно: в своих планах она видит себя замужем за человеком чуть помоложе себя, которому она родит сына или дочь, а может, и опять двоих, — и все начнется заново! За кого именно выйти — не проблема: Иола такова по натуре, что всю жизнь влюблялась в кого-нибудь (любя по-своему и мужа тоже). Иногда обстоятельства складывались так, что если уж не роман серьезный, то интрижка на две-три недели могла осуществиться легко, с соблюдением тайны и с возможностью попробовать толику второй жизни уже сейчас, но Иола отказывала себе в этом, хотя нетерпение подчас было очень велико и природный темперамент просто в ключья душу раздирал.

И вот получилось так, что ей, кажется, только радоваться надо: муж сам по себе собирается исчезнуть раньше срока.

Но в том-то и дело, что — раньше! Ему, по планам Иолы, еще предстоит дочерей пристроить учиться: у него есть для этого необходимые связи. Потом она намечала пристроить и его самого, у Иолы давно на примете молодая женщина из почитательниц таланта Свинцитского (как ни странно, но такие есть!), которая сама стихи пишет и, уважая мнение мэтра, показывает их ему; женщина побывала замужем, но без детей, чисто-плотна, порядочна, ей бы и хотела Иола сдать на руки Ивана Алексеевича с тем, чтобы и у него началась вторая жизнь (она ведь, предвкушая новое счастье, и другому желает того же!). И тут здравствуйте пожалуйста: какие-то шальные деньги, какой-то Владивосток!

Свинцитский вошел в комнату, Иола с удовлетворением увидела, что он, говоря по-народному, *поправился*. Впрочем, мог бы и попьянее быть.

— Я дождусь объяснений? — мягко спросила она.

— Какие объяснения, Иола, девочка моя? Зачем они? Это смешно, но я нашел деньги. Хочешь верь, хочешь нет.

— Верю. А почему все-таки Владивосток?

— Мне надо все бросить. Хотя бы на время, — заблажил опять Свинцитский.

— Как Гоген или Ван Гог?

— Ты не смейся. Это серьезно. Я счастлив с тобой и с девочками, но... Но так нельзя. В то время как люди гибнут со всех сторон... Ты ведь понимаешь?

— Они гибнут везде. И тут тоже. Почему Владивосток?

— Не важно! Я сдерживал в себе силы саморазрушения и этим погубил свой талант. Мне надо разрушить себя, чтобы заново построить. Я пытался это сделать... как бы тебе сказать... амбулаторно! — хихикнул вдруг Свинцитский. — С помощью водки и... Я ведь изменял тебе четыре раза. Нет, пять. Или четыре?..

— Четыре с половиной, на пятый у тебя не вышло, — подсказала Иола.

— Ты знаешь? — удивился Свинцитский.

— Конечно.

— Тебе кто-то что-то говорил?

— Ты сам говорил. Ты проговариваешься в том, что пишешь. Я всегда точно вижу, где ты выдумываешь, а где описываешь собственный опыт.

— Серьезно? А как же ты...

— Вот так...

— Ты святой человек. Я не могу! Я должен уйти. Я теперь просто обязан уйти, уехать! — переключилось в голове Свинцитского. — Вот в чем дело! — говорил он с видом озарения. — А я-то думаю: почему ж меня так тянет уехать, сбежать? А это, оказывается, чутье мое сработало! Оно, чутье мое, чуяло, что ты меня презираешь, а я не хочу жить с человеком, который меня презирает!

— Ты старомоден, Иван, — сказала Иола. — Ну, изменял, но любишь-то меня?

— Да, — сказал Свинцитский, потому что думал так. — Но, в таком случае, это еще более гнусно: любить и изменять!

— Ты делал это для познания жизни. Ты писатель, как ты можешь описать измену, если не знаешь, что это такое? Ты делал это в профессиональных целях, — терпеливо подсказывала ему Иола.

— Верно! — поразился Свинцитский. — Как хорошо ты меня знаешь! Но, следовательно, надо идти дальше! Надо не только тебе, но и себе изменить! — нашел он новую мысль. — В самом деле! Если честно, Иолочка, мне страшно не хочется уезжать. Но — необходимо. Как ты выражаешься, профессионально необходимо!

И Свинцитский энергично стал собирать вещи.

Иола перепугалась. Она вела разговор легко: она до последнего не верила в серьезность намерений мужа. И вот он, посмотрите-ка, вещи укладывает! Всю жизнь, подталкивая его незаметно и направляя, она знала при этом, что стоит однажды Ивану Алексеевичу сделать, пусть случайно, полностью самостоятельный шаг, пусть в совсем неверную сторону, — и он заупрямится и с выбранного пути не сойдет. Она надеялась, что этого не случится, пока она рядом.

Случилось.

Да, пьян и не в себе. Но ведь соберется, сядет на поезд, поедет, проспит в вагоне пьяную ночь, утром будет мучиться и страстно желать вернуться — и не вернется, вот в чем загвоздка!

— Паспорт? Здесь. Билеты? Здесь! Белье собрано, рукописи, книги. Самое необходимое, — комментировал свои действия Свинцитский.

Он собрал большую дорожную сумку и стоял над ней, соображая, все ли взял. Паспорт и билет пока отложил на стол. Вышел в кухню.

Добавить, догадалась Иола. Взяла билеты — словно никак не решаясь поверить в их реальность. И что-то такое в них увидела, от чего глаза ее удивленно расширились. Ладно. Пусть едет. Посмотрим!

Положила билеты на место.

И вот Свинцитский стоит перед ней с сумкой через плечо, и она понимает: ни уговоры, ни слезы, ни крики, ни припадок (если изобразить) — ничто не поможет. Да и не нужно. Она знает то, чего не знает он. Пусть идет. Лишь бы с ним ничего не случилось сегодня.

— Дочки дома? — мужественно, крепясь, спросил Свинцитский.

— Гуляют.

— Поцелуй их за меня. Я буду писать, звонить... Я...

Он сглотнул, повернулся — и вышел.

## Глава сорок первая

### *Парфенов. Еще прощание*

Сын Павел, увидя, что отец жив-здоров и почти пришел в норму (приняв горячий душ и выпив еще вина, он перестал трястись), засобиравшись с женой Ириной домой. Он понимал, что отговорить отца от дурацкой поездки не сможет. Да и не знает он, как с ним теперь вести себя — таким неузнаваемым, странным.

Ольга не удерживала сына, она видела, что в этой ситуации Павел помочь не сумеет — наоборот, он может послужить вместе с женой лишней и вдохновляющей публикой в том спектакле, который разыгрывает Парфенов, хотя, похоже, никакой это не спектакль.

Они остались вдвоем.

Парфенов начал собираться.

— До поезда еще есть время, — сказала Ольга.

— Мне тут еще зайти надо...

Ольга думала.

Что сказать ему?

Сказать чистую правду: что она безумно любит его? Вот именно — безумно: ум потеряв от любви и став заурядною, вечно ироничной и злоехидной стервой для того, чтобы он поскорее ее окончательно разлюбил, потому что она слишком его любит и не может терпеть муку от его нелюбви к себе, но и сама прогнать его не в силах. Но эта чистая правда пойдет ему только на руку. Да и не поверит он.

(Да и, замечу, читатель тоже не поверит в такую сложносочиненную психологию — и правильно сделает, ибо бедная женщина эта, иногда почти ненавидящая мужа за нелюбовь к себе, была злоехидной стервой не нарочно, а от всей души, но, чтобы себя самое не презирать окончательно, она придумала теорию о нарочитой стервозности и злоехидности.)

Нет, не надо этого говорить.

То есть сказать, что любит, — и все. Без подробностей. Он ведь добрый человек. Он услышит. И, возможно, она ошибается, возможно, он не так уж и не любит ее, как она вообразила. Ну, завел любовницу, с кем не бывает.

Но он поймет, что она рассчитывает на его доброту, на его жалость, он и так сетовал, говоря о службе, что на нем, используя его мягкость, только ленивый воду не возит. Он будет сопротивляться своей доброте. Не надо ему говорить о любви.

— Я люблю тебя, Паша, — сказала она.

Он застыл, согнувшись над чемоданом, большим чемоданом на колесиках, который купил три года назад в Германии (ездил в свите губернатора).

— Оля... — сказал он.

— Да?

— Я заранее скучаю. Я не хочу ехать. Но я должен. Я слишком часто бросал на ветер слова. Надо ехать. Я обещал себе — и еще двоим. Они меня ждут. Я не могу их обмануть. Я отвечаю за них.

Он любит меня, подумала Ольга. Но, в таком случае, неужели какие-то посторонние люди ему дороже меня? Ах, какой глупый бабский вопрос! Нельзя задавать его!

— Неужели какие-то посторонние люди тебе дороже меня? — спросила она.

— Ты мне дороже всех, — ответил Парфенов, наслаждаясь чувством любви к жене и тем, что от этого прощание становится терпким, печальным и страшно человеческим. — Но есть понятие долга, понимаешь?

Никакое это не понятие долга, а просто упрямство, подумала Ольга.

Вот этого-то уж ни в коем случае нельзя говорить, это сразу все испортит — бесповоротно!

— Никакое это не понятие долга, а просто упрямство! — сказала Ольга.

— Вот как? Значит, ты меня считаешь всего-навсего упрямым?

— Именно так, б., е. т. м., к. б.! — иронически сказала Ольга, с ужасом слушая себя.

— Ты в своем репертуаре! — одобрил он, энергично набивая чемодан вещами.

— Я пою песни, которые ты хочешь услышать! Я сомневаюсь, что тебе требуется от меня райское пение!

— Удивительно верно! Тем более, что райского пения я никогда от тебя не слышал.

— Я ненавижу тебя.

— Взаимно.

— Если ты уедешь, ты никогда не вернешься! Я на порог тебя не пушу.

— Размечталась! Чтобы я вернулся в этот... в эту...

— Пока ты ищешь слово, твой поезд уйдет.

— Не беспокойся! Мой поезд не уйдет без меня — никогда! В отличие от твоего! Который давно ушел! Вобла!

— Блудливый козел! Забери свои деньги! Забери, иначе я порву их!

Она схватила деньги, которые он дал ей накануне, и впихнула ему в чемодан. Защелкнула замки, застегнула пряжки, подкатила к двери.

— Проваливай! Я больше не могу дышать с тобой одним воздухом, с. п. р. о., в. л. б.!

— Т. ш., д. с., в. г. я. т. в.!

— Ч. т. п. в. в. с.!

— Л. э., ч. г. в. т.!

— М.!

— П. о. ч.!

— У.!

— С восторгом!

## Глава сорок вторая

*Отвальная. Серебристый «мерседес». «Вот они, мои денежки!»*

Парфенов появился на веранде Змея через минуту после Свинцитского. Друзья обнялись, словно не виделись год.

— Билеты, деньги — с собой? — деловито спросил Парфенов.

— Все готово, шеф! — рапортовал Змей. — Не спеши, до поезда еще доплати времени. Давай отвальную выпьем.

И все налили, и все встали, чтобы выпить отвальную. На лицах Змея, Парфена и Писателя уже был туманный отсвет далеких дорог. Все завидовали им и любовались ими, считая их как бы своими полномочными представителями в чуждальной жизни — и в будущем вообще.

И уже Змей хотел произнести речь, но тут Парфен вдруг обратил внимание на кучу денег, которая так и лежала на столе неприбранная.

— Чего это они валяются?

Змей не успел ответить.

Беззвучно, как видение, долго и длинно в двор вползало что-то серебристое.

Оно оказалось машиной.

Оно оказалось серебристым «мерседесом» — нелепым, красивым, громоздким, ужасным в этом деревянном сарайчатом дворе, как меч Армагеддона.

И, как ангел сатаны, отделился от машины человек в сером (с серебряными нитями) костюме.

Медленно, будто инопланетянин, привыкающий к чужому тяжкому притяжению чужой планеты, он поднялся по лестнице.

Он подошел к столу, взял горсть долларовых бумажек, бросил обратно, отряхнул руки и сказал печально:

— Вот они, мои денежки!

### Глава сорок третья

#### *Братья-разбойники*

Жила женщина Галина.

Был у нее сначала муж Чикулаев, и она родила ему сына Леонида.

Потом был у нее муж Кильдымбаев, и она тоже родила ему сына.

— Хочу, чтобы он был Леонид, — сказал Кильдымбаев. — Всю жизнь мечтал, чтобы сына Леонид звали.

— Есть уже один Леонид, — сказала Галина. — Нельзя братьев одинаково называть.

— Тот Чикулаев, а этот будет Кильдымбаев, — сказал Кильдымбаев. — Можно. Или я от тебя уйду.

— Ладно, — сказала Галина.

И назвали второго сына тоже Леонидом, но Кильдымбаев все равно ушел.

И Галина решила больше не выходить замуж.

Путаницы не возникло: один, действительно, записан в школе и прочих местах Чикулаевым, другой — Кильдымбаевым, а то, что они братья, некоторые не знали, а другие думали: сводные.

Братья любили маму и друг друга. Они даже в школе, учась в разных классах, все перемены проводили вместе. Дети-школьники чувствовали в этом что-то ненормальное. Они дали братьям общую кличку Чильдым-Кильдым и настроились бить их и разъединять.

Братья вставали спина к спине и дрались до крови.

И от них отступились.

Они росли спокойными добрыми мальчиками, учились довольно средне из-за какой-то постоянной душевной рассеянности, учителя считали их туповатыми и ленивыми.

Все свободное время они помогали матери по дому, читали приключенческие книги, а летом строили в пригородном лесу (жили на окраине) на деревьях шалаш, играли друг с другом в индейцев и следопытов. Когда Кильдым упал с дерева и вывихнул обе ноги, Чильдым на руках донес его до больницы (примерно 5 км).

Они жили друг другом — словно чувствовали, что ждет их в дальнейшем.

И вот Чильдым учился в последнем классе, а Кильдым в предпоследнем.

У Чильдыма появилась девушка Нелли, не из школы, а из техникума, старше его, с красивым овальным лицом, обрамленным темными гладки-

ми волосами. Она приходила к нему, когда мать была на работе, а Кильдым — в волейбольной секции (он очень хорошо играл в волейбол, он выступал за районную школьную сборную команду, и Чильдым тоже — пока не появилась Нелли).

Однажды Кильдым почему-то не пошел на тренировку, а Чильдым задержался в школе, а Нелли уже пришла.

— Какие вы разные, — сказала она. — Чильдым светлый и голубоглазый, а ты русый и кареглазый. Совсем не похожи, хоть братья. Но оба красивые. Губы у тебя даже красивее.

И стала целовать Кильдыма в губы.

И Кильдым не оттолкнул ее, а тоже стал целовать ее своими губами, которые она целовала.

Когда пришел Чильдым, они не успели одеться.

Кильдым сказал Нелли:

— Уходи, и чтобы я тебя больше не видел.

Она ушла. Чильдым ударил Кильдыма.

Кильдым ответил.

Они дрались так, как когда-то с другими, защищая друг друга. До крови и боли.

Молча.

С этого дня они практически перестали разговаривать друг с другом.

С этого дня началось их постоянное и напряженное соперничество.

Мать считала, что для Чильдыма и техникум великое благо, но тот подготовился и поступил на автодорожный факультет Политехнического института.

Через год то же самое сделал и Кильдым.

Чильдым, едва закончив институт, организовал, пользуясь поблжками перемен, кооператив по строительству гаражей.

Кильдым стал молодым начальником одного солидного ДРСУ (дорожно-ремонтное строительное управление).

Чильдым женился на блондинке, у которой ноги были 95 см.

Кильдым даже на свадьбе не был. Потому что сам готовился к свадьбе — и женился вскоре на блондинке, у которой ноги были 98 см.

Чильдым построил себе дом в два этажа, с гаражом, и Кильдым построил себе дом в два этажа, но с солярием и двумя гаражами.

Однако не рассчитал Чильдым, или подставил его кто: он сел в тюрьму на два года.

Кильдым допустил нарочитые служебные злоупотребления — и его тоже осудили на два года.

Обоих выпустили досрочно, через год.

Чильдым в тюрьме кулаками и разговорами завоевал авторитет и вышел готовым бандитом. Кооператив себе оставил, но начал заниматься делами более крупными, просто и честно говоря: разбоем. Но бескровным, потому что не любил, чтобы мучили людей. Если кто нарушал закон, он его наказывал собственноручными руками вплоть до расстрела.

Кильдым организовал дело еще более крупное, его специализацией было горючее всех видов, затем он освоил нелегальное производство спирта, а потом уже осуществлял только общее руководство: слишком многопрофильной стала деятельность подведомственных ему подразделений.

Если Чильдым заводил любовницу, Кильдым заводил двух.

Если Чильдым проигрывал в казино тысячу долларов, Кильдым проигрывал две.

Если Чильдым летал с женой отдыхать в Южную Африку, Кильдым летал в Австралию.

И настал день, когда они поняли, что так дольше продолжаться не может.

Они назначили друг другу встречу.

— Ну, сойдутся твои и мои, — сказал Чильдым. — Что это даст?

— Море крови, — согласился Кильдым.

— Поэтому уезжай, — сказал Чильдым.

— Сам уезжай, — ответил Кильдым.

Чильдым побледнел. Он достал револьвер и сказал:

— Тогда играем в русскую рулетку. Вот пистолет и пустой барабан. Кладем один патрон и стреляем по очереди, пока кто-то себе башку не разбомбит.

— Согласен, — сказал Кильдым.

Они стали крутить барабан, прикладывая пистолет к виску и нажимать на спусковой крючок — по очереди.

Очередь переходила тридцать шесть раз. И ни разу патрон не встал против дула. Такое может быть. Теория вероятности допускает. Но арбитр, присутствовавший при этом и от страха пивший виски из горлышка, неудачно пошутил:

— Может, там патрона-то и нет?

— Может быть, — сказал Чильдым и, направив для шутки в его сторону револьвер, щелкнул. Раздался выстрел, арбитр упал.

— Тогда так, — сказал Чильдыму Кильдым. — Через год этот город будет мой.

— Через год этот город будет мой, — ответил Кильдым.

Многие саратовцы помнят, какие лихие перестрелки возникли в одно время, какие взрывы звучали, какие темные слухи носились по городу. Мафия воюет! — говорили они, не зная, что воюют не на жизнь, а на смерть — два брата.

Вдруг — все стихло.

То есть не все, но после канонады разрозненная стрельба кажется тишиной.

Чильдым недоумевал. Он забирал все больше власти, сфера его влияния становилась все шире, но он не чувствовал препятствий и сопротивления!

Он стал узнавать стороной, не заболел ли брат, не случилось ли чего с ним.

Выяснилось: не заболел, но случилось.

Кильдым влюбился. Бросив молодую блондинку-жену и дом с двумя гаражами и солярием, он ушел в обыкновенную квартиру к женщине с ребенком, да еще старше себя на семь лет.

Конечно, в нищету он не впал, квартиру купил другую, получше, но почти все дела свернул, оставив себе три самых надежных и процветающих предприятия.

Чильдым же продолжал наращивать мощь, построил еще один дом, завел еще одну жену-блондинку, гражданскую (ноги 1 м 07 см!).

Но у него как-то все стало скрипеть и разваливаться. То там дыра, то там прореха. Все больше запутывались дела Чильдыма, а он вместо того, чтобы принимать меры, купил велосипед и целыми днями ездил в странной задумчивости по лесным тропкам Кумысной поляны (лесного массива, подступающего холмом к Саратову с западной стороны).

Через несколько месяцев окончательно завалились его дела.

Подневольная братва и та стала сперва робко, а потом все громче роптать. Собрался *сходняк*, на который тайно пригласили психиатра, потому что подозревали, что у Чильдыма *крыша поехала*. Много претензий высказывали, все более распаяясь.

Чильдым задумчиво слушал и вдруг, прервав речи, встал и уехал в казино. Он велел привезти туда для вдохновения Алису Каптеву, красивейшую из независимых девушек Саратова. Она приехала. Он признался ей в любви и начал играть.

Через двое суток он проиграл все, что имел, и начал играть в долг. Набрал тридцать тысяч долларов, и тут Алисе велели сказать Чильдыму, что она любит его, и увести его.

Она сказала ему, что любит его.

— Иди ты, — сказал Чильдым.

Она заплакала.

Он посмотрел на ее слезы, встал из-за стола, пошатнулся:

— Ладно... Все.

(Те, кто уберет его от дальнейшей игры, не того боялись, что он вдруг выигрывать начнет, а того, что проиграет больше, чем сумеет отдать. И от отчаянья что-нибудь с собой сделает, пропали тогда денежки!)

Движимость и недвижимость, включая обеих блондинок и даже велосипед, перешли в другие руки за считанные часы.

Чильдыму на бедность дали двухкомнатную квартиру (но в хорошем новом доме, и даже с телефоном), девушку-блондинку из второсортных (ноги 75 см) и назначили срок: через месяц отдать тридцать тысяч. Если не отдаст, включится счетчик: процент в день.

Тут-то и объявился Кильдым. Он позвонил брату и попросил о встрече.

— Ладно, — равнодушно сказал брат.

— Где?

— Я в доме живу теперь новом, на углу Мичурина и Рахова, там еще магазин «Три медведя».

— Тогда у магазина? — предложил Кильдым.

— Ладно, — сказал Чильдым.

Они встретились.

Чильдым вышел из дома, а Кильдым подъехал на машине жены, скромном, но изящном «фольксвагене».

— Ну? — спросил Чильдым.

— У тебя день рождения завтра, — сказал Кильдым.

— А, — вспомнил Чильдым.

— Тут вот подарок, — сказал Кильдым, смущаясь. — Кошелечек на заказ, а там денежки. Тридцать три тысячи зелеными и три триста нашими. Тебе же тридцать три года будет. И долг отдашь, и... Ну, ясно, в общем...

— Ясно, — сказал Чильдым. — Иуде тоже тридцать три давали.

— Вот дурак! — огорчился Кильдым. — Я без намека.

— Мне плевать, — сказал Чильдым. — Ты всю мою жизнь исковеркал. Я знать тебя не хочу.

— Прости, — сказал Кильдым.

— Не прощу. Ненавижу. Хотел деньгами своими окончательно унижить меня?

— Опять дурак, извини, пожалуйста! Делать мне, что ли, больше нечего? Бери, брат, а то мне пора за сыном ехать, он на дачу просился.

— Сын-то не твой.

— Зато хороший.

— И жена хорошая?

— Да.

— Любишь?

— Да.

— Старая ведь.

— С ума сошел. Разве это возраст?

— Ну, счастья тебе и дальше, — пожелал Чильдым. — А я обойдусь. Квартиру продам, я теперь и в коммуналке проживу. И люди добрые есть, дают займы бессрочно. Обойдусь.

— Чудак! Я же не в долг, я тебе просто так даю! Они лишние у меня, они мне просто не нужны!

— Не нужны — выбрось! — сказал Чильдым.

Желваки заиграли на скулах Кильдыма. Он понимал, что брат не подначивает его, а сказал это просто так. Но прежний Кильдым проснулся в нем. И он бросил бумажник в сторону. На землю.

И сел в машину.

И уехал.

Кильдым, не глянув, куда упали деньги, вернулся домой.

Кильдым мчался по улицам, но уже через несколько кварталов остыл, притормозил.

Нет, подумал он. Это глупость. Я эти деньги ему другим способом всучу.

И помчался назад.

Все это заняло не более десяти минут.

Бумажника с деньгами не было.

Кильдым, конечно, и мысли допустить не мог, что брат взял их, поэтому он простился с ними как навсегда пропавшими. Он свозил сына на дачу, вернулся, пообедал — и подумал, что все-таки не стоит так разбрасываться. Он вспомнил, что эти деньги, в отличие от многих прежних, заработаны относительно честно, и ему стало по-человечески жалко их. Вызвав своих людей, он дал задачу: найти. С шальных денег люди шалеют, поэтому надо искать по шальным местам: шалманам, ресторанам, притонам, милицейским отделениям.

Подручные старались, вечером один из них привез благоую весть: в одном из дворов на улице Мичурина пир идет и весь стол долларами завален.

Так Кильдым и оказался во дворе дома Змея, въехав туда на серебристом «мерседесе».

#### Глава сорок четвертая

*и, как ни странно, последняя, хотя автор был уверен, что глав будет семьдесят семь, а события будут разворачиваться еще довольно долго; он уверен был, что герои, выпив отвальную, уедут на вокзал; правда, там выяснится, что Парфенов, несмотря на свою практичность, напутал: астраханский поезд идет по четным числам, а наступило уже девятое, то есть нечетное, но тяга в дорогу столь велика, что они, увидев приоткрытую дверь медленно движущегося тьварного поезда, на ходу запрыгнут туда, поезд же этот, поманеврировав, двинется не на Москву, а в противоположном направлении — на Андижан, это друзья выяснят только наутро у железнодорожника на полустанке, где они застрянут надолго; они сойдут, чтобы переменить направление, но на полустанке останавливается один поезд в трое суток, а выпить, естественно, хочется, а запасы кончились, а при полустанке ничего нет, но есть рядом село, куда снаряжаются оказавшегося более бодрым Писателя, тот идет, находит водку, решает отправить телеграмму домой, на почте видит девушку совершенно невероятной красоты и проводит с нею в разговорах до конца ее рабочего дня, а потом до вечера — тринадцать часов подряд, в результате девушка невероятной красоты невероятным образом влюбляется в него, Писатель идет к ее родителям свататься, они сперва ошарашены, а потом согласны, но спит Писатель один на сеновале (девушка приходила, но он удержался, сумел, брезгуя сам собою, пьяным), а наутро появляются Змей и Парфен, злые донельзя, хоть и подлечившиеся спиртом-ректификатом, который добыл для них, сгоняв куда-то на дрезине, сердобольный хозяин полустанка; они уводят Писателя, грозя разоблачением, девушка плачет, друзья же у здания сельского правления видят машину «УАЗ», которая кажется Парфену джипом, а сам он себе — рейнджером; с кличем «йо-хо-хо!» он садится за руль, видит торчащие в замке зажигания простодушным деревенским обычаем ключи, заводит машину, Змей и Писатель впрыгивают, и они мчатся по бескрайней степи, испытывая необыкновенный восторг и сожалея лишь о том, что нет за ними погони; но тут появляется и погоня в лице настоящего джипа — «лендровера», в котором оказываются лихие люди с большой дороги, заметившие мчащийся по пустой степи странный «уазик» и решившие проверить, кто это пытается стороной объехать их; Парфен*

мчится, «йо-хо-хо!» — и вдруг стрельба, прицельная стрельба по колесам, «уазик» чуть не переворачивается, останавливается, лихие люди с автоматами приказывают друзьям выйти, что Парфен и Змей исполняют, а Писатель не может: он слишком много выпил, его укачало, он бесцельно спит; обнаружив портфель с кучей долларов, лихие люди (двое) с криками «йо-хо-хо!» обыскивают машину, выбросив в пыль Писателя; ничего не найдя, вместо того чтобы удовлетвориться уже имеющимися долларами, они начинают пытаться Змея и Парфена, издеваться над ними, дознаваясь, где у них еще доллары; Писатель, очнувшись, из-под колес видит это, ему страшно, он прикидывается, что продолжает спать, но тут же становится стыдно; увидев момент, он достает монтировку, крадется — и ударяет сзади по голове одного из бандитов, второго же, растерявшегося от неожиданности, сбивает с ног Парфен, они связывают его, первый же оказывается убитым! — и это повергает в шок и Писателя, и Змея, и Парфена, но, в результате долгих философских и юридических прений на тему необходимой обороны, а главное, в результате освежения себя водкой, они приходят к осознанию того, что происшедшее произошло — и баста, к тому же Парфен убеждает Писателя, что теперь, совершив настоящее преступление, он стал окончательным гением, и они едут дальше на бандитском «лендровере», чурясь больших дорог, появляясь лишь в тех местах, где можно заправиться (в том числе и спиртным, потому что более всего они боятся протрезветь), из степной зоны они попадают в лесостепную, а потом и вовсе в лес, в болото, едут наугад, увязая, едут ночью, а наутро оказываются на сухом месте, засыпают — и просыпаются, окруженные странными людьми в посконных одеждах; эти люди не говорят по-русски, а на языке, который Парфен и Писатель не могут отнести ни к одной из известных им групп, они живут в бревенчатых домах, они уверены, что с их острова нет дороги, потому что никому еще не удавалось преодолеть окружающую топь, почему-то теплую и не замерзающую даже зимой, или загатить ее (да они уже и не стремятся к этому), самые старые из них смутно помнят о прежней жизни и о событиях, которые привели их сюда, но это воспринимается их сородичами как полусказочные предания, они живут натуральным хозяйством: охотой на птиц, ловлей лягушек и собирательством; друзья, чумя от ситуации, спасают себя водкой, угощают ею и племя, и тут, за вечерним костром, у стариков просыпается память, развязываются языки, они повествуют о том, как их предки однажды, в голодные годы, сварили травяной суп из белены, чтобы всем погибнуть, но не погибли, а оказались каким-то образом вот здесь, где и остались; друзья при этом их рассказ прекрасно понимают, они выражают желание остаться здесь, но старейшины почему-то отказывают и добром просят удалиться, считая, что на огромной этой машине это возможно; и на самом деле, опять ночью и опять пьяные, увязая, но вылезая, утопая, но не утонув, они нечувствительно преодолевают непреодолимую трясину, выезжают из леса к населенным местам, и тут на след их нападают опять бандиты, друзья тех, с которыми они расправились, опять начинается погоня, но на этот раз Парфену удается оторваться; правда, тут же после этого машина соскальзывает с грязной обочины в кювет; в ушибах и царапинах, оборванные и грязные, голодные и похмельные друзья бредут пешком, вот тут-то и настигают их бандиты, отнимают деньги, привязывают к трем придорожным осинкам и готовятся расстрелять (на виду у проезжающих, чтоб другим неповадно было), завязывают им милосердно глаза, и Писатель, Парфен и Змей, готовясь к смерти, успевают каждый за минуту мысленно вообразить себе свою жизнь, какой она была, потом такой, какой она могла быть, если б с самого начала складывалась иначе, потом говорят мысленно прощальные слова своим родным и близким — и вот выстрелы, но тут же взывы милицмейских сирен, друзья понимают, что пули предназначены не им, их освобождают, выясняют личности, сажают в «воронок» (деньги при этом, естественно, исчезают), привозят в родимый Саратов и... и это был

*только первый вариант, от которого я отказался из-за явной его вымученности, на самом же деле все развивалось по логике жизни: обнаружив свою ошибку, вернее, ошибку Парфена относительно расписания, друзья испытывают большое облегчение, они возвращаются в свои дома и свои семьи и, проспавшись, начинают новую жизнь;*

*Парфен*

*бросает службу и открывает с помощью жены свое дело — агентство «Интеринформ», которое предоставляет услуги переводчиков многочисленным понаехавшим в Саратов иностранцам, а также местным жителям, нуждающимся в том, чтобы написать письмо за рубеж или понять письмо, пришедшее оттуда; агентство, кроме этого, организовало курсы ускоренного изучения английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и казахского языков, оно торгует по сходной цене информацией о рабочих вакансиях за рубежом, а иностранцам дает платные консультации, где можно выгодно разместить валютные инвестиции — и т. д. и т. п., агентство процветает, там работают и сын Парфена, и жена сына, обожающая свекра, семья стала необыкновенно дружной, правда, Парфен иногда навещает-таки незабвенную свою Милу (которую врачи откачали от жестокого отравления), жена Ольга догадывается об этом, но прощает, сообразив вдруг, что есть на свете мужчины, которые умеют горячо и хорошо любить одновременно двух женщин, следовательно, надо не огорчаться, а радоваться;*

*Писатель же*

*и впрямь выпускает трехтомник своих тайных произведений, пусть небольшим тиражом, в бумажной обложке, но они становятся явными, о них начинают повсеместно говорить, в 199...-м году он получает за один из романов престижнейшую Букеровскую премию, за короткий срок он сумел побывать в США, в Германии (трижды), в Австрии (в давно лелеемой воображением вольно-вальсовой, вальняжной и уютной Вене) и в городе, который поразил его похожестью духом своим (в лучших проявлениях) на Саратов, — в Санкт-Петербурге; жена Иола вдруг поняла, что и в рамках одной жизни можно начать вторую жизнь, она вторично (что бывает не так редко, как кажется) влюбляется в своего мужа, не за славу и почести его, а за тот блеск в глазах, который появляется у всякого по-хорошему счастливого человека и неотразимо действует на женщин, дочери же Писателя в свободное от учебы время отвечают на многочисленные читательские письма;*

*а Змей,*

*вылечившись, бросив пить, отыскал свою бывшую жену и поразился ее сохранившейся любви, а также тому, что дочь не забыла его! — и он поселяется с ними; восстановив посредством обменов и доплат родительскую квартиру и своими руками сделав ремонт, он работает дворником — не для денег, а для здоровья — на свежем воздухе, остальное же время понемногу, чтобы не перенапрягать ослабленные предыдущим алкоголем мозги, пишет большой философский труд, не пользуясь при этом никакими первоисточниками, кроме газеты «Известия» и телепрограммы «Время», да и то не для черпанья цитат, а для возбуждения энергии неприятия ошибочной злободневности; деньги он вложил в агентство Парфена, и тот ежемесячно выплачивает ему достаточные для жизни дивиденды; и раз в месяц, предпологал я, друзья собирались бы с семьями на веранде у Змея, где он устроил зимний сад, и вспоминали бы о том, как совсем недавно... — но! —*

*но, как видите, с появлением какого-то постороннего для сюжета Кильдыма сюжет этот кончился; он кончился раньше, чем планировалось; так нежданно и неожиданно кончается многое, включая, извините, саму жизнь...*

— Вот они, мои денежки, — сказал Кильдым.

— Мы их нашли, — сказал Змей. — Бери, если твои. Только мы растратили.

— Сколько?

— Много. Двадцать одна тысяча осталась.

— Нет, вот еще! — Парфенов достал из чемодана деньги.

— И вот! — тут же принесла деньги Лидия Ивановна, обрадовавшись, что избавится от этих дьявольских бумажек.

— И еще! — побежал и принес Писатель, захватив с собой заодно Иолу.

— Почти все, — сказал Кильдым и оглядел незнакомых собравшихся людей.

Они видели друг друга как чудо, потому что были из разных миров, проживая на одной земле.

И Кильдым захотел породниться с ними — или вспомнить о родстве.

Он поднял полный стакан и попросил всех тоже налить до краев.

Налили, подняли.

Долго молчал Кильдым, подбирая слова (а он был довольно красноречив). Но вырвалось странное, как выдох вынырнувшего из неизвестных глубин человека:

— Господи ты Боже ты мой!

И все его поняли.

И выпили.

Но так как питье на этом кончилось, Кильдым сейчас же послал за новым.

Мало того, он поговорил по своему мобильному телефону, и ко двору со стороны улицы стали подъезжать автомобили, подбегали к Кильдыму люди, убегали, уезжали, опять приезжали.

Об этом странном празднике до сих пор весь Саратов говорит.

Конечно, не без вранья. Утверждают, что мафиози, уроженец Мичуринской улицы, устроил такие поминки по своей молодой жене.

Но мы-то знаем, что поминками и не пахло.

Говорят, что милицию наняли для охраны праздника.

Вранье. Просто милиционеры, естественно, слыша шум, приходили наводить порядок — и присоединялись к застолью.

Говорят, что истрачено было 100 тысяч долларов.

Вранье. Я спрашивал у Ольги Дмитрук. В 35 650 \$ обошлось все это дело.

Говорят, что народу собралось 1342 человека.

Опять вранье. 443 человека было. Вместе со мной.

Говорят, что поили и кошек, и собак, и малых детей.

Вранье. Кошек и собак кормили, не издеваясь над ними, а всех детей собрали в большой квартире одинокой и чадолюбивой старухи по прозвищу Свинцовая Мерзость. (Кличка — почему? Потому, что эта девушка была сирота и очень некрасива, и она специально пошла на Завод Свинцовых Аккумуляторов, на вредное производство, чтобы этим сократить свою постылую одинокую жизнь. В сорок пять она вышла на пенсию, и вот еще сорок прожила после этого в добром здравии, хотя и говорит о себе постоянно, что «вся насквозь свинцовая». К этому слову кто-то почему-то совершенно несправедливо добавил «мерзость», что абсолютно не идет ее милому личику, ставшему, кстати, гораздо привлекательней, чем в юности, и к ней даже бодрый сосед шестидесяти семи лет сватался.) Так вот, Свинцовая Мерзость баюкала и нянчила детишек, рассказывая им сказки, такие удивительные, что из детей никто уснуть не хотел, всё бы слушали да слушали.

Лишь под утро все заснули — и дети, и люди.

Люди спали и не видели собственных снов, которые тем не менее упорно снились им, и было это странно и грустно, как кино в пустом кинотеатре.



---

---

## ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ



### СВИТОК



По ночному окну ты проводишь рукой  
И стираешь потемки, и небо светлеет,  
И дорожка бежит через мост над рекой,  
И далекая башня влюбленно белеет,

И деревья растут, и трепещет листва,  
И погода прекрасна, и даль благодатна.  
Но когда ты ладонь отведешь от стекла —  
Непроглядная темень вернется обратно.



Большие деревья приходят впотьмах  
И дом поднимают своими ветвями.  
Но мы отгорожены крепкими снами  
От страха в душе и смятенья в умах.

И дела нам нету, что воды шумят  
И сучья корябают ветхое днище,  
Что в окна плывущего небом жилища  
Полночные рыбы печально глядят...



Не поднимешь руками уснувшей осенней листвы.  
Не накроешь ладонью движений души стрекозиных.  
Это время над нами идет как тяжелые сны.  
Лето снято — и благоухает в плетеных корзинах.

Сладким сливовым соком слепая щека клеймена.  
На коленях лежит золотистый загадочный свиток,  
Но слипаются веки и не разобрать письма,  
На которых судьба. И не стоит напрасных попыток.

И от пальцев истома идет по кости лучевой.  
И дремотная слабость вливается в смертное тело.  
Можно спать и не видеть ни снов, ни тебя, ничего.  
И последняя — вот — стрекоза — посмотри — улетела.

\* \*  
\*

Любезны мне такие времена,  
Когда душа не обременена  
И нет любви, да и не нужно это.

Стоит подслеповатая пора  
Апрельских сумерек. Вечерняя игра  
Способна затянуться до рассвета,

Когда вполне свободны ты и я  
И нас не ждут родные и друзья,  
Возлюбленные нам не по карману,

Под взглядом фонарей, под крик ворон  
Мы шлемся вдвоем, со всех сторон  
Никак не подходящие к роману.

### Давай...

Давай гулять! Давай дышать! «Давай» —  
Какое замечательное слово!  
Давай глядеть на реку, на трамвай,  
На голубя на толстого такого.

Давай я застегну тебе пальто —  
Здесь ветрено. И шарф... Тебе не туго?  
Давай не расставаться ни за что.  
Давай с тобой всегда любить друг друга.

### Улов

Невелик мой любовный улов.  
И словарный запас невелик.  
От навек облюбленных слов  
Отказаться не в силах язык.  
И все тот же заплаканный глаз  
Вечно видит над рябью воды:  
Летний вечер, и ветер, и Вас,  
Льющий ливень, пустые сады...

### Ветер

Дует ветер. Он созидает горы,  
Надувает небо и поднимает звезды.  
И приходят звери и роют в горах норы,  
Прилетают птицы и вьют на деревьях гнезда.

Приплывают рыбы и стоят в воде, обернувши  
Головы к берегу, шевеля плавниками.  
Застывает собака, насторожив уши.  
Небо плывет, облаченное облаками.

Милый мой! Не верь никому, пространство —  
Точно так же, как время, — не существует.  
Это только мечта про постоянство  
В мире, где нет постоянства и ветер дует.

Ветер дует, он разрушает горы.  
И они, как и прежде, воле его покорны.  
Наверху деревья почти лишены опоры,  
И в пустоту они протянули корни...

Резкий ветер. Слеза оmyвает око,  
И пейзаж замутняется. Смаргивает веко —  
И пейзаж исчезает. И становится одиноко  
Миру, в котором снова нет человека.

### Детские стихи

Только глаза закрываю — и слышу:  
Падает дождь на покатую крышу,  
Мокрые листья шуршат по стеклу,  
Что-то, как мышка, скребется в углу.  
И возникают, вначале не резко,  
Бледного света пятно, занавеска,  
Ветка в окно неустанно кивает,  
На подоконнике чай остывает,  
Книга вязальной заложена спицей,  
Дом то кряхтит, то скрипит половицей.  
Там я сижу, отдаваясь покою,  
Книгу листаю ленивой рукою,  
Чай попиваю, ладонь согреваю...  
Но для чего-то глаза открываю!

... Чай я однажды допью до конца,  
Двери раскрою и выйду с крыльца  
Прямо навстречу вздохнувшему саду,  
В мокрый шиповник, обнявший ограду.  
Если меня потеряете вы,  
То не ломайте себе головы:  
Значит, я так и осталась в саду.  
Значит, назад никогда не приду.

\* \*  
\*

Эта шаткая лестница в воду  
И сгущающаяся прохлада,  
Это, знаешь, такая свобода,  
Что вдобавок и счастья не надо.

\* \*  
\*

*Бабушке.*

Точно кошки, на солнышко ангелы вышли,  
Развернулись на свет и крылами трепещут.  
И сияньем покрыты покатые крыши,  
И оконные стекла сияют и блещут.

И никто их не видит, чудесных и чистых.  
 Дети скачут, старик на скамеечке курит.  
 Только кот с подоконника тварей лучистых  
 Разглядит, отвернется и глазки зажмурит.

### Волчок

Не ложися на бочок...  
 Сказал и в темный лес...

Кто в ночи крутил волчок,  
 Многоглазый, крутобокий?  
 Утащил меня волчок  
 В темный лес и в сон глубокий.

Вьется, вьется легкий снег,  
 Только снег за нами следом.

Долог, долог волчий бег,  
 И ночлег ему неведом.

В спальне ходит сквознячок,  
 Сладко-сладко спится маме.  
 И вращается волчок  
 Бесконечными кругами.

\* \*  
 \*

Дырку старую зашить  
 Перед самым Новым годом,  
 Зиму как-то пережить,  
 Согреваясь мимоходом, —

И небес голубизна  
 Засияет прямо в очи —  
 О! Гляди, уже весна!  
 День длиннее, жизнь короче.

\* \*  
 \*

Я не могу ни жить, ни умереть.  
 Но я могу в глаза твои смотреть.

.....  
 И до тех пор, пока я в них смотрю,  
 Я все-таки дышу и говорю.

### Ариадна

Ждет крови бык, от радости дрожа.  
 Но, брат, ты предан собственной сестрою!  
 Трепещет Ариаднина душа  
 На ниточке, привязанной к герою.

Но нитка сматывается в клубок,  
 И никому души твоей не надо.  
 И близок сон. И Наксос недалек.  
 И кровь слабее сока винограда.

### Бабочка

Точно бабочка в коробе сна  
 Энтомологам снится счастливым,  
 Ночь расправлена в раме окна,  
 Темно-черная с синим отливом.

Хорошо, что не нужно спешить.  
 Неподвижна на бархатном ложе,  
 Эта бабочка крыльев сложить  
 Не умеет — не хочет — не может.

\* \*  
\*

Иди куда хочешь. Куда ни гляди —	Головокружительно
Все перед глазами	Полдень жужжит,
Дорога до края земли впереди	И пахнет цветами,
Да клевер низами.	И круглое синее небо лежит
	Повсюду над нами.

### Грамматика

«Мы с тобой», — говорю, — «мы с тобой» —  
Вот уже и анапест кружит.  
Мы не связаны общей судьбой,  
Между нами лишь рифма дрожит.

Наша связь не союз, а предлог,  
Даже если скажу «ты и я».  
Мы лишь повод для нескольких строк  
И условие их бытия.

### Корица

Вдруг запахло корицей как будто. Откуда?  
Это зимней-то ночью, в метро опустелом?  
Или ангел какое-то мелкое чудо  
В новогодний канун обронил между делом?

Или, может быть, знак, чтобы я не грустила,  
Подается мне нынче подземной столицей?  
Или, может, я счастье свое упустила?  
И оно улетает и пахнет корицей?

### Желание

Желание во мне, как дерево, растет.  
Желание во мне, как дерево, ветвится,  
И на ветвях его не умолкают птицы,  
И пчелы черные приносят в дупла мед.

Тягучий аромат так сладок, так хорош.  
Он кружит кровь, он жжет моих певуний шалых.  
Хорош мой дикий мед — и ты его возьмешь.  
И сладок острый яд в тугих пчелиных жалах.

\* \*  
\*

Так и жить-то, наверно, нельзя,	Потому что она говорит
Так от радости пляшут — и плачут,	О грехе, о стыде, о позоре.
Так счастливые прячут глаза,	А на мне мое счастье горит,
Так удачу от совести прячут —	Мономахова шапка на воре.

\* \*  
\*

В быстром воздухе стрекочет  
Стрекозиное крыло,  
Удержать напрасно хочет  
Уходящее тепло.

Не поможешь ничему ты,  
Не поймашь ничего.  
Дольше сказанной минуты  
Не продлится волшебство.

Трепеща, круговращает  
Золотые веера —  
Даром зрителя прельщает  
Пестроцветная игра.

Так оно и происходит,  
Мой товарищ дорогой,  
И любовь твоя уходит,  
Точно полдень золотой.

### Пенелопа

Я жду тебя давно. Уж мирозданье  
Состарилось. А мне и постареть  
Все некогда. Работа ожиданья  
Не оставляет времени на смерть,

На жизнь... Я взглядом напряженным  
Ловлю твой парус в море, кораблю  
Путь расчищаю. Что другого женам  
И остается? Ждать. Я жду. Люблю. Терплю.

\* \*  
\*

Ночь за стеной,  
над крышей,  
за окном.

Такой же точно  
ночью  
полон дом.

Душа моя,  
не так же ль  
ты видна

Самой себе  
с той стороны  
окна?

### Орестань

Дождик, дождик, перестань,  
Я уеду в Орестань,  
Я у Бога сирота...

*Детская припевка.*

Огороды, побитые градом, ограды — и город  
Начинается сразу же через четыре шага.  
Над колодцем скрипит-распевает медлительный ворот,  
И большая корова к земле наклоняет рога.

Чья-то мелкая живность бежит по деталям пейзажа,  
Чья-то дохлая радость пасется в намокшей пыли.

Горожанки твои на домах намалеваны сажей  
Или в небе висят, не касаясь ногами земли.

О провинция детства! Тоска промежуточных станций.  
О засиженный мухами вечных окон переплет!  
О мой милый, мой детский, сиротский, сырой, арестантский, —  
Никуда не уехать. — И дождик идет и идет.

### Низами

Что-то трудно мне стало с людьми.  
Лучше, двери от всех затворя,  
Я всю ночь проведу с Низами,  
До зари о любви говоря.

Он утешит, он скажет: «И сам,  
Низами, я терплю эту боль.  
И ее никому не отдам  
Ни за ми, ни за мед, ни за соль».

«Не проси, — скажет, — нечем помочь  
Ни за фа, ни за ля, ни за си».  
Незаметно закончится ночь,  
Повернется земля на оси,

Заварю крепкий чай на заре.  
Мне тебя у судьбы не купить  
Ни за ми, ни за до, ни за ре.  
Подскажи, Низами, как мне быть?

\* \*  
\*

Откуда бы небу здесь быть? А его и нету,  
Просто память не до конца угасла  
И еще рисует знакомые силуэты  
Облаков и птиц. Иногда я вижу так ясно,

Что мне кажется, будто я и взаправду вижу.  
Но мы слепы здесь все, ведь мы всего только тени.  
И когда ты приходишь,ходишь ко мне все ближе,  
Обнимаешь мои призрачные колени,

И глядишь на меня, и зовешь, молишь, и манишь,  
И велишь мне следовать за тобою —  
Даже ты, Орфей, меня уже не обманешь  
И не сделаешь больше, чем есть, слепую.

Я уже пыталась! Бежала, и спотыкалась,  
Падала, и рыдала, и землю грызла,  
И бежала вновь... Не скоро я догадалась:  
Это — память, гнаться за ней не имеет смысла.

Не терзай меня, злое воображенье,  
 Не зови, Орфей, не мучай меня напрасно,  
 Нарисуй лучше небо, расплывчатое движенье  
 Облаков и птиц дай мне увидеть ясно.

\* \*  
 \*

Ты не косарь, я не жница.  
 Нам с тобой нельзя жениться.  
     Нам с тобой нельзя встречаться —  
     Осерчают домочадцы.  
 Скажут, крыша протекла  
 И другие есть дела.  
     Есть семья и есть работа,  
     Понедельник и суббота,  
 А такого нету дня,  
 Чтоб тебе любить меня.  
     Неземная красота  
     Носит ложку мимо рта.  
 Зарастает огород  
 Лебедою. Дождь идет.

\* \*  
 \*

...А как нам с тобой мечталось,  
 а как хотелось,  
     Как сплеталось и расплеталось,  
 как пелось!  
     Как спалось нам, лилось нам,  
 как нам леталось...  
     И смотри — все сбылось,  
 ничего не осталось.

### Река

Клубятся розовые облака,  
 И берега мигают огоньками.  
 Послушная вечерняя река  
 Расходится прохладой под руками.

И нежные речные комары  
 Со звоном виснут в воздухе упругом.  
 Две чудных тайны, две родных сестры —  
 Вода и плоть, влекомые друг другом.

\* \*  
 \*

И ниточка вздрогнула — и развязалась,  
 Привычная мука от сердца отникла,  
 И целая жизнь впереди оказалась.  
 Я так не привыкла...

### Эрос

Нежнее, чем Эрос, запевший вдоль жил,  
Зазывней бывает ли пенье?  
Все то, что за целую жизнь отложил,  
В одно золотое мгновенье

Утратив, ты волен отныне в пути,  
Легки твои быстрые ноги.  
Но только тебе ничего не найти  
На этой чудесной дороге.

И сядешь, спиной привалившись к стволу,  
Пока твоя жизнь убывает,  
И голосом птичьим затынешь хвалу  
Тому, что тебя убивает.

### Любовь дорогая

Даже когда ты уходишь, любовь, дорогая,  
В сердце боль остается, оберегая  
Те гроты и впадины, в которых ты обитала.

Даже когда утихает боль, остается  
Смутная музыка, та, что подобна  
Запаху давних духов из пустого флакона.

Но умолкает и музыка. Воздух с шумом  
Входит в пустоты. И зарастают  
Пыльной травой трещины на асфальте.

Вот когда ты уходишь — любовь, дорогая...

### Золотые шары

Нам августовский день несет свои дары.  
О милая! Зачем ты думаешь об этом?  
— Смерть выглядит вот так: как желтые шары,  
Набухшие в саду невыносимым светом.

\* \*  
\*

Неужели умру? Неужели забуду  
Теплый кофе столовый, косую посуду,

Мужиков над стаканами мутные лица,  
За немытым окном голубиную птицу?

Дребезжанье трамвая, промозглую слякоть  
И апрельского неба арбузную мякоть,

Тупики и подъезды, сквозную простуду  
Неужели забуду? Неужели забуду?

\* \*  
\*

А надо чтобы не кричать  
Покрепче губы закусить  
И надо боль свою качать  
И на руках ее носить  
И ото всех ее беречь  
И по минутам день тянуть  
А ночью можно будет лечь  
И даже может быть уснуть

### Вечерний пост

Медсестра на вечернем посту  
Трет глаза и глядит в пустоту.  
К ней себя я в четвертом часу,  
Прижимая руками, несу.  
Убаюкай меня, медсестра.  
Надо как-то дожить до утра.

\* \*  
\*

Вдалеке электричка гремит,  
Сквозняки пробегают по шторе,  
И зачем неизвестно горит  
Электрический свет в коридоре.

Ну а та, что сидит у окна,  
Некрасиво держа сигарету? —  
Ничего. Слишком ясно видна  
Спинка стула сквозь женщину эту.

Так что здесь никого просто нет.  
На одной из московских окраин,  
Уезжая, не выключил свет  
Второпях бестолковый хозяин.

### Песенка

«Ни двора, ни кола, ни копыя.  
А зато небосвод голубой».  
Эта песенка только моя.  
Я не стану делиться с тобой.

Я с пустыми руками приду.  
Я не буду ни плакать, ни петь.  
Лишь стоять и у всех на виду  
На тебя, задыхаясь, глядеть.



---

---

МИХАИЛ АРДОВ (протоиерей)



## ВОКРУГ ОРДЫНКИ

*Портреты*

### VIII

**М**аргариту Иосифовну Алигер я знал с раннего детства. В 1941 году среди прочих писательских семей, вместе с которыми мы ехали в эвакуацию, была и она с крошечной дочкой Таней. Мне помнится, какое-то время мы даже существовали вместе, в одной комнате, — моя мать с нами тремя и Маргарита Иосифовна со своим ребенком... Где это было — в Чистополе?.. В Берсуге?..

После войны мои родители дружили с Маргаритой Иосифовной. В это время у нее появилась и вторая девочка — Маша, она была дочерью Александра Фадеева. Рассказывали, что, узнав о появлении ее на свет, циничный Валентин Катаев будто бы сказал:

— Как же Сашка был пьян!

Надобно заметить, что у Маши было большое сходство с отцом, а потому некий писатель, менее ехидный, нежели Катаев, говорил:

— Когда я вижу этого ребенка, мне хочется говорить о социалистическом реализме.

В те времена Алигер со своими дочками жила в композиторском доме на Миусской площади. У них там был пудель, очень забавный щенок. Однажды маленькая Маша с ним играла, она тянула куклу в свою сторону, а песик в свою... Пудель явно одолевал девочку, и тут она обратила внимание на то, что держит игрушку рукой, а щенок — пастью...

— Ах, ты зубами?! — вскричала Маша и со своей стороны взяла игрушку в рот.

В сороковых годах Маргарита Алигер прославилась тем, что написала поэму о Зое Космодемьянской, которая в те времена стала культовой фигурой. На московских прилавках появились даже шоколадные наборы с ее портретом. И вот тогда Алигер вступилась за честь своей героини и добилась того, что конфеты с изображением злосчастной партизанки из продажи исчезли.

В архиве моего отца существует небольшая тетрадка, в которой он фиксировал свои разговоры с Ахматовой. Там есть такая запись, относящаяся к 1948 году:

«А способность у нее проникать в глубь литературных произведений такова:

Маргарита Алигер пришла к нам и прочитала Анне Андреевне новую свою поэму о любви к покойному мужу (композитор Константин Макаров, убит на войне). Читка шла с глазу на глаз.

Анна Андреевна сказала так: в этой поэме тот недостаток, что посвящена она и толкуете вы об убитом муже, а думаете о другом человеке и любите сейчас этого другого.

Алигер была поражена и признала, что это — правда».

В конце сороковых и в начале пятидесятых годов Маргарита Иосифовна редко появлялась у нас на Ордынке, а вот во времена хрущевской «оттепели» она стала приходить к Ахматовой гораздо чаще. Алигер вместе с Э. Казакевичем редактировала альманах «Литературная Москва» и пыталась опубликовать там стихи Анны Андреевны. Но мне помнится, что из этой затеи ничего не вышло.

А еще я вспоминаю, как Маргарита Иосифовна приходила на Ордынку, чтобы привлечь Ахматову к сотрудничеству с Европейским сообществом писателей, во главе которого стоял Джанкарло Вигарелли. В тот раз она довольно долго пробыла наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ее ухода Ахматова со смехом объявила:

— «Алигерница» мне сказала: «Мы боремся с Ватиканом...»

Это всех нас позабавило, а Ардов не поленился и нарисовал для юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. У меня до сих пор хранится этот рисунок — величественный Папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступает тщедушная фигурка «Алигерницы»...

После того, как эта карикатура появилась, на Ордынку зашла младшая дочка Маргариты Иосифовны, и мы ей это изображение показали. Маша взглянула и произнесла:

— Папа похож, а мама — нет.

Кстати сказать, сама Маргарита Алигер обладала изрядным чувством юмора, и ее остроты иногда цитировались на Ордынке. В шестидесятых годах, когда дочери повзрослели, Маргарита Иосифовна говорила:

— Ну вот, кончились ангины — начались аборт.

Откровенно говоря, Маргарита Иосифовна терпеть не могла меня и всю нашу с братом Борисом компанию. Я полагаю, она не могла не чувствовать, сколь иронично и даже пренебрежительно относились мы к официальной советской литературе, к которой она принадлежала с молодых ногтей.

Теперь я несколько сожалею, что по причине нашей с Алигер взаимной антипатии я был довольно далек от их семьи. Ведь биография Маргариты Иосифовны могла бы стать материалом для повествования вполне серьезного и даже трагического. Сказать, что жизнь она прожила трудную, — ничего не сказать.

Еще до войны в годовалом возрасте умер ее старший ребенок — мальчик.

В первые дни войны погиб ее муж — композитор Константин Макаров...

В 1956 году застрелился отец ее младшей дочери — А. А. Фадеев.

В 1974 году от рака крови скончалась ее старшая дочь Татьяна.

Младшая дочь Маша вышла замуж за иностранца, уехала в Германию, а потом поселилась в Лондоне. В октябре 1991 года она покончила с собою, и ее тело привезли в Россию.

Маргарита Иосифовна пережила своих детей и в августе 1992-го погибла в результате нелепейшего несчастного случая — она свалилась в глубокую канаву неподалеку от своей дачи. И теперь они все трое — мать и обе дочери — лежат на одном кладбище, в Переделкине.

Честно говоря, мне бы не хотелось завершать свой рассказ на подобной ноте, а потому я решаюсь присовокупить еще одну историю. Довольно скоро после смерти Ахматовой «Алигерница» опубликовала свои воспоминания о ней. Там повествуется и о том общеизвестном факте, что Владимир Георгиевич Гаршин, за которого Анна Андреевна собиралась выйти замуж, обошелся с нею непорядочно и жестоко.

Так вот, Алигер сообщала читателям, будто из Ленинграда в Москву пришла по сему случаю такая телеграмма:

«Одна. Несчастлива. Ахматова».

Телеграмма действительно была послана на имя моей матери, но текст был совсем иной:

«Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна».

Году эдак в семьдесят девятом у меня был разговор с редакторшей из Гослитиздата, которая в то время готовила к печати новую книгу Алигер. Я сообщил этой даме о том, что Маргарита Иосифовна неверно цитирует ахматовскую телеграмму. Буквально на следующий день «Алигерица» мне позвонила.

— Миша, — сказала она, — что это за история с телеграммой?

Я объяснил ей, в чем дело.

— Но я же хорошо помню, — говорила мне Алигер, — у меня эта телеграмма перед глазами...

— Эта телеграмма, — отвечал я, — лежит у меня в той папке, где находятся письма Ахматовой. Ее текст именно такой, как я вам говорю.

— Ну, может быть, была еще другая телеграмма, — с надеждой сказала Алигер.

На это я ответил так:

— Маргарита Иосифовна, мы оба с вами знали Ахматову. Она не имела обыкновения давать несколько телеграмм по одному и тому же поводу.

В те дни я пересказал этот разговор в большой компании, где была и Наталья Горбаневская. Выслушав это, она сказала:

— Как видно, у Алигер всю жизнь была мечта — дать кому-нибудь такую телеграмму: «Одна. Несчастлива». И подписаться: «Ахматова».

## IX

В моей книге «Легендарная Ордынка» есть целая глава, которую я посвятил Александру Георгиевичу Габричевскому — одному из самых значительных людей, каких мне довелось узнать в моей жизни. А о личности не менее замечательной — о его жене Н. А. Северцовой — там есть лишь несколько строк, которые уместно здесь привести: «Наталья Алексеевна была совершенно необыкновенным человеком. Самым существенным ее качеством был талант. Талант во всем, что бы она ни делала — писала ли картинки, составляла ли композиции из корней, стряпала ли, накрывала ли на стол, обставляла ли комнаты или устраивала театрализованные игры. Она, ее необычайная одаренность, — вот что было душою дома, который привлекал столь многих и не был похож ни на один другой дом в мире...»

Северцовы — старинная дворянская фамилия, имение их было в Воронежской губернии. Наталья Алексеевна иногда рассказывала о своем деде — Николае Алексеевиче Северцове, он был известный зоолог и путешественник, исследователь Средней Азии. Там он попал в плен, и его держали несколько лет, как мне помнится, в Коканде. Еще более знаменитым был ее отец — биолог, академик Алексей Николаевич Северцов.

Я запомнил некоторые рассказы Натальи Алексеевны о жизни в имении. Она довольно часто говорила о своей бабке — вдове Н. А. Северцова. Хозяйство у них было образцовое, в частности, весь скот был английской породы. И когда господам требовалось к столу мясо, то давали знать в деревню, откуда приводили беспородного теленка, а взамен крестьянам давали породистого... Это длилось не один десяток лет, и в конце концов весь скот в округе стал образцовым...

За бабушкой Натальи Алексеевны числится и подвиг в духе Рауля Валленберга — она спасла от погрома все еврейское население городка под названием Бобров. (В это вполне можно поверить, поскольку словарь Брокгауза сообщает, что в 1891 году там числилось 66 евреев.) Наталья Алексеевна вспоминала, как всех их разместили в каком-то громадном амбаре, кормили досыта, а когда опасность миновала, они вернулись в свой город.

Осенью семнадцатого года имение Северцовых поделило общую участь: его разграбили и спалили. Господа в это время отсутствовали — Алексей Николаевич был профессором Московского университета, и в сентябре их семья,

как обычно, возвратилась на городскую квартиру. Тогда же, в октябре семнадцатого, возле самого их дома, на Большой Никитской погиб от шальной пули любимый брат Натальи Алексеевны Николай.

Еще раз побывать в имении ей пришлось в начале двадцатых годов, она поехала туда вместе с мужем. От барского дома остался только флигель, там они и поселились. Крестьяне отнеслись к ним очень хорошо, и кто-то сообщил Наталье Алексеевне, что до сих пор жив ее попугай, которого в семнадцатом году оставили в имении. Птицу через некоторое время доставили, но она оказалась в ужасающем состоянии — без глаза и без изрядной части оперения. К тому же попугай освоил нецензурную ругань. Он довольно долго прожил у какого-то сторожа, который каждый вечер пил самогон и ругался на чем свет стоит. В результате птица научилась произносить длиннейшие матерные монологи, которые всякий раз оканчивались такими словами:

— О-хо-хо-хо... Ну, ни хера...

Близость нашей семьи с Габричевскими — коктебельского происхождения. Первым в их дом попал мой старший брат Алексей Баталов, а уже за ним — наша мать. А моя тесная дружба с Натальей Алексеевной и Александром Георгиевичем началась в августе 1962 года, когда мы с братом приехали в Крым.

Александр Георгиевич и Наталья Алексеевна впервые прибыли в Коктебель летом 1924 года, и с тех самых пор вся их жизнь была связана с этим местом. О Максе Волошине, его гостях и его доме написаны сотни страниц, и нет нужды еще раз повествовать об этом. Но насколько я могу судить, Наталья Алексеевна особенно пришлась там ко двору, ибо кроме всех прочих своих талантов она обладала и незаурядным актерским даром.

Один из близких ей людей — искусствовед Ростислав Борисович Климов — написал об этом в своей статье «Живопись Наталии Северцовой» (сб. «Александр Георгиевич Габричевский», М., 1992): «Персонаж, блестяще воспроизведенный в устном рассказе, допустим, неповоротливый коктебельский аптекарь, делающий пилюли, — вызывал гомерический хохот. Вызывал дважды — в процессе „слушания” и потом, при вполне деловом посещении аптеки. Этих историй было множество, они возникали непреднамеренно, по любому поводу и были чудом мимического, актерского, литературного искусства (в том числе и искусства звукоподражания). И все они были частью и проявлением необычайно интенсивной внутренней жизни, отблесками, рожденными ею и озарявшими все вокруг».

Мне вспоминается номер, который можно было бы назвать «Кармен из Одессы»: Наталья Алексеевна с характерными интонациями и жестами распевала:

— Любовь, как бабоцкэ пархатая,  
Она пархает вкруг мэнэ...  
Меня нэ любишь, ну так что же?  
Так полюблю так-таки я тэбэ!  
Ха-ха!..

И еще одна история, которую Наталья Алексеевна рассказывала и попутно изображала. В их московской квартире на Никитской был чинный ужин, принимали Ивана Владиславовича Жолтовского и его супругу Ольгу Федоровну. Эта дама попросила хозяина передать ей сардины. Александр Георгиевич взял со стола небольшую тарелку, на которой стояла консервная банка с рыбками, и протянул ее гостье. Но движение это было слишком резким, а потому банка со всем содержимым соскользнула прямо в глубокий вырез платья Ольги Федоровны... Далее следовала немая сцена.

Я сблизился с Габричевскими в сравнительно благополучные, самые последние годы их жизни. Но, увы, по большей части она прошла вовсе не безмятежно. И я имею в виду не только аресты и ссылки Александра Георгиевича, но и те времена, когда они с Натальей Алексеевной расходились, да и по-

слевоенные годы, когда он сильно пил. Я вспоминаю, как мой брат Алексей говорил:

— С дядей Сашей иногда бывает трудно разговаривать. Если он пьяный, то начинает путать языки — говорит и по-французски, и по-итальянски...

Александр Георгиевич Габричевский смолоду обучался живописи, и она стала его увлечением на долгие годы. Но в те времена, когда я подружился с их семейством, он уже не рисовал и не писал маслом. Зато этим делом занялась Наталья Алексеевна. О ее живописи замечательно написал Р. Б. Климов, в той статье, которую я уже цитировал.

Насколько я могу судить, начинала Наталья Алексеевна с чисто декоративных вещей: она расписывала столы, подносы и т. д., а в конце жизни перешла на портреты и жанровые сценки...

Работала Наталья Алексеевна с увлечением и необычайным усердием. Надо сказать, Александр Георгиевич относился к ее творчеству с интересом и одобрением, но хвалил очень редко. Вот типичная сценка, относящаяся к шестидесятым годам.

Наталья Алексеевна пишет маслом очередную картину. Александр Георгиевич подходит, становится сзади нее и некоторое время молча наблюдает за работой. Потом он тростью указывает на какое-то место и произносит:

— Вот здесь криво...

Наталья Алексеевна пытается исправить свой промах. Александр Георгиевич молча наблюдает за ней, а затем говорит:

— Все равно криво...

— Возьми кисть и сам поправь, — предлагает Наталья Алексеевна.

Он отрицательно качает головой и удаляется.

6 января далекого 1925 года Александр Георгиевич писал в Коктебель Во-лошиным:

«Дорогой Макс и Маруся!

Только что получили Ваше второе письмо, и ужасно стыдно, что и на первое не успели ответить. Но мы действительно не успели, ибо в этом году нам выпала тяжелая обязанность устроить встречу Нового года у нас. Конечно, все хлопоты легли на Наташу, и она до сих пор чуть жива: превратилась в скелет, кашляет и никак не может выспаться. Мы, хозяева, от торжества получили весьма мало радостей: Наташа всю ночь что-то подавала и ухаживала за пострадавшими, а я все время переживал какие-то ответственности и играл на рояле».

В течение всей жизни у Натальи Алексеевны были, так сказать, две ипостаси. С одной стороны — она дочь академика Н. А. Северцова и жена профессора А. Г. Габричевского, хозяйка гостеприимного дома... А с другой — горничная, которая в этом доме убирает, да и кухарка, которая готовит для бесчисленных гостей изысканные обеды и ужины.

Сама Наталья Алексеевна прекрасно сознавала эту свою раздвоенность и часто говорила о наличии в себе двух существ — «барыни Натальи Алексеевны» и «прислуги Наташки». В самый последний год ее жизни, будучи прикованной к постели, она писала мне из Коктебеля в Москву:

«Ну что мне делать с Наталией Алексеевной? Ума не приложу. Наташке запретили ее обслуживать. Нат. Ал. уже просто придраться не к чему».

Именно в те дни она проявила еще один из своих бесчисленных талантов — стала писать воспоминания, работу над которыми ей уже не суждено было завершить. Но там есть удивительно интересные и мастерски написанные страницы.

Надобно заметить, что и стихи она писала вполне профессионально. У меня хранится ее подарок — тоненькая книжечка, изданная в 1934 году, «Мой Коктебель» (свое авторство Наталья Алексеевна скрыла под псевдонимом «Матти»). Сборник открывается таким четверостишием:

В те дни, когда свистит метель  
И треплет крыш седую гриву,  
Уйди мечтою в Коктебель  
К прозрачно-синему заливу.

Ах, как она ненавидела темную и морозную московскую зиму! Как она ждала первых признаков весны, когда можно было готовиться к отъезду в Коктебель... Ведь там надо быть уже в апреле, чтобы не пропустить цветение горлицев, а потом пионов, а вслед за ними и тюльпанов, и маков...

Весною 1966 года мы с ней приехали в Коктебель, я помогал ей подготовить дом к прибытию Александра Георгиевича. Там вдвоем мы встретили и День Светлого Христова Воскресения. В память об этом событии Наталья Алексеевна подарила мне свою картину, на которой изображен пасхальный стол — кулич, крашеные яйца, зелень, окорок, бутылки и бутылки...

Только познакомившись с Натальей Алексеевной, я понял, что кулинария — истинное искусство. А она им владела в совершенстве. Летом 1968 года Наталья Алексеевна призывала меня приехать в Коктебель, и в письме есть такие строки: «Сегодня грущу особенно, что тебя нет. В русскую печку полчаса назад втиснут окорочок молодой свинки. Я его солила два дня, потом он стекал на ветру, потом закутан в тесто. И вот мы волнуемся и ждем... А еще, чтобы не пропало место, молодой барашек, рис, абрикосы, яблоки, лук, чеснок, мята, петрушка, кинза, толченые шкурки апельсина — чуть-чуть. Помидоры и персики».

Помнится, она произносила такую фразу:

— Я ненавижу мужиков, которым все равно, что есть. Значит, им все равно, с какой бабой спать.

## Х

В доме А. Г. Габричевского и Н. А. Северцовой мне довелось общаться с интереснейшими людьми. Среди них были личности и знаменитые, и вовсе не известные, но все они в той или иной мере принадлежали к вымиравшему именно в те времена племени подлинных русских интеллектуалов.

Именно таким человеком была подруга Наталья Алексеевна — Валентина Абрамовна Иоффе, с которой у меня возникло не только близкое знакомство, но и дружба, продолжавшаяся до конца ее дней. Нашему с нею сближению способствовало то самое «вымирание», о котором я только что упомянул.

В конце шестидесятых годов я много времени проводил в небольшом селце Акиншине, оно расположено между Владимиром и Нижним Новгородом. Летом 1973 года мы с женой пригласили туда Валентину Абрамовну, и она прожила у нас недели две. А в начале сентября мы получили от нее письмо, где, в частности, говорилось:

«Акиншино я вспоминаю с нежностью, мне было очень хорошо у Вас. Все было прекрасно — и лес, и грибы, и речка, а главное, вы оба, по-настоящему близкие люди, которых уже почти не осталось среди моих современников, не говоря уже о молодях».

Мать Валентины Абрамовны была дворянкою. Она вспоминала, как во времена ее детства к ним на петербургскую квартиру зимою прибывали подводы из имения бабушки и дедушки, присылалось огромное количество битой птицы — индюшки, гуси, куры... И родители бывали в затруднении — как распорядиться этими изобильными дарами.

Отец Валентины Абрамовны — академик Абрам Федорович Иоффе, личность весьма и весьма известная. Он — основатель прославленного Ленинградского физико-технического института, глава целой школы ученых, в числе которых нобелевские лауреаты и «трижды героини социалистического труда»... Среди физиков он имел прозвище «папа Иоффе». Вот у этого самого «папы» в двадцатых годах росла весьма привлекательная дочка, и многие из

его учеников были в нее влюблены. Валентина Абрамовна была умна, хороша собою и одарена весьма разносторонне.

Один мой приятель в свое время поведал мне такую историю. В середине шестидесятых годов он познакомился с дочерью Сталина — Светланой Иосифовной Аллилуевой, и, между прочим, она ему рассказала о том, как осенью отдыхала в Сочи.

— Был уже ноябрь, — говорила она, — пляж совершенно пустынный... Я шла по берегу и вдруг увидела фигуру мужчины, который с унылым видом сидел на влажном песке. Приблизившись, я его узнала, это был один из охранников моего отца. Он меня тоже узнал, вскочил на ноги... «Светлана Иосифовна, дорогая!.. Ну как вы? Как живете?..» — «Ничего, — говорю, — Иван Петрович... Дети растут. А вы-то сами как поживаете?..» Тут он помрачнел и сказал: «Ну что вы меня спрашиваете?.. Ведь я вашего отца охранял!.. А теперь вот какого-то жида охраняю...» — и он указал рукою в холодные волны, где плавал один из академиков-ядерщиков.

Я, помнится, пересказал эту историю Валентине Абрамовне и добавил:

— Мой приятель называл фамилию этого академика, но я ее забыл.

Моя собеседница на секунду задумалась и произнесла:

— Скорее всего это мог быть Харитон.

— Совершенно верно, — сказал я. — Как же вы догадались?

Валентина Абрамовна улыбнулась:

— Ну, я мысленно представила себе тех, кто находится под охраной...

Кстати сказать, «трижды герой» Юлий Борисович Харитон тоже был из учеников «папы Иоффе».

С другим учеником своего отца — многолетним президентом Академии наук Анатолием Петровичем Александровым — Валентина Абрамовна сохранила дружеские отношения до конца своих дней. Однажды она была у нас в гостях и попросила разрешения позвонить по телефону. Набрав нужный номер, Валентина Абрамовна заговорила в трубку:

— Анатолий Петрович? Добрый вечер. Это Валя Иоффе...

Повод этого звонка был такой: ей для научной работы требовалась какая-то сложная установка, которую можно было купить лишь за границей, за твердую валюту. Александров взялся ей помочь и просил доставить к нему в канцелярию бумагу с официальной просьбой об этом.

Но вот пикантная деталь: требуемая установка была приобретена лишь через год. Это объяснялось тем, что разговор Валентины Абрамовны с Александровым был незадолго до очередного собрания академии, и те чиновники, которые получили приказание выписать установку из-за рубежа, медлили. Они хотели убедиться в том, что Анатолий Петрович останется в должности президента...

И еще одна история, связанная с Анатолием Петровичем. На каком-то из съездов партии он, единственный из всех выступавших, не имел заготовленного текста, не читал по бумажке. Валентина Абрамовна рассказывала мне, что секретарь одного из райкомов партии выразил по этому поводу такое мнение:

— Александров проявил неуважение к съезду.

Вот такая у них была этика.

Но вернемся к биографии Валентины Абрамовны.

В тридцатых годах она вышла замуж за довольно известного в те времена оперного певца С. И. Мигая. И вот занятный поворот судьбы: поскольку она с ранней юности увлекалась верховой ездой, ей предложили выступить с конным номером в ленинградском цирке. И она согласилась. На афише она значилась под фамилией мужа — Валентина Мига́й.

Однажды отец решил посмотреть на ее выступление. Когда Абрам Федорович, вальяжный и нарядный, появился в цирке, к нему поспешил капельдир и почтительно усадил на место. Получив чаевые, он доверительно произнес:

— У нас сегодня очень интересная программа. Дочка академика Иоффе выступает...

Валентина Абрамовна так рассказывала о жизни в предвоенном Ленинграде:

— Я прихожу с работы, а домашняя работница мне говорит: «Нашего соседа арестовали по подозрению, что он — поляк».

В самом начале войны распался ее брак с Мигаем, и он навсегда уехал в Москву. А Валентина Абрамовна всю блокаду провела в родном городе. Вместе с другими физиками, учениками своего отца, она занималась проблемой защиты кораблей от магнитных мин. Я полагаю, именно тогда возникли ее дружеские отношения с А. П. Александровым, который руководил этой работой.

В шестидесятых годах, когда я познакомился с Валентиной Абрамовной, она заведовала лабораторией в одном из академических институтов, который располагался на Васильевском острове. Она довольно поздно — уже на моей памяти — защитила докторскую диссертацию, и с этим была связана любопытная история. Валентина Абрамовна рассказывала:

— На днях со мной вот что произошло. Утром, перед уходом на работу, я заглянула в почтовый ящик. Смотрю, там лежит повестка — меня вызывают на Литейный, в Серый дом, к следователю КГБ Петрову. Села я пить кофий... Настроение паршивое. В этом доме навсегда исчезли почти все мои друзья... Идти не хочется, но ведь надо же узнать, в чем дело. И я решила зайти туда перед работой... Предъявила паспорт в бюро пропусков... Мне объяснили, куда идти... Захожу в комнату, там кружком стоят человек пять молодых и хорошо одетых мужчин. Когда я вошла, они все ржали, видно, кто-то анекдот рассказал. Я поздоровалась, говорю: «Мне нужен товарищ Петров». Они давай переглядываться: «Петров?.. Петров?.. А! Это — к тебе!» «Ага! — думаю, — значит, Петров — это псевдоним».

А дело оказалось пустяковое. Незадолго до этого Валентина Абрамовна отдавала в печать автореферат своей докторской диссертации. Работу выполнили частным образом в небольшой типографии. А в КГБ тогда боролись с самиздатом, и в тот момент объектом их внимания оказалась та самая типография.

Как и очень многие интеллигенты того поколения, Валентина Абрамовна относилась к советской власти с некоторым снисхождением. Унизительность и безобразие нашего существования она приписывала не только злобности и тупости большевиков, но считала чем-то присущим России во все времена. В уже цитированном мною письме от 31 августа 1973 года говорится:

«Стараюсь поменьше думать о печальных вещах, но не так это просто, „читая газеты“. Боюсь, что не только на мой, но и на ваш век хватит. А может быть, оно так вообще и ничего другого не было, нет и не будет? Читаю Вяземского и вижу прямые аналогии. Если не читали, очень Вам советую».

Помнится, кто-то спросил Валентину Абрамовну, что ее больше всего поразило за границей. Она отвечала так:

— То, что в овощных лавках не пахнет гнилью.

А еще я вспоминаю такой рассказ. Ее сотрудники должны были проводить международную научную конференцию, а иностранных гостей предстояло поместить в новую гостиницу под названием «Ленинград».

— И тут вдруг выяснилось, — говорила Валентина Абрамовна, — что там в номерах тараканы ходят табунами. Тогда обратились к директору гостиницы, и он вызвал каких-то морителей... Те пустили специальный газ, но на тараканов это не произвело ни малейшего впечатления... Зато страшно всполошились и забегали французы, которые жили на том же этаже.

Валентина Абрамовна великолепно знала и горячо любила Петербург. Именно она показала мне ансамбль Смольного монастыря, одно из самых красивых мест во всем городе. У нас с нею даже возникла традиция: когда я приезжал, мы непременно отправлялись на прогулку в Смольный.

А еще Валентина Абрамовна очень любила музыку, у нее было великолепное собрание пластинок. И я знаю, например, что она не пропускала ни одного из тех концертов, что давал в Ленинграде Святослав Рихтер.

Ей очень нравилась поэзия Бродского, а в шестидесятых и семидесятых годах именно я доставлял ей его стихи. Это было вовсе не трудно, ибо от дома, где жил автор, до ее квартиры на Кирочной — рукой подать.

У Валентины Абрамовны было двойственное отношение к Ахматовой. Она прекрасно понимала, какой это великий поэт, но ей, блокаднице, не нравилось, что Анна Андреевна во время войны покинула свой город. И, разумеется, Валентина Абрамовна отдавала должное Ольге Берггольц, которая не разлучалась с Ленинградом.

О том, как она относилась к «ленинградской беде», может свидетельствовать такой эпизод. Среди тех, кто регулярно появлялся в коктейльском доме у Габричевских, был московский врач Николай Александрович Верховский. Этот человек постоянно был одержим какими-то псевдонаучными идеями и пытался их распространять. Однажды он начал излагать собственную теорию касательно войны с немцами и блокады Ленинграда. Тут Валентина Абрамовна решительно его прервала:

— Про физику вы можете говорить все, что вам взбрдет в голову. А вот трогать блокаду я вам запрещаю!

## XI

В Коктебеле я познакомился и с близким другом Валентины Абрамовны — Степаном Борисовичем Враским. Он был не только интеллигентом, но и аристократом, их род известен с XV века. Помнится, я спросил Степана Борисовича, не состоит ли он в родстве с Борисом Алексеевичем Враским, который был «содержателем Гутенберговой типографии», где печатались книги Гоголя и «Современник» Пушкина. Ответ последовал такой:

— Это — мой прадед.

Дед его, также именовавшийся Степаном Борисовичем, был членом Сената. Их семья жила в Манежном переулке, неподалеку от Преображенского всей Гвардии собора. Я запомнил такой рассказ Враского. В 1918 году он и его дед заболели тифом и лежали в одной из комнат своей квартиры. Однажды ночью к ним явились чекисты с целью арестовать бывшего сенатора. Незваные гости вошли в комнату, и один из них громко спросил:

— Кто здесь Степан Борисович Враский?

— Я, — одновременно произнесли и дед и внук, поднимаясь со своих постелей. Чекисты поглядели на измученных болезнью немощного старца и четырнадцатилетнего отрока и молча удалились.

Степан Борисович до конца своих дней так и жил в той самой квартире. Но при советской власти она превратилась в обыкновенную коммуналку, ему оставили лишь небольшую комнату. В шестидесятых годах я захаживал к нему в гости. Мы пили настоящую на коктейльной полыни водку под незамысловатую холостяцкую закуску. Но хрустальный графин и рюмки, тарелки тонкого фарфора и серебряные вилки наглядно свидетельствовали о том, что их хозяин был когда-то причастен к совсем иной жизни.

Нет, Степан Борисович отнюдь не бедствовал, он был кандидатом наук и доцентом, преподавал физику в каком-то высшем учебном заведении. По тем временам это обеспечивало вполне благополучное существование. А комната его выглядела весьма своеобразно, она вся была занята книжными шкафами и полками, там едва помещался стол, три стула и какая-то кушетка...

Я говорил Степану Борисовичу:

— Я про вас вот что рассказываю. Дескать, у вас, кроме книжных полок, никакой мебели нет и на ночь вы снимаете книги с одной из них, там спите, а утром ставите книги на место...

Нашему с ним сближению способствовало то обстоятельство, что Степан Борисович был великим ценителем юмора. Он заразительно и весело смеялся и очень хорошо умел подмечать смешное.

А еще он был астрономом-любителем. Он привез в Коктебель небольшой телескоп и в ясные августовские ночи устанавливал его во дворе дома, где снимал комнату. И тогда все желающие могли вместе с ним любоваться луною и звездами...

Телескоп этот был менисковым, то есть той самой системы, которая была предложена Д. Д. Максutowым. Степан Борисович объяснял нам суть его изобретения. Раньше в телескопах использовались параболические зеркала, изготовлять которые дорого и сложно, а Максutow сумел применить сферические — гораздо более дешевые и простые. В Советском Союзе на это изобретение никто особенного внимания, как водится, не обратил. Но в Соединенных Штатах телескопы новой системы получили широкое распространение, среди тамошних астрономов-любителей возникли «Махutow clubs». Это стало известным в нашей стране, и в конце концов изобретателю присудили Сталинскую премию.

Степан Борисович Враский так рассказывал об этом изобретении:

— В 1941 году Дмитрий Дмитриевич Максutow вместе с другими учеными был эвакуирован из Ленинграда. Поезд, на котором они ехали, прибыл на какую-то станцию, где их вагон отцепили, и он трое суток стоял в тупике. Первые сутки Максutow отсыпался, а на вторые, когда отдохнул, придумал свой телескоп... Вот что значит хоть на малое время оставить человека в покое.

## XII

С Ростиславом Борисовичем Климовым я познакомился осенью 1962 года в Коктебеле. Среди множества людей, приходивших в те дни в дом Габричевских, он ничем не выделялся, но я обратил на него особенное внимание, когда узнал, что он женат на дочери обновленческого «митрополита» Александра Введенского. И я тут же придумал Климову прозвище — «зять Антихриста».

Его жена Мария (в обиходе Мура) была очень милым человеком. Климов когда-то рассказывал мне историю их брака. Они с Мурой учились вместе в университете, а когда поженились, самого «митрополита» уже не было в живых. Поселились молодые в отдельной комнатке добротного каменного дома в Сокольниках, который принадлежал покойному тестю. Тут же жила и последняя жена Введенского с двумя маленькими детьми. Поскольку дама она была вовсе не старая и весьма состоятельная, то у нее уже был некий «митрополичий местоблюститель» — саксофонист из ресторанного джаза Леня Мунихес. С работы он возвращался под самое утро и спал довольно долго. Пробудившись, он, огромный, жирный, в одних трусах выходил на кухню с саксофоном и тут же извлекал из своего инструмента звуки, напоминавшие гомерический хохот. С этого в бывших «митрополичьих покоях» начинался всякий день...

Я не удержался и заметил Климову: насколько же разумнее иметь неженатый епископат, ибо в доме православного архиерея никакой Леня Мунихес на подобных ролях появиться не может.

В шестидесятых годах я каждую осень приезжал в Коктебель и всякий раз встречал там Ростислава Борисовича. Мы подружились, я обнаружил в нем ясный ум и редкостное чувство юмора. Весьма привлекательна присущая Климову преданность своему делу, он сам себя называет фанатиком искусствоведения.

Кстати сказать, перу Ростислава Борисовича принадлежит уже цитированная мною превосходнейшая статья «Живопись Наталии Северцовой». Климов пишет:

«В работах, где она лихо стилизует собственное жизнелюбие, живопись фатально не удается — она сухая, элементарная. Настоящая живопись начина-

ется, когда она выходит за пределы ею же установленных сюжетных схем, когда она о них забывает. Вот здесь начинаются чудеса. Причем о спонтанности говорить не приходится: живописное решение осуществляется с трудом, о котором зритель даже не догадывается. В таких работах — а это лучшие ее работы — кажется, что в процессе творчества она робеет, не знает, что делать дальше, топчется на месте и ждет озарения. И оно приходит, потом уходит, потом возвращается снова — и так постепенно, как бы вслушиваясь в свой талант, она создает то, что поначалу только мерещилось, раздражало».

И еще:

«...обычно она работала очень серьезно, работа ее захватывала, и она не жалела сил на переделки, раздражалась, когда ее отрывали (поэтому лучшие ее работы выполнены осенью, когда исчезали гости)».

Гости исчезали, но не все. В частности, почти всегда присутствовал сам Климов. И я хорошо помню, как деликатно он высказывал Наталье Алексеевне свои впечатления о ее вещах. Тут — упаси Бог! — не было ни советов, ни рекомендаций, а только благожелательное внимание и поощрение к дальнейшей работе. И это чаще всего выражалось в коротких репликах и даже в междометиях.

Мне в особенности запомнилась осень 1967 года. Большевики пышно праздновали пятидесятилетие захвата власти и стремились вовлечь в свои абсурдные торжества как можно больше жителей покорной им страны. А в пустынном ноябрьском Коктебеле было совсем тихо, там даже лозунгов и плакатов не прибавилось...

В тот год Ростислав Борисович остановился в так называемом пансионате, где ему предоставили хороший номер с видом на море и Карадаг. В самый день «великого юбилея», 7 ноября, он пришел в дом Габричевских и рассказал:

— Меня разбудили в семь часов утра. Какой-то дурак явился в наш коридор и заорал через мегафон: «Дорогие товарищи! Поздравляю вас с пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической революции!» Часа через два я спустился на улицу и увидел, что все наши постояльцы вышли из своих номеров и пребывают в некотором томлении. Вроде бы такой великий праздник, а их забыли... Никто ими не занимается, никто ни к чему их не призывает, никто ничего от них не требует... И тут на моих глазах произошло нечто поразительное. Эти люди без всякого призыва, произвольно, сами по себе построились в колонну и стали маршировать, распевая «Варяга»...

Как это ни удивительно, но именно тогда, в тот самый «юбилейный год», Ростислав Борисович получил от советской власти совершенно неожиданный подарок. Как я уже упоминал, он поселился в пансионате, но тут выяснилось, что просто так там жить нельзя. Обязательно надо было питаться в их столовой, где пища была, во-первых, очень дорогая, а во-вторых — дурного качества. Климова это не устроило, и он решил покинуть пансионат.

В тот момент, когда он складывал свои вещи, к нему в комнату явилась уборщица, и он стал с нею прощаться.

— Как? — удивилась та. — Вы ведь только приехали...

— Да, — отвечал Климов. — Но тут у вас такой порядок: я обязан есть в вашей столовой, а я этого не желаю...

— Ну и не ходите в столовую, — сказала уборщица. — И уезжать вам никуда не надо... Живите себе на здоровье, а я никому об этом говорить не стану.

И вот Ростислав Борисович стал существовать в пансионате нелегально. Это нас очень веселило. Ну при какой еще власти, кроме советской, человек может жить на курорте в номере с видом на море и притом совершенно бесплатно?!

Климов был издательским работником, и от него я в свое время узнал поразительную историю. Это случилось в тридцатых годах, накануне Всемирной выставки в Париже. Как-то раз в известную московскую типографию на Пят-

ничкой улице явился старый наборщик. Он уже был на пенсии и зашел к своим приятелям просто повидаться и поболтать. Между прочим, он высказал такую мысль:

— В любой книге при желании можно обнаружить опечатку. Пусть самая незначительная, но она всегда найдется.

— Хорошо, — сказали ему приятели, — а сколько времени тебе на это потребуется?

— Я полагаю, самое большее — час.

— Давай поспорим на литр водки. Мы тебе сейчас дадим книгу. Если ты в течение часа найдешь в ней опечатку, то мы тебе ставим литр. Если не найдешь, ты нам ставишь. Идет?

— Идет, — сказал старый наборщик.

Тогда его молодые коллеги, посмеиваясь, открыли сейф и вытащили оттуда сверток. В нем была уникальная книга — напечатанная едва ли не в единственном экземпляре, золотой краской, на лучшей бумаге недавно принятая «сталинская конституция». А предназначался этот уникальный экземпляр для витрины в советском павильоне на Всемирной выставке. Разумеется, там было выверено все — до последней запятой.

Старый наборщик тщательно вымыл руки, уселся за стол и развернул пергаментную бумагу...

— Ну, привет, — сказали ему приятели, — через час купишь нам водку...

Но они не успели дойти до двери, как услышали голос старика:

— Пойдите, пойдите...

И он указал им на титульный лист. Там в слове «ГосполиТиздат» вместо первой буквы «т» была напечатана буква «п»...

Легко вообразить, что бы произошло, коли «сталинская конституция» с подобной опечаткой попала на витрину в парижском павильоне. Кто-нибудь из эмигрантских журналистов это бы заметил и предал гласности. После чего все люди, так или иначе причастные к выпуску книги, были бы объявлены «вредителями» и отправлены в ГУЛАГ... А может быть, и прямо на тот свет. Так что надлежало бы купить старику не литр водки, а целую цистерну.

Ростислав Борисович Климов — один из самых занятных собеседников, каких я знаю. Он не просто умен и остер, в некоторых случаях он прибегает к особенному приему, который сам называет — «трогать за вымя». Что это означает, легче всего показать на примере.

Как-то в коктейбельский дом Габричевских была приглашена супруга знаменитого балетмейстера Игоря Моисеева — Тамара. В те годы она была хозяйкой самой большой тамошней дачи, одевалась с вызывающей роскошью и соответствующим образом себя вела. За столом она сейчас же объявила присутствующим, что только что вернулась из Испании.

— Простите, — обратился к ней Климов, — а в каком качестве вы там были?

— Я была в Испании с нашим ансамблем, — отвечала важная гостья.

— Простите, — опять заговорил он, — с каким это «вашим ансамблем»?

— С Государственным ансамблем Игоря Моисеева.

— А! Это который — «Березка»?

— Да нет же! — с возмущением возразила дама.

— Понимаю, понимаю! — подхватил Климов. — Вы из Ансамбля песни и пляски Советской Армии...

— Ничего подобного!.. У нас свой ансамбль...

— Значит, есть целых три таких ансамбля: ваш, «Березка» и этот армейский?

— Ну конечно!

— Это очень интересно, — продолжал Климов. — Вы, пожалуйста, меня простите. Я в этом совсем не разбираюсь... Так, значит, это все разные ансамбли?..

— Да, разумеется!

— Простите, а чем они все-таки отличаются друг от друга?

Ну и так далее... Разговор еще некоторое время продолжался в этом же русле, а затем Ростислав Борисович несколько переменял тактику. В течение второй половины вечера он то и дело просил у Тamarы Моисеевой прощения: дескать, он вовсе не хотел ее обидеть, он просто очень далек от балетного мира и т. д. и т. п.

Вот что означает выражение Климова — «трогать за вымя».

### XIII

У моего приятеля Олега Стукалова, мужа Ольги Северцовой, в шестидесятих годах был автомобиль — серая «Волга». Наличие этой машины предопределило появление в доме Габричевских весьма занятого человека — шофера по имени Тихон Иванович Касаткин.

Стукалов познакомился с ним в день приобретения своей «Волги», тот стоял возле автомобильного магазина среди прочих водителей, предлагающих свои услуги покупателям. Тихон Иванович осмотрел машину, сел за руль и повез хозяина на дачу в Переделкино. Они с Олегом понравились друг другу, и Тихон Иванович взялся постоянно следить за состоянием этого автомобиля.

Тихон Иванович был из тульских мужиков — высокого роста, щекастый и лысоватый. Голос у него был низкий и с хрипотцой, говорил он напевно, с весьма характерными интонациями, да к тому же то и дело прибегал к «ненормативной лексике».

Основным местом его работы было авиационное министерство, Тихон Иванович возил какого-то тамошнего начальника, про которого, в частности, говорил:

— Такой, понимаешь, человек — заместитель министра... И такое, понимаешь, у него горе — теща на ходу сытается...

Тихон Иванович показывал нам фотографию, где они были сняты вдвоем. И если бы на этот снимок взглянул кто-нибудь совсем посторонний, то он бы затруднился определить, кто — шофер, а кто — заместитель министра.

Почти все истории Тихона Ивановича были в той или иной мере драматичны. Он, например, говорил:

— У нас в министерстве кассир, понимаешь, семьдесят три года... Овдовел, да и женился на сорокалетней, понимаешь, бабе... Мы ему говорим: «Петрович, как же ты справляешься?» А он нам отвечает: «Пусть струны порваны, аккорд, понимаешь, еще рыдает...»

Или такое:

— У меня в квартире сосед, летчик, понимаешь, испытатель... Тут приходит пьяный, на ногах не стоит... В комнату к себе зашел, так и повалился на застеленную кровать... И все отверстия у него открылись... Утром жена взяла покрывало, одеяло, подушку — все прямо на помойку... А потом и говорит ему: «Ты — подлец неисправимый...» И ушла. Так он теперь и живет один... «Ты, — говорит, — подлец неисправимый»...

Тихон Иванович был мужик неглупый и с хитрецей. Меня он называл Мишей, композитора Н. Н. Сидельникова — Колей, а Стукалова, как хозяина, непременно — Олег Николаевич.

Помню, подъехали мы на машине к сельскому магазину. Тихон Иванович был за рулем, а в непосредственной близости от него какой-то местный парень усаживался на велосипед и в то же время засовывал в карман только что купленную бутылку водки. Тихон Иванович повернулся к нему и своим хриплым голосом громко произнес:

— Опять пьянствуешь?!

Малый вздрогнул и чуть не выронил свою бутылку.

Как-то теплым ноябрьским днем мы гуляли по пустынному Коктебелю. Вышли на балюстраду у Дома писателей и увидели сидящую на скамейке

пару. Это были старичок и старушка — седенькие и чистенькие, как белые мышки. Они любовались морским пейзажем и тихонько переговаривались. Увидев их, Тихон Иванович умилился и сказал:

— Вот дожили, понимаешь, до глубокой старости... А теперь сидят и трандят...

Весьма живую реакцию вызвала у него большая картина Н. А. Северцовой, где изображены сидящие за столом собутыльники. Впервые взглянув на нее, Тихон Иванович не без зависти произнес:

— Хорошо сидят... Никто никому не грубит.

Это было сказано настолько точно, что за этой картиной так и закрепилось название — «Никто никому не грубит».

Габричевские Тихона Ивановича очень любили. А он в особенности уважал Александра Георгиевича, только не умел правильно произносить его фамилию, говорил — «профессор Горбачевский». И была у Тихона Ивановича мечта — пригласить Наталью Алексеевну с мужем к себе в гости. В конце концов это осуществилось: Габричевские, Олег Стукалов, Ольга Северцова и автор этих строк побывали у него. Мы познакомились с его женой, дочкой, зятем, и нас там отменно угостили. Тихон Иванович радовался как ребенок...

В начале 1968 года Александр Георгиевич заболел воспалением легких. Врачи были настроены мрачно: у больного была очень высокая температура, он то и дело впадал в забытье... И вот я помню, как-то днем в квартиру Габричевских неожиданно-негаданно зашел Тихон Иванович. Он был несколько возбужден, судя по всему, распил с кем-то бутылочку. И конечно же он пожелал видеть «профессора Горбачевского». Его пытались остановить, но он решительно прошел в комнату, где лежал больной, и стал его подбадривать на свой манер — несколько раз повторил такую фразу:

— Александр Георгич, воздержись умирать!..

Это было и смешно, и невероятно трогательно. У меня и сейчас на глазах слезы, я так и слышу его хрипловатый басок:

— Александр Георгич, воздержись умирать!..

#### XIV

Когда я опубликовал свою «Легендарную Ордынку», кое-кто упрекал меня: дескать, в рассказе о писателе Льве Никулине я ни словом не упомянул о том, что у этого человека была недобрая слава. Чтобы избежать подобных упреков на сей раз, я решаюсь начать эту часть моего повествования довольно ехидной эпиграммой, которую в свое время сочинил Эммануил Казакевич:

Никулин Лев, стукач-надомник,  
Весною выпустил трехтомник.  
Рекою мутной, в три струи  
Его творения текли  
И низвергались прямо в Лету,  
И завонялась Лета к лету.

Но в этих строках есть некая несообразность. Стукач не может быть надомником, он должен покидать свое жилище, чтобы общаться с теми людьми, на которых пишет доносы. А Лев Никулин действительно был и слыл человеком нелюдимым.

Он родился в 1891 году. Отец его Вениамин Иванович — актер и известный в тогдашней России театральный антрепренер — был евреем, но в свое время крестился. А история его «обращения» весьма любопытна, помнится, об этом писал в одной из своих книг знаменитый театральный критик А. Р. Кугель.

Впрочем, В. И. Никулин опубликовал и собственные мемуары, где также повествуется о том, как и по какой причине происходило его крещение. Этот эпизод представляется мне настолько интересным и — увы! — характерным,

что я не могу отказать себе в удовольствии привести несколько отрывков из его книги «Записки театрального директора», которая вышла в Нью-Йорке в 1942 году. (После семнадцатого года Вениамин Иванович жил в эмиграции.)

В 1894 году труппе Никулина предстояли гастроли во Владикавказе. Все дела были улажены, уже арендован местный театр, и оставалась последняя формальность — представить тамошнему начальству. А этот город являлся столицей Терского казачьего войска, и главной фигурой там был атаман — генерал С. В. Каханов.

«— Пожалуйста! Вас, господин антрепренер, просят господин полицмейстер, — сказал мне вестовой. Полицмейстером же тогда во Владикавказе был барон Унгерн-Штернберг, из военных.

Я вошел в кабинет. Барон-полицмейстер весьма любезно пригласил меня сесть у его письменного стола, предложил из золотого портсигара папиросу и сам, собственными руками поднес мне зажженную им спичку для закуривания.

Потом начался у нас обычный милый разговор. Шеф полиции стал расспрашивать о труппе и полюбопытствовал в шутиловом тоне, есть ли в труппе интересные актрисы и т. п. Говорил он далее, что Владикавказ город небольшой, но богатый и здесь очень любят театр. Предсказывал блестящие сборы и вообще большой успех.

Тут наступил момент для меня весьма тяжелый. Изобразив на своем лице самую милую улыбку и придав своему голосу наивозможную сладость, я легко, без тревоги и нажима, сказал:

— Знаете, господин барон, — у меня в труппе из состава не менее как в 30 человек артистов имеется... всего только... три... еврея.

— Ев-ре-и?.. Аусгешлосен! Ни в каком случае. Да мой генерал под страхом смертной казни сего не допустит! Замените их немедленно, — сурово промолвил начальник полиции.

Наступила пауза — тягостная, хотя и недолгая.

— Но я... я сам... еврей!

Воцарилась гробовая тишина. Затем со своего кресла поднялась грузная фигура полицмейстера, и он совсем другим голосом строго спросил меня — остановился ли я в гостинице и дал ли я уже свой паспорт для прописки?.. Я, конечно, уже не сидел больше, а стоял, и папироса давно потухла и выпала из моих рук. Я успокоил его, что приехал лишь сегодня утром. Переоделся на вокзале и прямо поехал в городскую управу, в театр и к нему представиться.

— Ну так вот что: вечером, сегодня же, есть поезд на Ростов, и вы уезжайте с ним безотлагательно! Чтобы начальник области, наш атаман, даже не знал об этом казусе. Ух ты, Боже мой! Вот так штука... И помните, вернуться сюда вы можете только христианином. Затем-с желаю всех благ и... с Богом!

Я склонил голову как от тяжелого удара и покинул кабинет полицмейстера, но уже без рукопожатий».

Вениамину Ивановичу было от чего прийти в отчаянье. Ситуация грозила ему полным разорением — он уже выдал актерам аванс и заплатил за аренду театрального здания. Далее Никулин описывает, как он вернулся к своей семье в Житомир и там обратился к некоему священнику Кудрявцеву, который на просьбу о крещении отвечал:

«...Так, так... Ну что ж, хорошо, сын мой. Вот через несколько дней у нас предстоит праздник Успения Пресвятыя Богородицы, приходите тогда в церковь мою. Мы вас будем оглашать. Потом еще раза два устроим такое же оглашение и, с Божией помощью, в ближайшее время и совершим над вами обряд Святого Крещения».

Вениамин Иванович на это не решился, к тому же его испугало загадочное для него слово «оглашение», а потому было решено обратиться к немецкому пастору. Тут выяснилось, что переход в Лютеранство дело канительное и формальности, связанные с этим, занимают около четырех месяцев. Но притом «каждый пастор имеет право и даже обязан окрестить кого угодно в немецкую веру, если алчущий крещения опасно болен и находится при смерти».

Словом, Никулин притворился умирающим, к нему явились пастор и полицейский чиновник, и обряд был совершен. Через два дня «новопросвещенный лютеранин» вновь отправился во Владикавказ, где все устроилось наилучшим образом:

«Теперь документы мои оказались в полном порядке. И барон-полицмейстер стал опять гостеприимно угощать меня папиросами из золотого портсигара, хлобая по плечу запанибрата».

Но вернемся к моему герою, сыну этого выкреста — Льву Никулину. Насколько мне известно, он вместе с братьями и сестрами вырос в Одессе. Помнится, рассказывалась такая история: когда будущему писателю исполнилось пятнадцать, ему очень хотелось вместе со сверстниками вечерами прогуливаться по Дерибасовской улице. Взрослые, разумеется, возражали, и на этой почве возникали конфликты. В спор вступала восьмидесятилетняя бабушка, говорившая внуку:

— Левочка, ну почему мне не хочется на Дерибасовскую?..

В 1911 году Л. В. Никулин стал студентом Московского коммерческого института, тогда-то и началась его литературная карьера. Он писал театральные рецензии, фельетоны, а также сценки для театра миниатюр «Летучая мышь». Он познакомился и подружился с Александром Вертинским и иногда писал для него тексты песен.

Именно в те времена Никулин сочинил четверостишие, которому была суждена весьма долгая жизнь — его помнят даже люди моего поколения:

У кошки четыре ноги,  
Позади ее длинный хвост,  
И тронуть ее не моги,  
Несмотря на малый рост.

В официальной советской биографии Льва Вениаминовича говорится, что во время Гражданской войны «он пишет политические сказки-агитки, героическую феерию „Все к оружию“, памфлеты на гетмана Петлюру и „прочих до власти охочих“»... Но притом Никулин был отнюдь не чужд и влияниям «серебряного века», а доказательством тому служит его книга, вышедшая в 1918 году в Москве (издательство «Зеленый остров»), — «История и стихи Анжелики Сафьяновой 1913 — 1918 с приложением ее родословного древа и стихов, посвященных ей». Это — литературная мистификация, нечто вроде волошинской «Черубины де Габриака», и там есть вовсе не дурные строки:

В тяжелые барки сбегают рабы,  
Как было в галерах старого флота.  
И как не устали вставать на дыбы  
На мосту лошади Клодта?

У меня есть все основания полагать, что Лев Никулин, как и весьма многие интеллигенты его поколения, в свое время вполне искренне принял революцию и стал преданно служить советской власти. В 1921 году в составе дипломатической миссии он уехал в Афганистан, где провел полтора года. В дальнейшем его отправляли во Францию, в Испанию, в Турцию, где, надо полагать, он выполнял какие-то поручения «компетентных органов». И он до самых последних лет своей жизни был, что называется, «выездной», с 1956-го по 1966-й всякий год лечился на одном из французских курортов.

Насколько я могу судить, функции, которые доводилось выполнять Никулину, были сходны с теми, что поручались Илье Эренбургу. Но если последний пользовался расположением либеральной советской интеллигенции, то первый ею порицался...

Притом Лев Вениаминович, когда мог, старался делать добро. Так, в конце пятидесятых годов он познакомился и даже подружился с вдовой Ивана Бунина — Верой Николаевной. В те дни она бедствовала, и Никулин помог ей

продать часть архива в Советский Союз, и он же доставлял в Париж причитающиеся ей деньги.

Я полагаю, что в тридцатых годах Лев Вениаминович окончательно прозрел, понял, что на самом деле представляет собою большевицкий режим. Ему, как умному человеку, стало ясно, что изобретенная Лениным и усовершенствованная Сталиным страшная машина может в любой момент убить или превратить в лагерную пыль каждого человека — и министра, и академика, и дворника... Здесь не могли помочь ни лояльность власти, ни искренняя ей преданность — спасал только случай, только везение...

Мой отец, который дружил со Львом Вениаминовичем в течение сорока с лишним лет, говорил о нем:

— Это — ужаснувшийся.

В те годы, когда я его знал, Никулин был домоседом и регулярно общался с ничтожно малым количеством людей. Если же он попадал в какую-нибудь компанию, то вовсе не участвовал в общих беседах. Его соседка и приятельница Лидия Русланова говорила:

— Пришел Никулин и намолчал полную комнату.

Впрочем, у нее-то он иногда разговаривал. Однажды, глядя на дорогие картины, ковры, антикварную мебель, Лев Вениаминович сказал хозяйке:

— Раздай все мне и иди в монастырь.

Пожалуй, лишь однажды я видел его совершенно раскованным и оживленным. Он несколько подвыпил и пустился в воспоминания о дореволюционном Петербурге. А поскольку никого из старых петербуржцев, кроме Ахматовой, за столом не было, Никулин адресовал свои речи именно ей. Он говорил:

— Ах, какие там были заведения! Например, на Гороховой у мадам Жерар... Всего пять рублей, а какие девочки! Анна Андреевна, вы помните?

— Лев Вениаминович, ну откуда я могу это помнить? — отвечала Ахматова, с трудом сдерживая смех.

Повторяю, я видел это только один раз. Он даже в семейном кругу был необычайно сдержан, но тут он не боялся выказывать свой ум и свойственное ему чувство юмора. На Ордынке вспоминали такую его шутку: когда Никулину в свое время сообщили о том, что его жена родила двойню, он произнес:

— Нищета стучится в ворота моего дома.

Он говорил:

— Я придумал тему для диссертации на соискание степени доктора филологических наук: «Адам Мицкевич и мадам Ицкевич».

Я помню, как Лев Вениаминович рассказывал о своей встрече с В. В. Шульгиным, который, как известно, был антисемитом (он тогда снимался на «Ленфильме» в картине «Дни»):

— Шульгин мне все время жаловался: «Этот автор сценария Владимиров... этот Владимиров...» Я говорю: «Какой это Владимиров? Это что — Вайншток?» Шульгин посмотрел на меня, сделал правой рукой брезгливый жест и говорит: «Наверно, Вайншток...»

В начале шестидесятих годов Никулин лежал в урологическом отделении одной из московских клиник. Выйдя оттуда, он привез домой весьма оригинальный подарок, который ему преподнесли соседи по больничной палате. Это была стеклянная «утка», а на ней была выгравирована надпись: «Ссы спокойно, дорогой товарищ».

Лев Вениаминович любил сочинять шуточные стихи и эпиграммы. Я до сих пор помню четыре строчки из его стихотворения, в котором перечислялись по именам все литературные дамы пятидесятых годов:

Вот Маргарита Алигер —  
Милейшая из всех мегер,  
Милее, чем мадам Адалис,  
Как вы, конечно, догадались...

На развернувшуюся в «Литературной газете» дискуссию о «положительном герое» Никулин реагировал так:

Положительный герой  
Иметь не должен геморрой —  
Это нетипично,  
Да и неприлично.

Человек чрезвычайно умный и язвительный, Лев Вениаминович прекрасно знал цену советской литературе и большинству своих «собратьев по перу». Он говорил:

— Наши дураки так пишут пьесы о Пушкине: няня Арина Родионовна говорит поэту: «Эх, Сашенька, дожить бы тебе до того времечка, когда Владимир Ильич будет громить народников!..»

## XV

Если бы меня кто-нибудь спросил, знал ли я в течение моей жизни хоть одного настоящего русского писателя, я бы наверняка назвал имя Павла Нилина. Он был отцом моего близкого друга Александра, и я более или менее регулярно общался с ним в течение многих лет.

Это началось в те самые годы, когда к Павлу Филипповичу пришла довольно громкая слава: во времена хрущевской «оттепели» он опубликовал две повести — «Жестокость» и «Испытательный срок». Вещи эти служили наглядным и убедительным доказательством того, что с момента возникновения советской власти честность, порядочность, верность долгу стали качествами весьма нежелательными и любой человек, этими чертами наделенный, был обречен на конфликт с большевицким режимом.

Нилин почти никогда и ни с кем не говорил серьезно, в его словах постоянно звучала ирония, и не только по отношению к собеседнику, но и к себе самому. Кстати сказать, нечто подобное было свойственно Чуковскому, с которым Павел Филиппович был в приятельских отношениях — оба жили в Переделкине. Однажды они шли вдвоем вдоль лесной поляны и вдруг заметили пробегавшего хорька. Чуковский очень оживился и предложил:

— Давайте его ловить!

На это Нилин отвечал:

— Вам, Корней Иванович, уже восемьдесят лет, и вы вполне можете позволить себе ловить в лесу хорька. А я еще не достиг столь почтенного возраста и потому не могу принять в этом участия.

Бывало, заходишь к ним домой, Нилин появляется в дверях своего кабинета и объявляет:

— Я, как русский писатель, люблю отвлекаться от работы.

Звонишь к ним, и он говорит по телефону:

— Вот сижу пишу... Пытаюсь стать писателем...

Нилин был сценаристом фильма «Большая жизнь», который упоминался в печально известном постановлении ЦК партии, а режиссером этой ленты был Леонид Луков. В семидесятых, кажется, годах Павлу Филипповичу позвонил по телефону Алексей Каплер и сказал:

— На Новодевичьем кладбище установлен памятник Лукову, и мы будем его открывать. Вы с ним когда-то работали, и хотелось бы, чтобы вы пришли сказать несколько слов.

— Я не умею говорить то, что в таких случаях требуется, — отвечал ему Нилин.

— Ну и прекрасно, — продолжал настаивать Каплер, — очень хочется, чтобы прозвучало что-нибудь неординарное...

— Ну, я могу так сказать о Лукове: покойный любил только две вещи — жратву и начальство...

Словом, Павел Филиппович на открытие этого памятника не пошел.

Александр Нилин мне рассказывал:

— У нас дома раздается телефонный звонок. Отец берет трубку. Звучит женский голос: «Здравствуйте, Павел Филиппович. С вами говорит завуч шко-

лы, в которой учится ваш сын Саша...» — «А-а! Здравствуйте, Берта Абрамовна!..» А ее зовут Ревекка Борисовна... Ну мог ли я после этого приносить из школы хорошие отметки?..

У Нилиных на переделанной даче долгое время не было телефона, а потому звонить приходилось из Дома творчества писателей. Однажды, явившись туда с этой целью, Павел Филиппович застал в вестибюле Мариэтту Шагинян, которая никак не могла соединиться с нужным номером. Нилин вызвался ей помочь, и ему это сразу же удалось. Окончив свой разговор, старая писательница с благодарностью на него взглянула и спросила:

— А как тебя зовут?

— Павел, — отвечал тот.

Тогда Мариэтта повернулась к сидящей при дверях вахтерше и произнесла:

— Способный у вас этот Павел.

Старушка приняла Нилина за одного из служащих в Доме творчества.

Павел Филиппович замечательно отзывался о газете «Литература и жизнь», в которой обыкновенно печатались советские авторы второго и третьего разряда. Он говорил:

— Мне очень трудно читать эту газету. Там пишут так: «А я учился поэтическому мастерству у Сидорова и буду учиться!» А кто такой этот Сидоров и кто это пишет — мне совершенно неизвестно...

Он так поучал своего сына:

— Ты уже должен сам зарабатывать. Тебе уже пора что-нибудь в дом принести и сказать отцу: «На, старик, поешь, поклуй, потрогай руками...»

Вспоминаются мне и отдельные нилинские реплики:

— Как говорил мой знакомый сибирский мужик: «Лучше чай без сахара, чем палкой по заднице».

Или:

— Сапоги блестят, как собачьи яйца на морозе...

Насколько я могу судить, совершенно серьезно Нилин относился только к русской литературе. И в этой связи я припоминаю один существенный наш с ним разговор, который состоялся в семидесятых годах. Я показал ему несколько написанных мною рассказов, и он кое-что похвалил. В частности, ему понравилось, как я передавал там живую речь. Он мне говорил:

— Написать, что у лошади вятской породы «какой бы ни был цвет, а по спине — темный ремешок», может только человек, который очень внимательно слушает...

И еще один наш с ним разговор я хорошо запомнил.

— Значит, вы теперь православный? — спросил он.

Я это подтвердил.

— А как с напитками? Выпиваете?

— Бывает, что пью. Бывает — и не пью.

— Да, — сказал Нилин, — а вот как бы нашего Сашу тоже вовлечь в Православие...

— Павел Филиппович, — отвечал я, — если тут цель — покончить с выпивкой, то тогда лучше его вовлечь в Ислам. Это будет надежнее.

И тут он мне ничего не ответил, на этот раз я его, что называется, переродствовал.

## XVI

В конце октября 1941 года Анна Ахматова и Л. Чуковская с дочкой Люшей, племянником Женей и няней по имени Ида уезжали из Казани в Ташкент. В дневнике Лидии Корнеевны читаем:

«Посадка была трудная. Часа четыре мы сидели в полной тьме на платформе, на своих вещах, ожидая состава, который могли подать каждую минуту. Анна Андреевна все время молчала — тяжело молчала, как в тюремной очереди. Нас часто навещал Самуил Яковлевич. Видя нашу слабосильную

команду, он предложил, что внесет в вагон Женю. Ида должна была внести вещи, а я — помочь Люшеньке и Анне Андреевне. Ожидая поезда, Самуил Яковлевич ходил с Женей на руках по платформе. Я спросила Женю:

— Ты знаешь, кто это? Это — Маршак... „Пожар“, „Почта“... Ведь ты помнишь эти книги?

— Что ты, Лида, с ума сошла? — ответил мне очень отчетливо Женя. И прокартавил: — Магшак давно умег!»

Эта запись приводит меня в восторг. Выясняется, что мой старинный приятель Евгений Борисович Чуковский уже в трехлетнем возрасте проявлял характерный для него интерес и к самой литературе, и к ее истории, к тем личностям, которые книги создают.

Я уже не помню, кто именно привел на Ордынку Женю Чуковского. Скорее всего это был Саша Нилин или Илюша Петров — его товарищи по Переделкину. Но он в нашей компании появился и пришелся ко двору.

Его отец погиб во время войны, и он вырос в доме деда Корнея Ивановича и бабки Марии Борисовны, которые жили в писательском поселке. В Переделкине о Жене ходили легенды. Лет с двенадцати он великолепно водил мотоцикл, а с четырнадцати и автомобиль. (Корней Иванович разрешал внуку ездить на своей «Победе».)

Разумеется, водительских прав у Жени в те годы быть не могло, и езда происходила лишь по аллеям писательского городка. Но даже в те времена у него возникали конфликты с милицией, и весьма острые, поскольку поймать юного лихача было практически невозможно — он с детства знал все проулки и все лесные дороги...

Свои автомобильные приключения Женя облакал в форму занимательных историй. И, помнится, мой отец даже пародировал эти устные новеллы: кроме самого рассказчика там обязательно участвовали еще два персонажа — «Дед» и «милиционер» и кто-то кому-то непременно ударял «по морде»...

Существовала и другая пародия — на речь Корнея Ивановича. Тут с характерными интонациями Чуковского произносилось:

— Женя, весь грязный, на мотоциклете...

Вот, например, один из трюков, которым он пугал переделкинских водителей. Вообразите себе: по дороге быстро движется автомобиль, а из левого переднего окна свисает голова и руки шофера — как видно, он потерял сознание (на самом деле машиной управляет другой человек).

Я до сих пор помню, как Женя цитировал нам замечательное место из тогдашнего пособия для автолюбителей:

«Дорожные происшествия делятся на две категории: аварии и катастрофы. Авария — это такое происшествие, после которого водитель остается жив, а во время катастрофы он погибает.

Если с вами случилось дорожное происшествие, прежде всего убедитесь — авария это или катастрофа».

У Жени было изумительное чувство языка, безусловно унаследованное от Корнея Ивановича. Я вспоминаю его юношеское рассуждение о многозначительности русского глагола «лупить»:

— Ведь можно сказать не только «мать лупит ребенка», но и «это ружье еще как лупит»... Или «машина лупит по шоссе»... Это вроде английского глагола to get, который имеет уйму разных значений...

Корней Иванович внушил внуку любовь к поэзии Некрасова, и в этой связи мне вспоминается вот что. Как известно, электрички в Переделкино уходят с Киевского вокзала... И вот Женя заметил, что названия железнодорожных станций ритмически повторяют известное место из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

У Некрасова:

Заплатово, Дырявино,  
Разутово, Знобишино,  
Горелово, Неелово,  
Неурожайка тож.

А вот остановки по Киевской дороге:

Аэропорт, Апрелевка,  
Алабино, Селятино,  
Рассудово, Бекасово,  
Зосимова Пустынь.

Женю отличала и наследственная любовь к Чехову. Как известно, один из героев этого писателя, мальчик Ванька Жуков, послал письмо своему деду, а адрес на конверте вывел такой: «*На деревню дедушке*». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».

В отроческом возрасте мой приятель Евгений Борисович подверг советское почтовое ведомство своеобразному испытанию: он опустил в ящик письмо с таким адресом:

«На деревню дедушке, Корнею Ивановичу».

А поскольку популярность Чуковского была велика, конверт был доставлен адресату в «деревню» Переделкино.

Женя — мой ровесник, родился в 1937 году. И по этому поводу он в юности сочинил стихотворение, по форме это была «онегинская строфа». К сожалению, я запомнил лишь начало:

Итак, родился наш Евгений —  
Увы! — в тот самый страшный год,  
Когда из лучших побуждений  
Пересажали весь народ.

В те далекие времена за Женей никто из взрослых толком не следил, а потому выглядел он не лучшим образом. Грязные сатиновые штаны, нестираная ковбойка, обувь на босу ногу... Руки вечно в машинном масле, голова нечесаная... Но ни он сам, ни мы, его товарищи, не придавали этому ровно никакого значения.

Однажды у Жени был примечательный разговор с Матильдой Иосифовной, матерью нашего товарища Саши Нилина. Она посоветовала:

— Ну нельзя так ходить... Приведи себя в порядок!

На это он отвечал с характерным для его речи рокотанием:

— Хогошо Гульке, у него любовница пагикмахегша!

(«Гулькой» называли его двоюродного брата, сына Николая Корнеевича Чуковского.)

— Женя! — сказала Сашина мама. — Тебе уже нужна любовница-банщица!

В те годы он производил впечатление недокормленного. При невысоком росте и худобе Женя обладал феноменальным аппетитом. А когда мы заходили в знаменитый ресторан «Арагви», он прежде всего заказывал свое любимое десертное блюдо:

— Одно гляссе сгазу, другое потом!

Женя был очень одаренным человеком. С одной стороны, живой интерес к поэзии и литературе, а с другой — к мотоциклам, машинам, радиоприемникам, фотоаппаратам... Его умению обращаться с автомобилем мог позавидовать профессиональный механик. Но и на старуху бывает проруха, иначе никак не объяснишь драматическую историю, которая произошла с ним в середине пятидесятых годов.

В переделкинском доме Корнея Ивановича на веранде завелись осы. Они пугали, а то и жалили и домочадцев, и посетителей. И вот Женя решил ликвидировать осиное гнездо. Он поставил стул на стол, взобрался на высоту и взорвал какой-то заряд... Веранду заволокло дымом, а когда он рассеялся, все увидели, что осы летают как ни в чем не бывало, а у Жени правая рука висит плетью...

Травма оказалась очень серьезной, и ему пришлось долгое время провести в Пироговской больнице. Но Женя там времени даром не терял, а обдумывал,

каким еще способом можно уничтожить осиное гнездо на веранде. И вот настал долгожданный день. Выписавшись из больницы, он прибыл в Переделкино, сейчас же схватил стремянку и пылесос, включил его, а шланг приставил к тому отверстию, откуда осы вылетали... И в течение получаса все насекомые были втянуты в резервуар для пыли. А вслед за ними туда же последовало содержимое пакетика с отравой...

Женя самым первым из нас вступил в брак. Он влюбился в сестру нашего приятеля Максима Шостаковича — Галю, и они поженились. Я вспоминаю, как, обустроивая «семейное гнездышко», он искал в московских магазинах «полутогную кговать»...

В последующие годы я с ним общался нечасто. Юность миновала, каждый из нас обрел профессию, и у всех приятелей жизнь пошла по-своему. Женя работал кинооператором на студии документальных фильмов, у них с Галей родилось двое сыновей... Жили они по большей части в Жуковке, на даче Д. Д. Шостаковича...

В первой половине шестидесятых годов, до своего бегства из страны, в том же поселке жила Светлана Аллилуева. При очередной встрече Женя рассказал мне, как по одной из улиц в Жуковке бежала дворничиха и громко кричала:

— Сталиных обокрали!.. Сталиных обокрали!..

Полагаю, из всех соседей лишь Женя с его обостренным чувством языка понял всю несообразность этого крика. В нашей стране эта фамилия не могла, да и не может звучать во множественном числе: «товарищ Сталин» — один, единственный, неповторимый...

Шли годы, и вот в 1990-м мне стало известно, что брак моего приятеля и Гали Шостакович распался... Эта новость меня огорчила, я-то помнил их молодыми, влюбленными друг в дружку...

В 1991 году Женя перешел работать на телевидение, он стал оператором в популярной программе «Вести».

Наши с ним относительно регулярные встречи возобновились в 1994 году. Я тогда впервые побывал в Америке и там общался с Максимом Шостаковичем, который передал мне письмо, адресованное Жене. Когда я вернулся в Москву, он заехал ко мне, и я с радостью отметил, что мой старый приятель почти не переменился. Одет он был, как всегда, небрежно, на руках следы машинного масла... Только голова стала седая.

К этому времени у меня было несколько журнальных публикаций, а в 1995 году вышла первая книга. Женя все это прочел и сделал дельные замечания. В свою очередь он мне показал несколько своих сочинений, которые мне понравились.

23 ноября 1997 года ему исполнилось шестьдесят. Это событие было отмечено в телекомпании, где он работал, — состоялся банкет, ему вручали подарки. Женю там очень ценили, ибо в обществе обыкновенных телевизионных дикарей его ум и образованность были совершенно уникальными.

Он не жаловался на свое здоровье, говорил:

— Вот я встаю утром, и у меня никогда ничего не болит. В моем возрасте это подозрительно...

Но через две недели после того, как Женя отметил свое шестидесятилетие, поздним вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал голос плачущего Максима Шостаковича:

— Женька Чуковский умер...

Как гром среди ясного неба... Потом мне стали известны некоторые подробности. В тот день Женя был у себя на телевидении, провел, как положено, выпуск новостей. Окончив работу, он по своему обыкновению выпил водки и прилег отдохнуть на диван. И как мне говорил один из его сотрудников:

— Мы не обратили внимания, что храп перешел в хрип...

Его хотели похоронить рядом с могилами любимых им деда Корнея Ивановича и бабки Марии Борисовны, но это не удалось, и старший Женин сын

Андрей за высокую цену купил новое место на том же кладбище, так что наш приятель упокоился в своем любимом Переделкине, где провел счастливейшие годы.

На похоронах его было множество народа, а на поминках не было конца рассказам о его удивительной доброте, об отзывчивости, об экстравагантности его поступков... В те дни я много думал о нем, о том, как он прожил свою нелегкую жизнь. Вечно от него кто-то отказывался, все время он становился кому-то не нужен. Сначала это была родная мать, она отдала Женю деду и бабушке. Затем его соседством стала тяготиться тетка... В 1990 году от него избавилась Галя Шостакович... И только вторая жена Ирина по-настоящему полюбила и оценила его...

Я очень жалею, что из-за обычной житейской суеты мы с ним так мало общались. Но мне в особенности запомнился один вечер, который мы провели с ним вдвоем на кухне в моей квартире. Выпивали, болтали... Говорили о русской поэзии. Я поделился с ним своим давним замыслом — составить две антологии. Первая — «Певец во стане русской пьяни». А вторая такая: стихи Анны Буниной, Каролины Павловой, Анны Радловой, Вероники Тушновой и т. д. А название — «Бабья Лета».

К крайнему удивлению своему я выяснил, что он даже не слышал фамилии самого любимого мною современного поэта — Тимура Кибирова. Тогда я снял с полки томик стихов и прочел ему несколько мест из поэмы «Сквозь прощальные слезы»:

Вот, гляди-ка ты — два капитана  
За столом засиделись в ночи.  
И один угрожает наганом,  
А второй трети сутки молчит.  
Капитан, капитан, улыбнитесь!  
Гражданин капитан! Пошади!  
Распишитесь вот тут. Распишитесь!!  
Собирайся. Пошады не жди...

Женя был буквально ошарашен. Он попросил у меня книгу Кибирова на несколько дней, чтобы сделать себе копию, и сказал:

— Через два дня я буду все это знать наизусть.

Он сохранил свою феноменальную память.

В тот вечер он много рассказывал о себе, о своих путешествиях. Мне запомнились две истории.

Женя рассказывал о прогулке по Нью-Йорку в обществе своего старшего сына Андрея и племянника его первой жены Мити Шостаковича:

— Я им внушал: в современном Нью-Йорке нельзя говорить по-русски в расчете на то, что окружающие тебя не понимают. Здесь теперь очень много наших соотечественников... А мы в это время шли в гости к художнику Льву Збарскому. Нам было известно, что дом, в котором он живет, заселен главным образом выходцами из Латинской Америки. Мы вошли в просторный лифт, где кроме нас оказалось еще человек десять. В их числе, как нам показалось, две молодые латиноамериканки. И как только лифт тронулся, одна из них сказала другой: «Надька, б..., так ссать хочу, прямо умираю!..»

А еще Женя вспоминал свою поездку в Брайтон, где был в гостях у Татьяны Максимовны Литвиновой. Он передал мне ее рассказ:

— Мы с Корнеем Ивановичем делали совместную работу для Детгиза. Было это в те дни, когда Солженицына исключали из Союза писателей. Кабинет Корнея Ивановича находится на втором этаже, и оттуда прекрасно видны соседние дачи... А в это самое время несколько писателей ходили из дома в дом, чтобы собирать подписи на письме с осуждением Солженицына. Разумеется, я об этом не подозревала, а Корней Иванович все знал и между делом следил за передвижениями этой группы... Мы продолжали свои занятия, но в какой-то момент Чуковский мне сказал: «Таня, сейчас, что бы ни произошло, что бы вы ни услышали, нисколько не удивляйтесь...» Буквально через три

минуты внизу послышался звонок, и домашняя работница открыла дверь. В этот момент Чуковский выскочил на лестницу и страшным голосом завопил: «Какая сволочь меня разбудила?! Я не спал всю ночь! Я только что задремал!.. Гнать в шею! Гнать в шею!.. Всех гнать в шею!..» Было слышно, как хлопнула входная дверь, и незадачливые сборщики подписей в смущении удалились. А Корней Иванович преспокойно уселся в свое кресло за столом и сказал: «Итак, на чем мы остановились?»

## XVII

Анатолий Генрихович Найман, пожалуй, единственный человек, к которому я в течение жизни дважды совершенно изменил свое отношение. По первости, когда он только появился на Ордынке в качестве гостя Ахматовой, мы отнеслись к нему насмешливо. Ему было свойственно высокомерие, расчетливость, умение беречь свои деньги — то есть такие качества, которые вызывали презрение у меня и у моих приятелей. К тому же он был, что называется, «дамский угодник».

Тогда же, в середине шестидесятых, я дал ему такую характеристику: «Толя — человек, которому свойственны решительно все достоинства, но и все пороки еврейского народа». Я и теперь не отрекаюсь от этого суждения, ибо с течением лет с ним происходили такие метаморфозы, которые приводили лишь к изменению соотношений все тех же положительных и отрицательных иудейских качеств.

В первые годы нашего знакомства я непрерывно подтрунивал над Найманом. Шутки мои зачастую были грубоватыми, а порой и жестокими... Помнится, он сидел в столовой на Ордынке и исправлял опечатки в машинописных экземплярах своей пьесы для театра. Настроение у него было превосходное, он что-то напевал себе под нос и норовил поскорее окончить правку — ему предстояло любовное свидание.

Я молча наблюдал за ним, а потом произнес:

— И жид торопится, и чувствовать спешит...

А жестокая шутка была такая. Толя на некоторое время уехал в Ленинград к своей жене, которая носила имя Эра. В эти самые дни одна из моих родственниц также отправлялась к «брегам Невы», и я отправил с нею посылку для Наймана. Это был изящный сверток, внутри которого содержалась пачка стирального порошка «Эра» и записка следующего содержания:

«Анатолию Генриховичу Найману —

от благодарных московских девиц и дам».

И притом он, бедняга, чтобы такое получить, проделал путь на другой конец города...

В шестидесятые годы Найман часто посещал ипподром, а также увлекся игрою в кости. Я говорил ему:

— Про вас надо писать работу с таким названием: «Азарт as art».

Но я помню и то, как он впервые поразил меня неординарностью своего суждения. На Ордынке появился самиздатовский экземпляр «Собачьего сердца». Мы его вырывали друг у друга, смеялись, непрерывно цитировали... Наконец Булгаковская повесть попала и в руки к Найману. Он тоже веселился, а потом вдруг совершенно серьезно сказал:

— А как же все-таки Преображенский и Борменталь решились убить этого человека?..

— Какого человека? — удивился я.

— Шарикова, — отвечал он.

И вдруг мне стало как-то стыдно — и не за этих литературных героев, а за Булгакова и за самого себя, поскольку мне не пришло в голову то, о чем сказал Найман.

Наше с ним сближение, за которым последовало двадцать с лишним лет довольно близкой дружбы, случилось летом 1964 года. Мы оба гостили у Ах-

матовой в Комарове. В ее «Будке» было очень тесно, но пустовал соседний домик, и нам разрешили в нем поселиться. Там даже мебели не было, и мы спали на полу.

Именно тогда в Комарове я вполне оценил Наймана как человека умного и наблюдательного, блистательного собеседника и изумительного рассказчика. Кроме того, я полюбил его тогдашние стихи, некоторые из них я и по сей пору помню.

Уже в девяностых годах я с удовольствием читал в журнале «Октябрь» куски из «Славного конца бесславных поколений», почти все мне было знакомо. И я попутно вспоминал, как мы с Найманом гуляли в комаровском лесу или ходили за водкой в пристанционный магазин.

В молодости он отличался красотой, на лице его отражались и ум, и живость. А голова у него была иссиня-черная, Ахматова однажды сказала ему:

— У мальчиков Ардовых еще волосы, а у вас — шерсть молодого здорового животного.

С его волосами была связана забавная новелла. Толя рассказывал, как в юности отобрал у своей мамы белый берет, выкрасил его в черный цвет и стал носить. Однажды он гулял с девушкой по улицам осеннего Ленинграда. Шел мелкий дождик.

— Какие у вас волосы красивые, — сказала его спутница.

— Я их крашу, — пошутил Найман.

Через некоторое время она посмотрела на его лицо и воскликнула:

— Ой, они линяют!

— Кто — они? — не понял Толя.

— Волосы...

И действительно, по его щеке текла черная струйка, но причиной тому был покрашенный мамин берет...

Я вспоминаю, как Толя вернулся из Норинского, от ссыльного Бродского. Он нам пел на мотив известного марша — из фильма «Мост через реку Квай» — строки, которые они вместе с Иосифом сочинили:

Сталин, вы наш отец родной!  
Сталин, мы плачем всей страной!  
Сталин — горюет Таллин,  
Рыдает Рига и плачет Ханой!  
Сталин — поникли усы,  
Лесозащитной уж нет полосы...

И шутил Найман блистательно. Ахматова часто повторяла его остроу:

— Я не ревную — мне просто противно.

После смерти Анны Андреевны мы с ним еще более сблизились, этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, он крестился, а во-вторых, мы оба подружились с многодетным семейством Станислава Красовицкого, который, кстати сказать, и стал крестным отцом Толи.

В 1969 году Найман женился на Гале Наринской и переехал в Москву. Сначала они поселились в маленькой комнате на Мясницкой вместе с Галиными матерью и маленькой дочкой Аней. С регистрацией их брака связана целая история. В те дни Толя жил в Малеевке, ему раздобыли путевку в писательский дом, и он там выполнял какую-то переводческую работу. В назначенный для посещения загса день он прибыл в Москву и застал Галю с температурой, у нее была очень сильная простуда. Но ради такого события она оделась потеплее, и они отправились... И тут выяснилось, что их брак зарегистрировать невозможно — Толя оставил свой паспорт в Малеевке, в кармане другого пиджака...

Я помню, как Найман повествовал об этом, а закончил он так:

— Вот еще почему нельзя иметь две одежды...

Как известно, Сергей Довлатов сравнил Наймана и его первую жену Эру с двумя собачками — тойтерьерами. Что же касается второго брака Толи, то они

с Галей похожи на двух попугайчиков, которых называют «неразлучниками». Их всегдашнее единодушие и единомыслие, сплоченность их семьи были весьма привлекательными.

Мне частенько вспоминаются наши с Найманом бесконечные разговоры, его блистательные реплики, шутки... Помню, мы говорили о том, что во всех городах страны стали устраивать так называемый «вечный огонь»...

— Зато теперь разрешена проблема *perpetuum mobile*. Это — паровой котел на «вечном огне», — сказал Найман.

В ноябре 1982 года, в тот день, когда должны были объявить о смерти Леонида Брежнева, мы с ним были за городом, у Красовицкого. Уже вторые сутки по радио передавали лишь классическую музыку, и всем все было ясно, но официального сообщения нет и нет. Небольшой компанией мы уселись за стол, кто-то сказал:

— Я сегодня пить не буду.

Найман говорит:

— Ну, ein Tropfen<sup>1</sup>.

И ведь как в воду глядел — преемником Брежнева стал именно Андропов.

В те дни, когда разразился скандал, связанный с выходом в свет альманаха «Метрополь», у нас с Найманом был такой разговор. Я ему говорю:

— Им можно было бы предложить эпиграф из «Медного всадника»: «И всплыл Метрополь, как тритон».

— Нет, — отвечает Найман. — Поскольку слово «Петрополь» искажено, следует еще немного поуродовать строчку...

И в окончательном виде это звучало так: «И всплыл Метрополь, как тритон».

Когда началась гласность, газета «Московский комсомолец» впервые напечатала статью о лесбиянках и их проблемах. Я рассказал об этой публикации Найману. Он меня выслушал и говорит:

— Хочется назвать эту газету «Московская комсомолка».

Охлаждение в наших с Найманом отношениях произошло по двум причинам. Первая из них — то обстоятельство, что я стал священником. Это ставило меня в некое привилегированное положение. Вторая причина нашего расхождения гораздо более существенна. Найман с самого начала стремился сочетать христианскую веру с беззаветной любовью к светскому искусству и изящной словесности. А кроме того, он хотел ощущать и даже культивировать свою этническую принадлежность к еврейству. В Православии подлинным, строгом, к каковому причисляли себя и я, и Красовицкий, все это — невозможно. И тогда Найман стал поглядывать в сторону либеральную, обратился к псевдоправославию, а там такие вещи не только вполне допустимы, но даже и в какой-то мере поощряются.

Что же касается литературы, то в этой области наши с Найманом отношения складывались своеобразно. Все, что писал Толя, я хвалил, а он мои опусы всегда критиковал... Помнится, дал он мне читать свои «Рассказы о Анне Ахматовой». Мне эта вещь понравилась, но я сделал несколько мелких, совершенно конкретных замечаний. Ну, например, о Льве Евгеньевиче Аренсе там написано: «В свое время был репрессирован и на слова следователя: „Как же вы, просвещенный человек, и в Бога веруете?“ — ответил: „Потому и просвещенный, что верую”».

Я Найману сказал:

— Этот разговор был не со следователем, а на заседании кафедры, где Лев Евгеньевич работал. И ответил он точнее: «Потому и верую, что просвещенный». Ведь в первоначальном смысле слово «просвещение» — синоним «крещения».

---

<sup>1</sup> Одну каплю (нем.).

Толя на секунду задумался и произнес:

— Разговор со следователем — эффектнее...

Словом, он не принял ни одного из моих замечаний.

В 1990 году я закончил «Мелочи архи... прото... и просто иерейской жизни» и тогда же показал рукопись Найману. И он опять разнес меня в пух и прах: дескать, это поношение Церкви, сплошной соблазн для верующих и т. д. и т. п. Но я был к этому готов и ответил ему:

— В вас говорит не что иное, как ханжество. Юмор всегда был свойствен здоровой церковной среде, его не чуждались даже величайшие подвижники — Антоний Великий и Серафим Саровский. И как священник я рекомендую вам на ближайшей исповеди поговорить на эту тему с вашим духовником, поскольку ханжество — очень серьезный грех.

Разумеется, этот разговор теплоты в наших отношениях не прибавил.

Последняя наша с Найманом дружеская встреча состоялась весной 1994 года в Вашингтоне. Он преподавал в Кеннановском институте и был прихожанином церкви Святого Иоанна Предтечи, в которой мне довелось послужить. Толя сам предложил прогулку по городу и показывал мне тамошние достопримечательности. Возле памятника Аврааму Линкольну есть доска, на которой выбиты слова из знаменитой его речи. Я, помнится, высказал желание, чтобы там выставили и 51-е правило VI Вселенского собора, запрещающее христианам посещать зрелища. Ведь если бы Линкольн не ходил в театр, быть может, умер бы своей смертью...

А еще я помню, как мы стояли у памятника Альберту Эйнштейну. Мне статуя не понравилась, в ней скульптор демонстрирует какую-то нарочитую небрежность. По сему поводу я вспомнил телефонный разговор Эйнштейна с Соломоном Михоэлсом, приехавшим в Америку. Было это в разгар войны, и в Штатах существовали какие-то ограничения на автомобильные поездки. И вот, приглашая собеседника к себе в Принстон, Эйнштейн говорил:

— Если спросят: вы едете по делу или ради удовольствия, скажите, что по делу. Ибо какое же это удовольствие — видеть старого еврея...

А самая последняя — мимолетная — встреча моя с Найманом была в редакции «Нового мира» летом 1997 года. При виде меня он смутился, я как бы застал его на месте преступления: в журнале готовилась публикация его пасквиля «Б. Б. и др.»<sup>2</sup>, а там и я не обойден его мстительным вниманием.

Когда я думаю о Наймане, меня охватывают и грусть, и жалость. Ведь в свое время он совершенно искренне уверовал во Христа и устремился в Церковь, а в своем «Славном конце бесславных поколений» дошел до такого кредо:

«Верю, что зато со мной что-то случится хорошее и, наоборот, не случится плохого. И вообще что-то случится не *случайное*, а потому, что я *такой*. Какой? Ну, другой, не такой, и родители у меня другие, и рост, и сила, и мысли, и дальше будет все особенное, исключительно мое. Я так родился, так задуман, отдельно от всех и хоть немного, но ни на кого не похож, и на этом основании верю, что так, сколько-то не похож и отдельно, буду жить всю жизнь. Потому, стало быть, что обо мне есть пусть крохотный, но специальный замысел, план: чтобы я был именно я — я в это верю».

Помните Евангелие? «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди...» (Лк. 18: 11).

Ахматова как-то сказала об одном из подобных эгоцентриков:

— Рухнул в самого себя.

А еще я вспоминаю наш с нею давний разговор о Наймане, которого она так любила. Анна Андреевна произнесла:

— Трагическая вырабатывается фигурка.

<sup>2</sup> Роман А. Наймана «Б. Б. и др.» опубликован в «Новом мире», 1997, № 10 и удостоен премии журнала как одно из лучших прозаических произведений года. Редакция не разделяет приведенной здесь оценки романа. (Примеч. ред.)

(Она сказала именно «фигурка», что было особенно точно по отношению к subtilному в те годы Найману.)

И вот можно считать, эта «фигурка» окончательно «выработалась»... Да и трагедия налицо. Помогите ему, Господи, бедному...

## XVIII

Из числа великого множества людей, которых мне довелось знать в течение моей жизни, мало кого я вспоминаю так часто, как столяра Семена Марковича. Когда я познакомился с ним, ему было уже за семьдесят, но он отличался отменным здоровьем и усердно работал — реставрировал старинную мебель. Сначала его пригласил к себе мой старший брат Алексей Баталов, а от него Семен Маркович перешел ко мне.

Родом наш столяр был с Украины, из местечка под названием, если не ошибаюсь, Шепетовка. Вырос он в многодетной еврейской семье. Его отец был чем-то вроде местного цадика, и фамилию этот человек носил соответствующую — Хусид. Кстати сказать, именно своему отцу Семен Маркович был обязан тем, что в нем начисто отсутствовала всякая религиозность. До смерти своей он не мог забыть жуткого происшествия, которое случилось в их семье. Отец стоял на молитве, а в это время совсем маленький ребенок опрокинул на себя ведро с кипящей водой. Можно себе представить, что тут началось в их нищенской хибарке — как закричала мать, как заголосили прочие дети... Но отец даже головы не повернул, он продолжал свою молитву. И Семен Маркович признавался мне, что с той самой поры обрел стойкое неприятие какой бы то ни было религии.

Впрочем, раз в год он посещал синагогу, чтобы получить там мацу. Но она была ему потребна исключительно для кулинарных целей. И что было особенно забавно, свою мацу старик получал вне очереди — он был участником войны, а такие люди в советские времена пользовались известными привилегиями даже в синагоге.

Я хорошо помню, как познакомился с Семеном Марковичем. Это было в начале семидесятых годов. В те дни одна из комнат в квартире моего старшего брата была превращена в столярную мастерскую, и старик хозяйничал там со своими стамесками, рубанками, пахучим клеем... Как-то я зашел к брату, мы с ним обменивались новостями, шутили... Столяр смеялся вместе с нами, а потом сказал мне:

— Вчера я был в гостях у моего племянника. Он — такой же балагур, как вы... Только он — заика.

Семен Маркович был истинный мудрец, он знал о людях и о жизни решительно все. Наблюдения у него бывали замечательные, он говорил:

— Вот они выкинули лозунг «Больше товаров народу!» — сразу же из магазинов все исчезло.

На эту же тему у него был такой рассказ:

— Я помню, у нас в Шепетовке был один «нэпманщик». И вот году в двадцать девятом он нам говорил: «Пока еще советская торговля не вполне развилась... Подождите еще немного времени, и в ихних магазинах каждый продавец будет обслуживать сто покупателей в минуту». Мы его спрашиваем: «Как же это может быть?» А он нам отвечает: «Очень просто. Продавец будет всем говорить: „Этого — нет!.. Этого — нет!.. Этого — нет!“ И откуда он мог знать такое в тысяча девятьсот двадцать девятом году?»

И еще он говорил:

— У моего племянника есть сын Петькэ... Он уже вырос, уже большой... И вот он хочет воровать... Так мальчик хочет воровать, но он не может, не умеет...

Семен Маркович очень любил свою жену, прожил с ней более полувека. Но она заболела раком и вскоре умерла. Старик перенес этот удар, хотя очень грустил о своей верной подруге.

Несколько лет спустя он сам скончался от злокачественной опухоли. Смертельную болезнь свою он переносил с необыкновенным мужеством. Достаточно сказать, что не от него скрывали страшный диагноз, а он не сообщал об этом своим близким, дабы их не расстраивать...

Но вернемся к его вдовству. Через некоторое время после смерти жены он стал подумывать о новом браке. С этой целью его время от времени знакомили с немолодыми еврейскими женщинами. Однако же не нашлось ни одной, которая бы его вполне устроила.

Как-то мы спросили его:

— Отчего вы хотите жениться именно на еврейке? Быть может, стоит поискать среди русских?

Но старик категорически отверг такой вариант:

— Нет, на русской никак нельзя жениться.

— Почему?

— Русская баба когда-нибудь обязательно напьется и будет плясать под фонарем.

Семен Маркович обожал своего взрослого сына. Тот был вполне благополучным инженером, жил с женою неподалеку от Москвы. Но вот сноху свою старик терпеть не мог, по-видимому из чувства ревности. Сына он ласково называл «Мусенькэ», а ее презрительно — «Манькэ».

В самом начале нашего знакомства я осведомился у Семена Марковича, есть ли у него внуки.

— У «Манькэ» — дети? — переспросил он. — Какие дети? Какое рожать? Хорошо, что она еще срать умеет!

Он был столяром высокого класса, но притом ему было свойственно разумное, уважительное отношение к любому труду. Он говорил:

— Вы мне платите деньги, и я буду делать все, что вы мне скажете. Хотите — буду мыть пол, хотите — стирать белье...

Когда мы с женой получили новую квартиру, Семен Маркович помогал нам, так сказать, осваивать ее. Он ликвидировал недоделки, подгонял оконные рамы и т. д. Когда он взялся за входную дверь, обнаружилось, что шурупы, на которых держатся петли, не вкручены, а забиты — как гвозди.

— Да, — сказал Семен Маркович, — отвертки у них были плохие. Молотки у них были хорошие.

Я, бывало, говорил ему:

— Надо решить, какой высоты делать этот стеллаж... — Или: — Надо подумать, как крепить полки в стенном шкафу...

И старик всякий раз отвечал:

— Нет, думать не будем. Работа покажет...

И вот с течением лет я все более и более ценю этот принцип. Я уже давно руководствуюсь им в своих делах, даже в писательском ремесле. Если есть у тебя какой-то навык — «работа покажет», она все «показывает». Ведь «безбожник» Семен Маркович по-своему сформулировал тот самый принцип, которому научает нас Святое Евангелие (Мтф. 6: 34):

«ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ ЗЛОБА ЕГО».



---

---

МАКСИМ АМЕЛИН



**ВЕСЕЛАЯ НАУКА,**  
*или*  
**ПОДЛИННАЯ ПОВЕСТЬ О ЗНАМЕНИТОМ БРЮСЕ,**  
переложенная стихами со слов нескольких очевидцев

Всем о тебе поведать нужен настрой особый, —  
Музы одной не хватит, даже девятки Муз  
было бы маловато, но — собери попробуй —  
разбрелись, разбежались, — удивительный Брюс! —

Не святой, не властитель, не разбойник, не воин, —  
в чем же твои заслуги? — житие каково? —  
кто же ты, что по праву вечности удостоен? —  
Разве слепая жница — смерть — обошла кого? —

О! про тебя словечко молвить неосторожно  
вслух, тем более повесть целую расписать  
боязно, потому что и поплатиться можно  
головой неразумной запросто. — Время! вспять

двигнись. — Гнедую пару-тройку лихих столетий  
запрягай-ка — да в Питер-бурх на Неве-реке  
широкошумной. — Правит бал не второй, не третий  
Петр: вся держава в правой, скипетр в левой руке,

на голове корона. — Весь — натюрморт, персоной  
собственной восседает гордо на троне он,  
туркам грозя и шведам пальцем, России сонной  
перебить замышляя сладкотягучий сон.

Служит ему исправно Брюс: например, погоды  
все перемены знает в точности наперед,  
предрекает по звездам всех сражений исходы, —  
и без Брюса не ходит Петр ни в один поход:

где там стоять пехоте, пушкам палить куда там. —  
Надобно — остановит солнца по кругу бег,  
может в глаза тумана напустить супостатам, —  
среди июльского зноя вызвать январский снег, —

на море сделать бурю, — вражеский флот пожаром  
испепелить внезапно, свергнув огонь с небес. —

Вступление. — Сетования по поводу несвоевременной отлучки всех известных Муз. — Объявление имени героя. — Попытка определить его отличие от противного. — Осознание опасности для повествователя, могущей постигнуть его в продолжение повести. — Призвание времени.

Смелый приступ к предмету. — Первоначальное место действия. — Парадный портрет Петра Первого. — Его тайные мысли.

Появление главного героя, именуемого Брюсом. — Его деловые и практические качества, проявленные им во время войны.

---

Амелин Максим Альбертович родился в 1970 году в Курске. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Лауреат премии нашего журнала и его постоянный автор. Лауреат премии Антибукер. Автор книги стихов «Холодные оды». Новая поэтическая книга готовится в издательстве «ИНА-пресс». Живет в Москве.

Словом, Петру победы все доставались даром, —  
с Брюсом у силы русской видимый перевес. —

А в промежутках между войнами Брюс орешки  
гречские знаний книжных не устаёт колотить,  
наблюдая паденье яблок, орла и решки. —  
То призывает разум, дабы душа и плоть

прение прекратили; то замирает перед  
дальновидным подзором, острый вперья взгляд  
в россыпь созвездий вещей; то поминутно мерит,  
заново размечая вечности циферблат,

время. — Но шумных пиршеств он не любил. —

Однажды  
гул ассамблеи пьяной, танцы для живота —  
жарко! — «Воды бы! море, — умирая от жажды, —  
выпил бы», — Брюса просит царь, — и пошла вода,

потекла водопадом с лестниц, по коридорам  
бурным потоком, в щели пола и потолка, —  
все закричали криком, все заорали ором:  
«Из берегов гранитных вышла Нева-река!» —

«Наводнение!» — Гости испугались потопа,  
дамы задрали юбки, на столы повскакав, —  
срамотою сверкает Азия и Европа. —  
Вынул из пола пробку Брюс, засучив рукав,

вынул — и стало сѹхо. — Больно скучна потеха  
царская: вот водою он возьми да ошпарь  
всех ледяной, студеной, — содрогаясь от смеха,  
заливается звонко. — Грозен и мрачен царь —

набок сползла корона. — К царскому взвилась уху  
свита, — ох, не по нраву Брюсовы чудеса. —  
«Вон из столицы новой в старую, чтобы духу...» —  
Петр не успел домолвить. — За полтора часа

Брюс до Москвы добрался цел, невредим. —

Вдогонюк  
кинулись — не догнали. — Ибо в запрошлый год  
он из стальных и медных планок и шестеренок,  
скреп и пружин составил аероветролет, —

новенький и блестящий, под дождем и под градом  
долго стоял Дворцовой площади он, пылясь,  
по середине ровно — царским мешал парадом.  
«Что за штука такая здесь собирает грязь?» —

вопросили, — ан вот что вышло. — А все наука, —  
Брюс не в России, точно, выучился всему,  
впрочем, никто не знает, подлинно ли? А ну-ка  
разбери после стольких лет. Говорят, уму

Мирные подвиги  
Брюса, его великие  
открытия: закон  
всемирного тяготения,  
теория вероятно-  
стей. — Философские  
размышления. —  
Астрономические  
наблюдения.

Презрение Брюса к  
необузданным удо-  
вольствиям. — Необы-  
чайный случай во  
время безудержного  
разгула, а именно:  
мнимое наводнение.

Неблагоприятное для  
Брюса следствие:  
ссора с Петром.

Вынужденный по-  
бег. — Путешествие из  
Петербурга в Моск-  
ву. — Описание  
летательного устрой-  
ства Брюса.

Восхищение необыч-  
ными способностями  
Брюса. — Попытка  
объяснить их проис-

он и природе только собственным благодарен:  
необычайным даром Бог наделил его, —  
потому-то и случилось, что не мужик, не барин,  
но человек обычный стал пытаться естество:

хождение Божествен-  
ным промыслом. —  
Рассуждение в защиту  
Веры.

переплавлять в горниле пламенном, точной мерой  
измерять кропотливо, взвешивать на весах, —  
по всему и выходит: сомневайся, но веруй. —  
А пока что в московских кружится небесах

Брюс на своем ретивом аероветролете,  
солнце застеневая, — уже за кругом круг, —  
ниже, — гудят моторы, скорый конец работе  
предвкушая, — и смолкли неожиданно, вдруг.

Мягкая посадка Брюса  
на Сухаревской  
площади в Москве,  
месте последующего  
действия. — Народ  
приветствует Брюса.

Сухаревская площадь: башня — как на ладони  
перевернутый кубок, — валом валит народ  
сонные зенки пялить. Шум, суматоха, кони  
бьются, храпят в испуге, — горе наоборот.

В колокола колотят. — Долго не выбирая,  
башню Брюс, что скворешню облюбывал скворец.  
Вот неделя проходит, пролетает вторая,  
третья течет неспешно, — протекла наконец.

Выбор будущего места  
жительства.

Трудно составить полный список его занятий,  
дел великих и малых перечень за такой  
срок, — бумаги не хватит, ни замков, ни печатей,  
чтобы хранить в архиве, — вреден ему покой.

Начало точного  
перечня разнообраз-  
ных занятий Брюса.

Брюс по столам расставил пузырьки да подзоры  
и распихал по полкам тыщи тяжелых книг,  
карт, чертежей и планов переворочал горы, —  
ногу поставить негде, но разобраться в них

Создание порядка из  
хаоса для начала  
работы.

некому, кроме Брюса. — Вот алфавит вселенной  
перелагает с тара-барского языка,  
брови насупя, — ради пользы, не славы брэнной  
для изводить чернила не устает рука

Перевод астрономи-  
ческого календаря.

правая: пишет, пишет непонятные знаки,  
шепчет под нос по-русски звездные имена,  
с небом сверяет, видит светлы в кромешном  
мраке, —  
ночи ему открыта широта, глубина.

Вот составляет карту Русских земель, дотошно  
все, что в пути приметил сверху, летя в Москву  
из Петербурга, денно изображает, ночью, —  
каждой речке и взгорку, всякому место рву,

Начертание полной  
географической карты  
России.

лугу и перелеску определяет, — берег,  
линией непрерывной из-вива-ющий-ся,  
резко проливом узким, где проплывает Беринг,  
отделил от Америк, — нате, мол, наша — вся!

Вот она — на медведя включенного похожа:  
с ревом огромной мордой вертит по сторонам,  
стоя на задних лапах, дыбором мех, и кожа  
на животе слоится, — не подходите к нам. —

Подробное описание  
земель Российских.

Точкою обозначив сердце, свернул в четыре. —  
После обыкновенный на столбцы да ряды  
лист разграфил, названья всех элементов в мире  
в них начертал, чтоб ясно, что за чем и куды:

Составление первой  
периодической систе-  
мы химических  
элементов, впослед-  
ствии утерянной.

огнь и вода, земля и воздух в особых клетках,  
ибо они основа, в них от *аза* до *ять*,  
от минералов частых все до кристаллов редких,  
даже стекло простое скрыто — ни дать ни взять.

Дабы не было скучно одному без супруги,  
не отыскав достойной пары среди смертных жен,  
из цветов разнovidных смастерил на досуге  
девушку — как живую, — новый Пигмалион:

Творение по примеру  
Пигмалиона тела  
своей невесты из  
разных садовых и  
полевых цветов. —  
Наречение ее латин-  
ским именем Фло-  
ра. — Сожаление по  
поводу невозможности  
вложить в нее челове-  
ческую душу.

волосы — георгины, очи — фиалки, руки —  
лилии, розы — губы, ландыши — зубы, мак —  
щеки; все остальное флоксами — по науке —  
и гладиолусами тело скрепил вот так

и нарек по науке — как положено — Флорой  
Арчимбольдовой, нет лишь в ней души:

Посмотреть

издали — незаметно, — взрачной она и спорой  
по хозяйству казалась. — Этот продолжен впрעדь

список длиннющий будет. — Только в одном  
оконце  
свет по ночам златится в непроглядной Москве:  
то не свеча горела там на столе, но солнце  
в склянке грушеобразной, — как не пойти молве,

Ночные бдения Брюса  
при электрическом  
освещении вызывают  
подозрения у москов-  
ских обывателей. —  
Состав населения  
града Москвы.

прямо- да кривотолкам, друг обгоняя друга. —  
Темный в Москве народец проживает: купцы,  
городовые, воры, прочие — их прислуга, —  
*хера* никто не может отличить ото *рцы*.

Месяцу быть луною полною надоело:  
плавно пошел на убыль и превратился в серп. —  
Слухи напротив — пухнут, приобретая тело:  
бают, Москве от Брюса будет один ущерб;

Распространяющиеся  
слухи о том, что Брюс  
наложил тайный  
запрет на мелкие и  
крупные преступле-  
ния.

будто купцам-барыгам перестала на рынке  
праведная торговля приносить барыши;  
жить невозможно стало более по старинке, —  
делать — что хочешь делай, но грешить —

не греши.

Вот восседает в лавке здоровенный купчище,  
думает, как обмерить или обвесить как  
несмышленный народец попроворней, почище, —  
глядь, из угла вылазит семисаженный рак,

Черета происшествий  
на рынке, подтвержда-  
ющих слухи.

желтую пасть разинул, страшные тянет клешни,  
кое-что так и хочет откусить у купца, —  
бедному в самом деле чудится свет нездешний, —  
весь дрожит от испуга, спал румянец с лица,

ни закричать не может, и не кричать нет мочи:  
крупным градом холодный катится пот со лба, —  
как заголосит, словно режут его. — Короче:  
мигом на зов протяжный соберется толпа, —

а ничего и нету, точно и не бывало  
вовсе, — семисаженный рак исчез, как возник.  
От души посмеялись: «Мало тебе, мол, мала!» —  
В лавке соседней душе-раздирающий крик. —

Все — туда. — Вместо узких глаз у купца  
квадраты; —  
говорит, набежала всякая свинота,  
все персидские ткани на сто рублей подраты, —  
огляделись — и гогот в сорок четыре рта

как раздастся: все цело, все — ничего и нету,  
точно и не бывало вовсе, — стоят, галдят:  
«Что за диво такое явлено нынче свету?» —  
Вдруг — по приказу словно — все поднимают взгляд,

а на балконе башни Сухаревой с усмешкой  
по-над всею Москвою возвышается Брюс, —  
так, склонясь над доскою шахматной, каждой  
пешкой  
правит гроссмейстер, черно-белый тревожа ус.

Купчикам весь порядок *глаз* испортил *отводом*:  
неулыбчивы решки, агрессивны орлы;  
городовые больше не играют народом,  
и воровать боятся воры, — на Брюса злы

от велика до мала — нет никакого спасу. —  
«Что за жизнь наступила? — естество вопиет!» —  
Бьют челом государю, жалуясь. — Внемля гласу  
подданных, неотложно — разобут, разодет —

едет в командировку царь со своею свитой:  
по бокам генералы с умным видом сидят;  
тянет на сотню пушек колокол перелитый,  
киверами сверкая, сотня храбрых солдат.

Брюсу о том, что поезд царский еще не близко,  
стало уже известно из темноты зеркал, —  
занят делами мирно. — Вот продолженье списка  
дел великих и малых, коими просверкал

яркою на Российском небосклоне кометой  
Брюс. — От жары в июле и духоты, увы,  
нету спасенья, — солнце так и палит над этой  
частью света, в которой жирный паук Москвы

Брюс трижды пресекает  
происки обманщи-  
ков «отводом глаз». —  
Животные страхи  
нечистых на руку  
купцов. — Непрекра-  
щающийся крик и  
шум и вопль испуган-  
ных. — Веселый смех  
добродушной толпы.

Брюс забавляется  
происходящим.

Негодование извест-  
ной части населения  
на насмешки Брю-  
са. — Челобитье  
обиженных подданных  
царю. — Петр сроч-  
ным порядком выез-  
жает в Москву для  
выяснения обстоя-  
тельств дела Брюса. —  
Описание царского  
поезда.

Извещение Брюса о  
готовящемся наше-  
ствии неприятеля. —  
Продолжение точного  
перечня разнообраз-  
ных занятий Брюса.

сплел свою паутину. — Брюс переплавил в тигле уголь и воду в ступе пестиком растолок, после смешал все вместе — брызги углов достигли, выпарил на жаровне — взмыли под потолок

клубы седые, — вышел, — все порошком снаружи белым слегка посыпал — и повернул домой: снег повалил январский, льдом затянуло лужи, хоть на коньках катайся, — холодно, как зимой.

Вот накатались вдоволь тут на салазках дети и в снежки наигрались, — городские лишь согреваются злобой: «Ничего, на рассвете ты, мол, у нас попляшешь — живо заговоришь!» —

К вечеру снег растаял — судам да пересудам, толкам да разговорам новый открыт простор. — Брюс у себя закрылся, занят каким-то чудом очередным, а старый на него из-за штор

пристально смотрит месяц, что пятак на червонце: дремлют, на полках стоя, тыщи тяжелых книг, в грушеобразной склянке светит, сверкая, солнце, девушки сон цветочной безмятежен и тих, —

жаль, что души в ней нету. — Бога с жаром и силой Брюс о России просит, молится за Москву: «Господи, если можешь, сохрани и помилуй!» — Вдруг окликает кто-то — как во сне — наяву, —

голос такой знакомый и незнакомый разом: «Человече! угодны Богу твой твердый нрав, дух твой неугомонный, твой дерзновенный разум, — ты правотой небесной, как и земною, прав.

Явлено и открыто было тебе немало на земле и на небе, — зримого мира весь ясен состав согласный от конца до начала, о заочном же — верных недостаточно здесь

сведений по причине односторонней связи: как бы туда хотелось хоть на миг заглянуть многим, но тщетно; ты же — избран — не в пересказе знать — воочию видеть и удивляться». — Путь:

— ∪ ∪ — ∪ — ∪ | — ∪ ∪ ∪ ∪ — ∪  
 ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ | — ∪ — ∪ ∪ —  
 — ∪ — ∪ ∪ — ∪ | ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪  
 ∪ ∪ ∪ — ∪ — ∪ | — ∪ ∪ — ∪ —

Не описать полета духа языком плоти: Брюсу открылась бездна, пламенных звезд полна, — хор и орган, гласящий Господа в каждой ноте; блещет своей обратной стороной луна;

Химические опыты. — Снег, выпавший во время летнего зноя. — Радость детей. — Злоба представителей власти.

Распространение новых слухов. — Продолжение ночных бдений. — Спящая Флора.

Молитвы и просьбы Брюса о благоденствии сей страны. — Явление незримого ангела-хранителя. — Избранничество Брюса. — Приглашение к путешествию.

Оставление тела Брюса его духом. — Изображение невидимого полета в надмирные выси. — Развернутое описание всего, что мелькнуло перед внутренним взором во время быстрого перелета сквозь

точкою синеватой стала земля, златистой —  
солнце, созвездий грозды, что в траве светляки,  
точно толпа цыганок, прозвеневших монистой,  
словно огни деревни рядом — и — далеки,

вселенную. — Дости-  
жение цели.

так миры промелькнули. — Светом из ниоткуда  
озарено пространство, — от незримых светил  
нет ни жара, ни хлада. — Необъятное чудо,  
где ни тел и ни теней, кто хоть раз посетил,

счастлив! — «Слова земные беспомощны и скудны  
славу сокровищ горних изобразить, пока  
оглушительно-ярок день не наступит Судный,  
возвещающая рождение нового языка —

Явленные Брюсу  
наднебесные таин-  
ства. — Пророчества о  
мире.

сплава глаголов грозных и тяжелых наречий;  
на равновесных чашах вспыхнут добро и зло;  
обернется разлука неожиданной встречей, —  
слово было в начале, будет в конце число». —

Вестником расторопным, неустанным вожатым  
Брюса такой знакомый и незнакомый глас  
верно сопровождает по небесам тройчатым,  
объясняя, толкуя зримое и от глаз

Брюс в сопровожде-  
нии ангела-хранителя  
посещает три неба:  
Отца, Сына и Святого  
Духа.

скрытое пеленою: «Нынче, прежде и после  
связаны воедино, тесно сопряжены, —  
разница небольшая меж временами осле-  
пления и прозрений, громов и тишины.

Всех времен и событий вот амбарная книга, —  
в ней по порядку войны, бедствия, мятежи  
перечислены, — роспись до последнего мига». —  
Брюс вопрошает: «Что же будет со мной,  
скажи?» —

Книга судеб. —  
Пророчества о буду-  
щем Брюса. — Дарова-  
ние ему временного  
бессмертия для девяти  
земных жизней. —  
Принятие других  
даров: жидкого,  
твердого и газообраз-  
ного. — Напоминание  
о бренности всего  
мирского и об ограни-  
ченности человеческих  
возможностей в  
сравнении с Боже-  
ственной волей.

«Душ обитель прозрачных посетив и покинув,  
как изо сна восхищен, так и вернешься в сон,  
наделенный дарами щедро, — ни райских кринов,  
ни сковородок адских — ты на земле нужен,

ибо избранник Божий. — Смерти кривых иголок  
больше не бойся, — девять тел износишь до дыр. —  
На три дара небесных: склянку с росой, сколок  
тверди да мех надутый, где заключен эфир

животворящий. — Помни: все, что здесь без изъяна,  
в небесах неподвижных, то на земле, увы,  
переменно и тленно; человек — обезьяна  
Божья — не прыгнет выше собственной головы». —

Путь обратный подобен вычерченному выше:  
снова мелькнули звезды — солнце — луна — земля;  
царский в дороге поезд — вот московские  
крыши —  
вот купола соборов — славный оплот кремля;

Возвращение на  
землю, столь же  
стремительное, как и  
взлет. — Утро.

Сухаревская площадь: башня — как на ладони перевернутый кубок, — мечет рассвет лучи, медленно подымая в золоченой короне голову, — блекнет пламя негасимой свечи.

Бодрствующий со спящим соединился телом дух, — и, вздрогнув, проснулся Брюс от толчка, <sup>в себя</sup> приходя постепенно: сон цветной черно-белым показался, мгновенным — длительное, рябя

в затуманенном взоре взветренными вихрами. Но три дара небесных целы: не прорван мех, не расколота склянка, краегранник, во храме освященный заочном, неведимее всех, —

блещет, искря. — Склонился первым делом <sup>ко Флоре,</sup> вдунул эфир со свистом Брюс погруженной <sup>в сон —</sup> сердце в груди забилося, вспыхнула страсть <sup>во взоре,</sup> и — любовью взаимной ей отвечает он...

А тем временем царский поезд въезжает в город: разноцветные флаги плещутся на ветру; черных, седых и рыжих толпы усов и бород, — с хлебом-солью выходит Брюс навстречу Петру.

Петр именным указом пообещал награды тем, кто поймает Брюса, — зверь бежит <sup>на ловца! —</sup>

«Не силком, — несказанно городские рады, — наконец-то попалась волку в лапы овца!» —

Навалились, скрутили, потащили в участок. — С хлебом-солью выходит Брюс навстречу царю как ни в чем не бывало. — Снова скрутили: <sup>«Нас так</sup> не провести!» — «Покорно, — он им, — <sup>благодарю!» —</sup>

Только не тут-то было: вязан и шит не лыком, с хлебом-солью выходит снова Брюс из толпы. — Гнев, о богиня, грозный вспыхнул в Петре <sup>Великом, —</sup> рвет и мечет: «Ужели все, как один, глупы? —

Идиоты! Тупицы! Хоть бы вы поредели! Чтоб вас...» — Не доверяя бородам и усам, сам разобраться хочет в этом опасном деле, допросить по порядку Брюса каждого сам. —

Выяснилось: все трое как две капли похожи, — царь со слововоротом: «Ай, иду, судия!» —

Брюс очнулся как ни в чем не бывало. — Различия между сном и явью значительны. — Небесные дары становятся неприметными земными вещами.

Один из даров Брюс использует для водушевления Флоры. — Любовь.

Торжественный въезд Петра в Москву. — Происходящие при этом невероятные события. — Троекратный выход мнимых Брюсов во сретенье Петру. — Язва. — Гнев.

Петр лично учиняет мнимым Брюсам допрос с пристрастием.

точно Нептун, ярится, вержа трезубцем: «Кто же Брюс из вас настоящий, из троих?» —

«Я!» — «Я!» — «Я!» —

«Что за дикое слово? — Срочно из алфавита вычеркнуть эту букву, из словаря — долой!» —

Расстрелять предлагает поодиночке свита царская, — Петр допетрил: «Всех отпустить домой!» —

Ничего не добившись, царь разгневан еще больше. — Почувствовав какой-то подвох, он приказывает отпустить их на все четыре стороны.

предварительно Брюса каждого припечатав в зубы своим огромным царственным кулаком, будто бы на дежурстве задремавших солдат перед Преображенским лейб-гвардейским полком.

Только глядь: никакие это не Брюсы — тройка генералов суровых битая предстоит, — трут распухшие скулы, но на вопросы бойко отвечают, а зуб-то затаен ядовит:

Брюсы оказываются простыми царскими генералами.

«Доберемся до Брюса, — не покажется мало! — чтоб ему пусто было! — будет он наших знать!» — тройца чуть со злости трости не изломала. — Петр командует: «Брюса мне подать!» —

«Ать-два, ать!» —

Озлобленные генералы по приказу Петра выступают в поход против Брюса.

раздается да цокот с топотом вперемежку вдоль по Третьему Риму, пробуждая от сна. — Окна блестят навстречу, открываясь. Насмешку прячет в ладони всякий, свесившись из окна.

Брюс преспокойно в башне наслаждается Флорой; медленно попивает кофе, какао, чай; в ноздри табак влагает. — С площади, на которой яблоку выпасть негде, слышно: «Гостей встречай-

Ожидающий незваных гостей Брюс невозмутимо предается осмысленному отдыху. — Генералы тщетно пытаются выманить его из башни.

те! — По указу орден Брюсу на красной ленте жалует царь и, чтобы не сидеть на бобах, премию. — Выходите, получите, наденьте, а не то, мол, из пушек враз по башне бабах».

Ядра набиты туго, пыльный засыпан порох в узкие жерла, — только спичкой голландской чирк, как шарахнет, — подспорье в неразрешимых спорах.

Брюс — не Брюс, если эта экзекуция в цирк

не превратится. — Долго думать ему не надо, как напасть посмешнее от себя отвести, — пушки послушны Брюсу. — Грянула канонада, — в небо взлетело разно-цветное конфетти,

Умело подготовленную осаду Сухаревой башни Брюс превращает в очередную потеху. — Фейерверк. — Царские генералы несолоно хлебавши возвращаются к Петру, негодуя на обидчика. — Государь

яблоки золотые, пряники да конфеты, — оседают неспешно прямо в руки. — «Ура!» — Отступила, хлопущи водрузив на лафеты, артиллерия. — Вскоре перед очи Петра

с жалобами на Брюса генералы предстали:  
«Осрамил! Опозорил!» — Царь верхом на коне:  
«Сам, — говорит, — поеду», — точно на пьедестале  
громокаменном тусклый памятник Фальконе

с надписью: *Petro Primo — Catharina Secu...da*, —  
и отвалилось наземь, — видно, задел ногой. —  
«Но!» — и вот перед башней Сухаревой откуда  
ни возьми появился царь через миг-другой:

«Ты почто презираешь государеву службу,  
Брюс, наград не приемлешь и плюешь на закон  
сверху вниз? — Выходи-ка, нарушитель, наружу!  
коль не хочешь остаться без дверей, без окон, —

на тебя поступило предостаточно жалоб». —  
«Царь, — с балкона бросает Брюс, — хоть ты  
и велик,  
а змеи-то не видишь, — раздавить не мешало б,  
раздвоенное вырвав жало, вставить язык.

Гостем будь!» — Все готово для почестного пира. —  
Флора напитки, яства подает. — «Будь здоров!» —  
Между Петром и Брюсом нет ни войны, ни мира,  
но ко второму ближе. — Из небесных даров

краеугольный камень, дабы Россия крепла,  
придавая значенье внешности и нутру,  
в золото и порфиру наряжалась, из пепла  
восставала, — прощаясь, Брюс подарил Петру.

Встал, — незаметно вышел, — в аероветролете,  
склянку с рассолом горним пред собой положив,  
вместе с прекрасной Флорой прочь упорхал. —  
Не ждете?  
Ждите, — и Брюс вернется, — он и поныне жив!

Мой любезный читатель! заново поскорее  
непринужденным взглядом эту повесть окинь;  
ведай Творца и помни: дактили да хорей  
не напрасно взаимозаменялись. — Аминь.

сам пытается предпри-  
нять решительный  
штурм.

Упреки и угрозы  
Петра непокорному  
Брюсу. — Добрый  
совет последнего  
первому.

Приглашение к  
прощальному ужи-  
ну. — Второй дар  
Брюс передает Петру.

Уход. — Третий дар  
Брюс оставляет себе,  
ибо он залог его  
временного бессмер-  
тия. — Надежда на  
возвращение Брюса.

Наставление благо-  
склонному читателю  
повести. — Конец.



---

---

# ПОЛЕМИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



## ЧЕРНОСОТЕНСТВО: ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

**З**аметьте: в книге В. Кожина «„Черносотенцы” и Революция»<sup>1</sup> слово «Революция» в заголовке — с прописной буквы. Речь идет не об отдельных революционных взрывах, но, цитирую, «обо всем грандиозном катаклизме, потрясшем Россию в XX веке», по сию пору не закончившемся. Следовательно, и черносотенство (зачем кавычки?) в книге В. Кожина — явление сквозное, к злобе дня имеющее отношение.

Но в таком случае как, собственно, это явление определить?

Известные факты: в разгар революции 1905 года возникли политические организации, которые их оппоненты назвали (и сами они приняли это название) «черносотенными»: Русская монархическая партия, Союз русского народа, Союз Михаила Архангела (выделился из предыдущего) и некоторые другие, более мелкие. Кожин, однако, считает, и, наверное, с ним можно согласиться, что к черносотенцам следует отнести также многих людей, формально в черносотенные организации не входивших. В таком случае, черносотенство — это образ мыслей? А может быть, некоторая градация умонастроений, существенно различных?

Последнее, думаю, ближе к истине. В черносотенстве было свое наверхие, интеллектуальное и даже рыцарское. Яркая иллюстрация — фигура генерала Нечволодова (историческое лицо) из «Октября Шестнадцатого» Солженицына. Одинокий «избыточный часовой» перед царским домом на могиловском Валу, толкаемый теплым бешеным ветром, производит (на беседующего с ним Воротынцева) впечатление рыцаря, опирающегося на меч. Но меч врыт в землю, да так, что никакая рука не могла бы вытащить его. «А если б и вытащить — так сгнил он острием».

Концепция Кожина: черносотенцы — мудрые консерваторы, наследники славянофилов (которых он не считает нужным отделять от официозной доктрины «православия, самодержавия, народности») и Достоевского. Они показывали несостоятельность мифа о «прогессе», которым едва ли не вся Россия была тогда одурманена. Они, и только они противостояли надвинувшейся Революции, предвидя далеко вперед, какие губительные последствия она будет иметь.

Надо сразу отдать должное Кожину. Нынешние российские (советского воспитания) историки обращаются к прошлому, зачастую не зная толком, чего они там «хотят», иначе говоря — не имея твердых ценностных критериев. В отличие от них Кожин знает, чего «хочет», и это придает его повествованию необходимую энергию. Обратная сторона его целеустремленности — в пренебрежении некоторыми объективными фактами и в подборе «удобных» фактов, иногда мелких, не дающих прочного основания для широких выводов.

---

Каграманов Юрий Михайлович родился в 1934 году. Публицист, историк, культуролог. Автор нескольких книг по вопросам зарубежной культуры. Печатался в журналах: «Иностранная литература», «Вопросы философии», «Новая и новейшая история» и других периодических изданиях. Постоянный автор «Нового мира».

<sup>1</sup> Кожин Вадим. «Черносотенцы» и Революция. (Загадочные страницы истории). Изд. 2-е, дополненное. М., «Прима В», 1998.

Кожинов делает упор на интеллектуальной составляющей черносотенного движения. Действительно, в рядах черносотенцев или в непосредственной близости к ним выделяются достаточно сильные мыслители. Такие, как Л. Тихомиров, Б. Никольский или митрополит Антоний (Храповицкий). Консервативные мыслители, у нас и в Европе, всегда имели сказать по поводу мифа о «прогессе» нечто, к чему стоило и сейчас еще стоит прислушаться. Беда их в том, что миф о «золотом веке», к которому они так или иначе склонялись, ничем не лучше.

В то же время нет оснований считать черносотенцев, даже в интеллектуальной их части, полномочными наследниками славянофилов или каких-то иных вершинных явлений русской мысли (за исключением, быть может, К. Леонтьева). Кожинова раздражают известные суждения о некотором вырождении славянофильства во второй половине и особенно к концу XIX века. Видимо, он просто не воспринимает разницу между вселенской истиной, ведомой славянофилам, и локальными правдами, коих держались их духовно обедневшие продолжатели.

Но главное даже не в этом, а в том, что интеллектуальная верхушка не играла сколько-нибудь значительной роли в черносотенном движении. И, наверное, не могла играть: этимология сего выразительного наименования не позволила бы. Исторически черные сотни — организации, состоящие из мещанских элементов города и свободных крестьян<sup>2</sup>. Вообще «черный народ» — простой народ. Черносотенство XX века — преимущественно низовое в социальном смысле движение; городские низы, а также крестьяне составили основную массу его приверженцев.

Более того, в низах черносотенства, как писал, например, Г. Федотов, «собрано было самое дикое и некультурное в старой России» (цитирую по Кожинову, приводящему данное суждение как «русофобское»). Такая оценка подкрепляется аналогичными оценками других свидетелей, которых можно почитать достаточно объективными в данном вопросе. Разумеется, я не отношу к их числу революционеров и вообще левых всех сортов, задававших тон в общественном мнении России.

Утверждая, что черносотенство было единственной силой, противостоявшей (именно противостоявшей, то есть стоявшей без движения или движущейся на одном месте) Революции, Кожинов приходит к целому ряду неувязок.

Вот он критикует известную точку зрения, что до революции все в России было плохо и всего не хватало. Напротив, пишет он, всего было много и всего прибавлялось — и как раз поэтому произошла революция (подобным же образом дело обстояло и во Франции конца XVIII века). Кожинов цитирует А. Суворина: за предреволюционные десятилетия Россия «страшно выросла». Население росло не по дням, а по часам. Экономически страна непрерывно богатела и уже догоняла наиболее развитые государства. Культура процветала, даже если брать ее со стороны внешних показателей: Россия первенствовала в мире по числу студентов и по количеству издаваемых книг (по названиям лишь немногим уступая США, Англии и Франции вместе взятым). Кожинов подводит выразительный итог предреволюционному пути, перечисляя ряд знаковых достижений: «Транссибирская магистраль, свободное хождение золотых монет, столыпинское освоение целины на востоке, всемирный триумф Художественного театра, титаническая деятельность Менделеева, тысячи превосходных зданий в пышном стиле русского модерна, празднование Трехсотлетия Дома Романовых, наивысший расцвет русской живописи в творчестве Нестерова, Врубеля, Кустодиева и других...»

Все правильно. Но какое отношение имеют указанные достижения к Черной сотне? (К «черной кости» они, разумеется, имеют отношение, но это совсем другое дело.) И, если встать на точку зрения автора книги, не слишком

<sup>2</sup> Существует версия о происхождении этого термина от монахов, защищавших Троице-Сергиеву лавру (в 1608 — 1610 годах), но она считается сомнительной.

ли далеко уведили они от «золотого века»? Будто спохватившись, Кожинов возвращается к заключению Суворина: а ведь как он выразился — «страшно выросла! Понимал, дескать, старик, что такая торопливость неизбежно ведет к революции. Так и остается неясным отношение самого Кожинова к феномену «страшного роста»: приветствует ли он его или, наоборот, порицает?

Вопрос о том, была ли революция, точнее, Вторая русская революция неизбежной, достаточно проработан исторически, и нет нужды опять к нему обращаться. Судя по многим признакам, Россия «переболела» революцией в период 1905 — 1907 годов и в дальнейшем вполне могла развиваться эволюционно — если б не злосчастная мировая война. Разве что какая-нибудь верхушечная революция (типа английской «Славной революции» 1688 года), не вызывающая потрясения национального организма, могла бы оказаться уместной на одном из последующих этапов.

Возможность эволюционного пути подкреплялась тем, что уже было выработано мощное идейное обоснование его. Я, конечно, имею в виду «веховцев». Кожинов говорит о них мало и невнятно, фактически выведя их из своего поля зрения. Исключение сделано для одного С. Булгакова, почему-то отнесенного к... черносотенцам.

«Веховцам» «страшный рост» сам по себе не был страшен. Хотя они прекрасно видели, какие трудности он создает: надо было в **движении** сохранить качества, связываемые с «неподвижной» (очень относительно, конечно) стариной — веру, культурные традиции. Как писал тот же Булгаков (уже ставший о. Сергием), следовало «найти **внеревлюционный**, свободный от красной и черной сотни культурный центр», отталкиваясь от которого можно было отыскать проход между Цицлой безнадежной косности и Харибдой безбожия и нигилизма. Такова была реальная альтернатива революции.

А черносотенство не только не могло противостоять Революции, хуже того — оно само соскальзывало на революционный путь.

Прежде всего это было заметно по его агрессивному стилю поведения, во многом копировавшему революционный стиль. Революционеры подстрекали народ к насильственным выступлениям, создавали боевые дружины и т. д., и, глядя на них, до некоторой степени сходным образом начинали действовать и черносотенцы: «Ах, вы так? Тогда и мы так!» Например, устраивали погромы, в частности антиеврейские, мотивируя их не в последнюю очередь широким участием евреев в революционном движении. Теме погромов Кожинов посвящает целую главу, где, между прочим, есть вещи, с которыми трудно не согласиться. Вроде того, что слово *роггом*, вошедшее в иностранные языки, создает ложное впечатление, будто это специфически русское явление; на самом деле погромы, зачастую гораздо более жестокие, имели место и в других европейских странах, включая самые просвещенные. Или что виновниками многих погромов, приписываемых русским только потому, что они происходили на территории Российской империи, на самом деле были молдаване, греки или кто-нибудь еще. Но утверждение Кожинова, что со стороны черносотенцев ответственность за погромы несут лишь отдельные экстремисты, слишком неосновательно; хорошо известно, что погромную антисемитскую агитацию вела Черная сотня в целом (впрочем, о черносотенном антисемитизме я еще скажу ниже).

Но дело не ограничивалось стилем поведения; и по своему содержанию черносотенное движение в некоторых существенных моментах сближалось с революционным.

Кожинов пишет, что черносотенное движение было общесословным, и это, в принципе, так. Его, в частности, удостоила своим присутствием «белая кость»: князья и графы, входившие в состав черносотенных организаций или даже возглавлявшие их, видели в нем средство восстановить «народность», структурированную по образцу «доброе старое» времени (то ли крепостнической эпохи, то ли виртуального времени царя Гороха), когда дворяне были сахарные, а мужики аржаные и царь-батюшка надо всеми был поставлен, как

от Бога пристав. Но подобные умонастроения в рамках черносотенного движения оставались скорее маргинальными.

Уже в канун мировой войны Ленин пронизательно заметил: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий». Кожинов приводит ленинские строки, но толкует их таким образом, что они-де имеют в виду простых людей, которые противились разрушению устоев. На самом деле «темный мужицкий демократизм», может быть, не столько противился разрушению устоев, сколько сам их разрушал. А в книге фактически проигнорирована эта сторона дела (кое-что, хотя и явно недостаточно, говорится о ней в монографии С. Степанова «Черная сотня в России (1905 — 1914)», вышедшей в 1992 году, но писавшейся, судя по всему, еще в советское время).

В черносотенных массах чем дальше, тем больше давала о себе знать неприязнь к образованным, к «господам» любого положения и сорта. Особенно это относится к самой многочисленной из черносотенных организаций, Союзу русского народа, возглавлявшемуся А. Дубровиным. Сам Дубровин, врач по профессии, по своему типу, кажется, был схож с «желчевиками» 60-х годов — не консерватор-охранитель, но «революционер справа»<sup>3</sup>. Дубровинцы позволяли себе резко критиковать правительство (не царя), довольно откровенно демонстрировали свою антипатию к имущим классам — помещикам и капиталистам. А дубровинские организации на селе зашли так далеко, что выдвигали требования о передаче крестьянам части помещичьих земель. Полицейские власти переставали понимать, с кем, собственно, они имеют дело — с защитниками существующего порядка или его противниками?

Все говорит за то, что в лоне черносотенного движения получила развитие утопия «мужицкого царства», коренящаяся в далеком прошлом, но обросшая новыми значениями и смыслами. Вот эта составляющая черносотенства заслуживает внимательнейшего изучения. Тем более, что именно она получила, так сказать, подорожную в следующий (за семнадцатым годом наступивший) век.

Переходим к самому интересному. С падением монархии сакраментальная триада, служившая «замком свода» черносотенного образа мыслей, приказала долго жить. Гражданская война, как принято считать, столкнула друг с другом две силы — красных и белых. Где здесь было место черным?

В представлении Кожинова основное событие Гражданской войны — стихийный «русский бунт», а не борьба красных с белыми. С некоторой точки зрения готов с этим согласиться; вот только как оценивать «русский бунт»? Кожинов подчеркивает его неоднозначность: он нес в себе «и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость...». Да, примерно так воспринимали революционные события многие современники, ошеломленные громадностью происходящего: бушующие хляби, первозданный мрак — но этот мрак пронизывают странные лучи, «трижды слепящий свет» (как писал Мережковский, цитируя Гёте). Была надежда, что странные лучи обещают нечто не только по ту, но и по эту сторону, что не зря взволновались хляби, что Россия зачала и в муках рождает что-то такое, что способно удивить мир. Сегодня, кажется, ясно, что надежда была иллюзорной. Нам, правда, не дано знать, как революционные события «лягут» в цепочку событий, продолженную следующим веком (или следующими веками), но одно мы знаем точно: что Россия в тот исторический момент рожала — чудище. Впрочем, говорить об этом Кожинову не имеет смысла, ибо ему чудище (при некоторых оговорках) то ли по-хорошему мило, то ли, наоборот, по мило хорошо.

<sup>3</sup> Главное в истории — люди. Главное в черносотенстве — черносотенцы. Наверное, когда-нибудь появится антология, где будут собраны высказывания черносотенцев разного социального уровня и пошиба, а также мнения о них окружающих людей. Это позволит лучше «ощутить» живых черносотенцев и, значит, составить более точное представление о движении в целом.

Но пока шла Гражданская война, авансцену истории занимала борьба красных с белыми. Современникам так или иначе приходилось выбирать между двумя сторонами. И сегодня выбирать приходится историку, коль скоро он обращается к данной теме.

Кожин свой выбор делает в пользу — красных. Объясняется он не симпатией к красным (если иметь в виду собственно большевиков, а не красноармейскую массу), протivoестественной для апологета черносотенства, каковым является автор книги, но антипатией к белым. Для Кожина белые генералы и офицеры (подчеркну, что речь идет именно о генералах и офицерах, а не о политических деятелях, чья роль в тылу Белой армии оставалась достаточно скромной) — «дети Февраля», которые сами способствовали разрушению русской государственности. И тогда, когда они спохватились и вроде бы повели борьбу за ее восстановление, им явно не хватало «реставрационных вождельней». Ибо сами они были заражены либерализмом и даже насчитывали в своих рядах немало масонов. А так как они слишком ориентировались на Запад, то победа их в Гражданской войне неизбежно привела бы к подчинению России иностранным силам.

За исключением фразы о недостатке «реставрационных вождельней», здесь все неправда, граничащая с клеветой. На самом деле в подавляющей своей части генералы и офицеры «старой» армии вплоть до падения монархии политикой особо не интересовались, а масонов среди них были единицы (если вообще были). В дни Февраля некоторые офицеры и даже генералы повели себя довольно опрометчиво, но надо учитывать, какому они подвергались давлению со стороны того, что казалось неминуемым. Не либерализмом они были заражены, а народопоклонством. И в дни, последовавшие за Февральской революцией, просто уступали страшному напору солдатских масс, окончательно разложенных левой пропагандой. Но для Кожина солдатская масса вне критики; «русский бунт» — ему все списывается! Нужен был чисто отрицательный опыт послефевральских месяцев, чтобы лучшая часть генералов и офицеров встала на путь борьбы с революцией. А их ориентация на страны Антанты была естественным продолжением союзнических отношений дооктябрьского периода и даже получила дополнительное подкрепление фактом предательства большевиков, вступивших в створ с немцами.

Вот «реставрационные вождельния» белые генералы и офицеры действительно не торопились изъяснить; и те, у кого они были, подавляли их в себе. И правильно делали: задача их состояла в том, чтобы создать условия, при которых Россия свободно могла бы определить свое будущее. А чего хочет Кожин — чтобы армия решала за народ вопросы государственного устройства?

Как бы в поддержку своим симпатиям Кожин призывает офицеров и генералов, принявших сторону красных; таковых, пишет он, было не намного меньше, чем тех, кто принял сторону белых. Положим, добровольно пришедших к красным было гораздо меньше, чем утверждает Кожин, но дело даже не в этом, а в том, вправе ли он считать их своими единомышленниками? Призовем на помощь «сочувствующее воображение». Войдем в ситуацию русского офицера, считающего себя православным и монархистом. Неужели такой офицер мог испытать желание влиться в «цвѣта пыли и песка» революционные войска и сражаться за идеалы мировой революции? Предпочесть Ленина и Троцкого Деникину и Колчаку? По-моему, это было бы совершенно абсурдное решение. Ясно, что те офицеры, которые сделали выбор в пользу красных, руководствовались иными соображениями, достаточно далекими от черносотенных (скорее всего теми, что большевики выступают «от имени прогресса» и что народ с ними).

Принимая решение за других, Кожин делает то, чего в данном случае как раз делать не следует, — привносит в ситуацию Гражданской войны свое знание позднейшего развития событий. Будучи твердокаменным государственным, он приписывает большевикам изначальное стремление к сохранению

«государственного пространства России» и «целенаправленное созидание прочной государственной структуры». Это сейчас вообще распространенная ошибка. На самом деле большевики ставили целью не сохранение или обновление российской государственности, но создание Мировой республики советов; более того, они — по крайней мере наиболее последовательные из них — даже не отводили России в этой будущей республике привилегированного места (скорее на такое место, с их точки зрения, могла претендовать Германия). Но, как известно, Красная Армия была остановлена на Висле и отброшена, и поэтому де-факто, то есть совершенно независимо от их желания, большевистский режим вынужден был уместиться в несколько даже суженных пределах бывшей империи. По сути же, большевики — или по крайней мере их верхушка — были гораздо большими «западниками», чем белые; другое дело, что «западничество» их было дурное.

Так что зря Кожинов уделил столько места вопросу об офицерстве: не найти ему здесь того, чего он «хочет»; гораздо ближе он оказывается к своей теме, когда говорит о «русском бунте». В условиях Гражданской войны от офицеров и генералов многое зависело, но они-то свой выбор делали более или менее сознательно. А история черносотенства как сознательного и одновременно массового движения фактически обрывается уже в семнадцатом году. Лишившись царя, «растерянные черные миллионы» (как говорит тот же Нечволодов; а разрядка моя) остались и «без царя в голове». И даже без прежнего руководства. Большевики перестреляли всех черносотенных вожаков, каких только смогли достать, не глядя, кто там был из простых, а кто из вислоухих. Лишившись своих идейных «дядек», черносотенство не исчезло, но сместилось на иной, более низкий уровень. Можно назвать его уровнем инстинктов или психологических установок. Вот на этом уровне оно действительно испытывало определенное тяготение в сторону красных и отчасти даже смыкалось с ними: совсем не редки были многими из современников замеченные случаи перехода рядовых черносотенцев в лагерь большевиков.

В целом же остаточное — бес- и полусознательное — черносотенство ждало своего часа. И он не слишком замедлил наступить.

Периодом Гражданской войны Кожинов завершает свое апологетическое исследование, обещая продолжение в неопределенном будущем. Но его статьи, опубликованные в «Нашем современнике», дают некоторую возможность судить о том, как он представляет себе развитие темы.

Вкратце так. Объективно складывающаяся в стране ситуация вынудила некоторых людей в руководстве правящей партии во главе со Сталиным повести борьбу против самого большевизма. На протяжении 30-х годов происходит «„контрреволюционный” (зачем кавычки? — Ю. К.) по своей внутренней сути переворот», который «преподносится как борьба с „к.-р.”»<sup>4</sup>. С удовольствием цитирую, ибо нахожу в Кожинове одного из немногих единомышленников в данном конкретном вопросе. Думаю только, что контрреволюционный переворот начался раньше: уже в 1923 — 1924 годах «бирнамский лес пошел» на интернационалистов, занимавших тогда ключевые посты в партии. Хотя основные события переворота действительно приходится на 30-е годы.

Переворот, безусловно, можно назвать черносотенным в некотором смысле слова. Лишнее тому подтверждение — симпатия, которую он вызывает у Кожинова. По его словам, на протяжении 30-х годов шел «здоровый процесс реставрации». Террор, которым он сопровождался, был продолжением и развитием революционного террора; ибо «Сталин, борясь... по существу именно с Революцией, конечно же, как и Наполеон, нес ее в самом себе»<sup>5</sup>. С последними утверждениями вполне согласен. Несмотря на все расстрелы и посадки,

<sup>4</sup> Кожинов В. Загадочные страницы истории XX века. — «Наш современник», 1998, № 9.

<sup>5</sup> Там же.

пишет Кожин, многие перемены имели позитивный характер, например в плане культуры. Отчасти и с этим готов был бы согласиться — если бы можно было назвать позитивным то, что создавалось на зыбучих песках.

Изживая в себе революционаризм, сталинский режим, однако, не изживает его до конца (я навожу некоторую резкость на оценки Кожина, который в отношении советской эпохи часто высказывается «под титлами», не напрямую). И это тоже верно. Красное и черное — цвета советской эпохи, от истоков ее и до последнего вздоха. Притом (если брать период начиная с середины 30-х годов) черным была окрашена преимущественно (но не только) содержательная ее сторона, а красным преимущественно (но не только) внешняя.

Кожину красный цвет «мешает», и это понятно; одноцветно черный режим был бы ему ближе. Удивительно другое: не хочет он замечать, что черносотенный «Федот» под знаком пятиконечной звезды — не тот, что некогда осенял себя православным крестом. Известный феномен революционных лет — оборотничество. Такое оборотничество претерпело и черносотенство в некоторой своей части (оговорка необходима, ибо должны были оставаться, хотя бы как рудименты, черносотенцы, крест на звезду не променявшие). Все «элементы» опорной триады как будто остались, но превратились в нечто иное и даже прямо противоположное: место православия заняла «церковь» безбожия, монархизм превратился в вождизм, а народность была сужена за счет исключения всех вышестоящих сословий и сведена к идеалу «мужицкого царства», тоже претерпевшему свою образующую мутацию (или скорее трансмутацию — алхимический термин здесь, наверное, уместнее) и легко просвечивающему сквозь все идейные и культурные оформления. Опознавая в оборотне любезную ему «черную кость», Кожин «не замечает» того, что она обросла собачьим мясом (я слегка изменил русскую поговорку, где речь идет о мужичьей кости). От какового «сюрприза» «черная кость» застрахована несколько не более, чем «белая кость».

Впрочем, оборотничество было существенно облегчено тем, что уже в до-революционном черносотенстве революционаризм, как выше говорилось, получил заметное развитие. А это значит, что уже тогда некоторая часть черносотенцев в какой-то степени была подготовлена к восприятию коммунистической идеи. Перед которой после 1917 года открылась «красная улица». Часто говорят, что большевики не взяли власть, а просто подняли ее, уроненную другими. Нечто подобное, вероятно, произошло и с коммунистической идеей: она не овладела умами в том смысле, в каком об этом принято говорить, а просто вошла в «дом пуст», за отсутствием «хозяина», способного внятно объяснить оторопелым «черным» низам, что, собственно, такое их постигло. Зато уж потом, когда за нею прихлопнулась дверь, ей пришлось за свой успех крупно поплатиться — утрату трех четвертей, а то и девяти десятых ее реальности (если можно применить это слово к утопии) содержания.

Симбиоз ублюдочного коммунизма с оборотническим черносотенством — вот, пожалуй, наиболее точная формула советчины. Несложившийся дух из гётевского «Фауста»<sup>6</sup> мог бы послужить ему некоторой парадигмой.

История продолжается, включая и ту, о которой дело идет в книге Кожина. Нынешнее черносотенство, по крайней мере в думающей своей части, желает стать «собою, вывернутым на лицо» (пользуюсь выражением В. Соловьева, употребленным по другому поводу). Это дается ему очень непросто (что видно на примере самого Кожина), если иметь в виду попытку возвращения к прежним мировоззренческим основам. Зато с необычайной расторопностью черносотенство усаживается на прежний свой конек — антисемитизм, еще крепче любимый, чем в прежние времена.

<sup>6</sup> Как он сам себя характеризует: «Я из гадов двух гибрид / В синтезе каком-то, / На живую нитку шит, / Как строфа экспромта». (Перевод Б. Пастернака.)

В советскую эпоху антисемитизм был подспудным, приглушенным. Лишь в конце 40-х — начале 50-х годов он попытался выйти на поверхность. Тогда, судя по всему, готовился советский вариант «окончательного решения» еврейского вопроса: евреев должны были депортировать в места не столь отдаленные, наподобие того, как это было проделано с некоторыми другими народностями. Смерть «кремлевского горца» помешала реализации этого «проекта».

Сейчас антисемитизм фактически «отпущен»; лишь некоторые, весьма слабые правовые ограничения, а главным образом этические привычки интеллигентских кругов мешают ему заговорить в полный голос. Борьба с ним, как правило, ведется в ключе политкорректности: нам говорят, что евреи такие же люди, как и прочие, что быть антисемитом «неприлично» и т. д. и т. п. То есть нас призывают соблюдать условности, которые ничего не говорят ни уму ни сердцу.

Но раз уж пришло время обсуждать еврейский вопрос, надо брать его в полном объеме, иначе говоря, надо видеть прежде всего прочего его религиозную глубину. С христианской точки зрения евреи — не такие же, как прочие, но это значит, что они в некотором смысле выше прочих, а не наоборот<sup>7</sup>. Еврейский народ, и только он один, — избранный Богом; в каноническом смысле, насколько я знаю, таковым он остается по сей день. Конечно, то обстоятельство, что евреи в большинстве своем не приняли Христа, бросает на них тень, но она не может лишить их принадлежащего им места в священной истории — каковое просто обязывает всех христиан относиться к ним с особым чувством<sup>8</sup>. Следует также помнить, что священная история не закончилась и что в будущем, по слову апостола, «Весь Израиль спасется» (Рим. 11: 26). («Весь» — или в количественном смысле, или в смысле «святого остатка», «отвечающего» за всех.)

Вместе с тем из факта изначального величия и особой значительности еврейского народа следует, что он не должен оставаться «вне критики» (что явилось бы проявлением такта в отношении народа, о котором ничего существенного нельзя было бы сказать, кроме того, что он гонимый). Обходить «скользкие» вопросы — значит фактически уступать поле боя антисемитизму. Положим, в составе антисемитизма есть иррациональные моменты, трудно поддающиеся обсуждению, — это и религиозная ревность, и чисто земная зависть, и бытовое инстинктивное неприятие. Но есть и некоторые историософские построения, которые могут и должны быть предметом анализа.

Вот, пожалуй, две темы, в такой же мере «освоенные» российским черносотенным антисемитизмом, как и любым другим: власть еврейского финансового капитала и еврейская культурная «чужеродность».

Относительно первого необходимо заметить, что усматриваемое в «еврейских финансах» зло, а именно некоторая их вненациональность и стремление к самодовлению, есть черта финансового капитала как такового, независимо от его принадлежности. И что это зло есть обратная сторона добра: финансовый капитал нужен «в смысле обмена веществ». Отчего, конечно, зло не перестает быть злом. Так белые и красные кровяные тельца выполняют необходимую работу, разнося по всему организму витамины и прочее, но их избыточный рост и чрезмерная «агрессивность» ведут к разного рода заболеваниям.

<sup>7</sup> Позволю себе поделиться тем, как я шел к этому «открытию». С детских лет имея евреев в числе лучших друзей, я тем не менее в глубине души испытывал некоторые антисемитские шевеления (в отношении *других* евреев). И только религиозность позволила мне от них освободиться. Отыскав дорогу к храму, я впервые задумался над тем, что и Дева Мария, и апостолы, и, еще прежде, пророки — все были люди одной национальности. Мне стало ясно, что на евреев надо смотреть «сквозь» искажения времени, не путая «случайные черты» с тем, что является призванием и сущностью этого народа.

<sup>8</sup> Вот что пишет об этом «черносотенный» о. Сергей Булгаков: «...есть и не может не быть, должно быть некое неизреченное и неисчерпаемое чувство благодарности от всех народов, по крайней мере, уже включенных в христианство (а далее и в него пока не включенных, но еще имеющих включиться) по отношению к Израилю» (Прот. Сергей Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. Paris, 1991, стр. 71 — 72).

Поэтому перед финансовым капиталом надо распахивать двери и вместе с тем уметь осаживать его, где надо и когда надо. Повторяю, это относится к финансовому капиталу в целом (да и к капиталу вообще). Евреи в силу своей большей беспочвенности (если, конечно, не иметь в виду Израиль) сравнительно с остальными играют в мире финансов наиболее заметную роль<sup>9</sup>, но при этом никакой своеобразной величины, навязывающей свои «уставы» другим, собою не представляют. Всегда и везде евреи вынуждаемы были «играть по правилам», принятым в странах пребывания. И если существует «культ Мамоны», не евреи его создали; его создала цивилизация, с которой связало свою судьбу еврейство.

Культура. Нельзя отрицать, что усилия евреев — не в качестве иудаистов (В. Соловьев писал, что полнота иудейства есть христианство и полнота христианства обнимает собою иудейство), а в качестве атеистов — часто являются сознательно или стихийно антихристианскими, оспаривающими христианские начала культуры «с точки зрения пустоты». Но, опять-таки, это вина цивилизации, которая сделала их атеистами и которой они, так сказать, возвращают сторицей то, что от нее получили.

У российских черносотенцев есть к евреям и свой особый счет: они-де несут ответственность за все преступления большевизма. Указывают на то, что доля евреев в партии и особенно в партийном руководстве, а также в ЧК до поры до времени была действительно очень значительной. Не я первый, однако, задаюсь вопросом: как это сравнительно малочисленные евреи могли бы «сесть» на Россию, если бы она сама того не захотела? Если бы не было призыва большевистствующих «инородцев», в их числе евреев? (Кстати, с невозможностью подобного фактически соглашается и Кожин.) И призвали их те, мягко говоря, недалекие люди, с которыми и сегодня идентифицируют себя господа макашовы, кондратенко и иже с ними.

Каждый из бегло рассмотренных мною «казусов» позволяет прийти к заключению: нельзя делать вид, что «проблемы нет». «Проблема есть», но важно подчеркнуть, что в каждом случае пропорции ее достаточно скромны и не дают повода для той гиперболизации еврейского вопроса, какую мы находим у черносотенных идеологов.

На мой взгляд, ее можно объяснить отчасти смешением двух планов бытия. В метаисторическом плане роль еврейского народа, как я уже сказал, действительно уникальна. Но это не значит, что ее позволительно проецировать непосредственно в план истории. Ни один серьезный историк, вообще ни один трезвомыслящий человек не согласится с тем, что в современном мире евреи играют какую-то первоплановую роль, будь то в позитивном или негативном смысле. И уж тем более не станет слушать, если ему начнут говорить о «жидомасонском заговоре», всю планету опутавшем своею паутиной. Есть только один глобальный «заговор» — тот, в который вступил падший ангел с приспешниками его. Но секулярно мыслящих людей, включая сюда тех, кто кладет крест по писаному, такой всеприсутствующий и трудноуловимый противник «не устраивает»; и они придумали себе «любимого врага» во плоти, которому приписали черты врага метафизического.

Кожин считает, что «загадочные страницы» возникают в истории потому, что есть люди, которые скрывают от других людей какие-то «секреты». Но история вся — таинственна, и чем меньше отдаешь себе в этом отчет, тем скорее попадаешь в тупик. Вот еще «загадочная страница»: пореволюционное черносотенство, поставившее задачей создание могучего и внутренне цельного

---

<sup>9</sup> Любая диаспора, не только еврейская, находясь «в подвешенном состоянии», проявляет особую, «пробивную» энергию, отвоевывая себе место в той или иной сфере деятельности, чаще всего в коммерции. Что вызывает неудовольствие и часто негодование в странах пребывания, хотя в конечном счете последние должны быть благодарны диаспорам, ибо те «заражают» их своей энергией, становятся для них «школой деловых навыков». Это прекрасно показал Г. Померанц в статье «Другой» («Время МН», 1998, 30 ноября).

государства, стало (наряду с коммунистическим прожектерством) причиной такого обвала и такого глубокого внутреннего разлада, о котором никакие враги, реальные или вымышленные, не смели даже мечтать.

Может быть, хоть теперь будет понято, что нельзя строить будущее на испуге. Нельзя все время пятиться перед тем, что называется мировым процессом, или пытаться как-то его заговорить. Для сравнения: «белая» Россия, по крайней мере со времен Пушкина, вела себя в мире, скажем так, естественно-наступательно: все впитывала, все по-своему перерабатывала и переработанное возвращала — на удивление иноземцам. И можно утверждать с большой долей уверенности, что, не будь революции, роль России в духовной жизни мира еще возросла бы; и мир через это был бы другим. (Сказанное вовсе не означает, что все у нас было бы хорошо: в любом случае русская жизнь сильно усложнилась бы и различные болезненные процессы нашли бы в ней место. И, между прочим, разлив черносотенной стихии был, по-видимому, неизбежен; другое дело, что его удалось бы стеснить в определенных берегах.) А черно-красные, лишив страну необходимых духовных энергий (удастся ли их восстановить — большой вопрос), привели страну в такое состояние, что она теперь становится едва не по всем параметрам придатком развитых стран.

Есть ли будущее у черносотенства? Подобно избушке на курьих ножках, оно сейчас поворачивается, «как мать поставила», глазами к уваровской триаде, изначальной своей «альфе и омеге». И тут же обнаруживает ее совершенную утопичность. Отчего приходит, по крайней мере в лице Кожина, к безрадостному для себя выводу, что «программа „черносотенцев” не может „победить” — как не могла она победить уже и в начале нашего века».

Но рядом на той же странице Кожин пишет прямо противоположное: своей задачей он ставит «выдвижение „черносотенства” в качестве программы для современной, сегодняшней борьбы в сфере идеологии и в конечном счете политики». Вообще в книге Кожина немало противоречий, но данное противоречие как раз можно объяснить. В своем изначальном виде черносотенство, по-видимому, обречено, ибо слишком связано, как справедливо писал Б. Никольский (цитирую по монографии Степанова), с «живой простонародной почвой», каковою она была в начале нашего века. Но оно, конечно, не исчезнет совсем, а перетечет во что-то другое (иначе говоря, его ждут новые превращения). Что именно — не берусь пока определить. Знаю только, что это другое будет существенно меньше связано с исторической почвой и больше подвержено воздействию разного рода ветров, как низовых, так и верховых.



---

---

# МИР НАУКИ

БОРИС ИОФФЕ



## ОСОБО СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

*Из истории атомного проекта в СССР*

А теперь расскажу о двух крупных физиках, связанных с атомной проблемой, — И. В. Курчатове и А. И. Алиханове. Хотя Алиханова я знал намного лучше, начну с Курчатова, поскольку он более известен. Курчатов был человеком очень необычным: организатор высочайшего класса, я не знаю ни одного другого с такими блестящими организаторскими способностями. Прежде всего он обладал колоссальнейшим влиянием. При этом у него не было соответствующего такому влиянию официального поста. Помимо должности директора Лаборатории № 2, переименованной в 1949 году в Лабораторию измерительных приборов (ЛИПАН), а затем в 1956 году в Институт атомной энергии (ИАЭ), он занимал лишь пост председателя научно-технического совета при ПГУ в Минсредмаше, органа с рекомендательными функциями. Я не знаю, как Курчатов добился такого влияния и как сохранял его, но то, что это влияние сохранялось при всех властителях — и при Сталине, и при Хрущеве, — несомненно. Приведу один факт, которому сам был свидетелем. Я находился в кабинете у Курчатова, и ему по какому-то делу понадобилось позвонить Косыгину. Косыгин тогда еще не был Председателем Совмина, но уже являлся очень важной фигурой в правительстве. Игорь Васильевич набрал номер (по вертушке — напрямую правительственному телефону) и сказал: «Алексей Николаевич, это Курчатов. Нам нужно, чтобы было сделано то-то и то-то. И это должно быть сделано к такому-то сроку. Я прошу Вас принять меры, чтобы это было выполнено». И как я понял, ответ с той стороны был: «Это будет сделано, Игорь Васильевич». Вместе с тем этот человек понимал и любил науку (а не только себя в науке, как многие из сегодняшних ее «организаторов»).

В этой связи приведу один эпизод. Дело происходило в 1955 году, когда встал вопрос о создании атомных электростанций и их экономической целесообразности. Для решения проблемы нужно было знать потребность в уране: как часто понадобится подпитывать станцию свежим ураном, то есть какова допустимая степень выжигания урана в реакторе АЭС. Я проводил соответствующие вычисления. Сложность проблемы состояла в том, что результат сильно зависел от физических констант — параметров урана и плутония, которые были известны недостаточно хорошо. Поэтому я пошел обходным путем и определил необходимую комбинацию констант исходя из данных о работе действующих реакторов по производству оружейного плутония. Результаты расчета я сообщил Алиханову, а тот в свою очередь — Курчатову. С другой стороны, аналогичные расчеты выжигания урана в атомных электростанциях проводил С. М. Фейнберг в ЛИПАНе. В один прекрасный день меня вызывает секретарь Алиханова — его самого не было — и говорит, что по вертушке звонит Курчатов и просит меня к телефону. (В то время я являлся лишь кандидатом наук, младшим научным сотрудником, так что дистанция между нами была огромная.) Курчатов говорит, что знает о моих расчетах, и просит изло-

---

Окончание. Начало см. «Новый мир», № 5 с. г.

жить результаты. Когда я кратко их сообщаю, он замечает, что они сильно расходятся с расчетами Фейнберга, мои намного хуже, и поэтому ему нужны подробности. Беру секретную тетрадь, по телефону диктую Игорю Васильевичу цифры, которые, как я понимаю, он откладывает на миллиметровке и сравнивает с цифрами Фейнберга. Основное различие между моим расчетом и расчетом Фейнберга состояло в том, что при глубоком выгорании урана, которое, в отличие от военных реакторов, имеет место в атомных электростанциях, происходит накопление плутония-240, обладающего большим резонансным захватом. Этот захват Фейнберг не учитывал (или учел, но недостаточно), так как непосредственных измерений его не было, а я определил эффективные параметры плутония-240 из анализа работы военных реакторов. Это все я объяснил Курчатову. Разговор продолжался минут сорок, и в конце его Игорь Васильевич согласился с тем, что мои результаты правильны, хотя, очевидно, ему это было неприятно, поскольку приводило к заметному ухудшению параметров атомных электростанций.

Другой замечательной чертой Курчатова была его удивительная способность подбирать людей. Одним из примеров этого может служить тот же Фейнберг. Он возглавлял группу, проводившую физические расчеты реакторов в ЛИПАНе. В то же время он хорошо разбирался в вопросах конструкции реакторов и в теплотехнике. Сочетание этих качеств в одном лице крайне важно, поскольку физические и конструктивные требования к реактору обычно находятся в конфликте. В этом смысле ТТЛ (ИТЭФ) уступала ЛИПАНу (ИАЭ): у нас работали прекрасные физики-теоретики, рассчитывавшие реактор, и отличные инженеры, но это были разные люди, что, конечно, хуже. Попал на эту должность Савелий Моисеевич Фейнберг только благодаря дару Курчатова оценивать людей с первой встречи. Как-то в разговоре с группой сотрудников Курчатова заявил, что ему нужен человек, который мог бы рассчитывать реакторы и понимать в инженерном деле. Один из участников разговора, Е. Л. Фейнберг, сказал, что у него есть подходящий кандидат — его двоюродный брат С. М. Фейнберг. По специальности он инженер-строитель, но это очень способный человек, и Евгений Львович не сомневается, что за короткий срок Савелий Моисеевич освоится и справится с новой профессией. После первой же встречи с С. М. Фейнбергом Игорь Васильевич взял его на работу, и тот оправдал все ожидания.

Важным достоинством Курчатова было то, что, являясь главой атомной программы и обладая колоссальной властью, он не стал полным монополистом и не стремился задавить конкурентов, как это сделал бы современный босс от науки. Примером такого поведения может служить программа сооружения ядерных реакторов для производства трития, о которой я говорил выше. Как глава всего атомного проекта, Курчатов мог легко забрать программу себе. Он этого не сделал, но предложил своему институту представить проект графитового реактора, а конкурирующей организации, ТТЛ, — проект тяжеловодного реактора для той же цели. Дальше происходило сопоставление обоих проектов. В итоге конкурирующая организация — ТТЛ — не была полностью задавлена, тяжеловодные реакторы строились. И это была, как мне думается, принципиальная позиция Игоря Васильевича: допускать конкуренцию в некотором объеме — 10 — 20 процентов — и не давить ее полностью. Он понимал: конкурент так же нужен, как волк-санитар в лесу для улучшения породы, наличие конкурента улучшает работу и его института.

Вместе с тем Курчатов оставался человеком своего времени. Это был жесткий руководитель, это был деятель. Монополизм в науке идет именно от него. Но Курчатов, если угодно, воплощал собою «просвещенный монополизм», смягчаемый пониманием необходимости конкуренции, любовью и интересом к науке. (Любопытная деталь: Курчатов стал членом ВКП(б) только в августе 1948 года, будучи к тому времени уже более пяти лет руководителем атомного проекта.) Одним из примеров его любви к науке, причем не только к той, которой занимался он сам, является организация в 1958 году, в эпоху лысенковщины и гонений на генетику, Радиологического отдела в ИАЭ, где

проводились исследования по генетике и где кое-кто из генетиков нашел себе убежище. У тех, кто приходил после него, эти положительные черты стирались, да и научный уровень был уже не тот, а стремление к монополизму сохранялось и даже усиливалось.

Есть известное высказывание: «Нет великого человека без великого события». Верно и то, что, когда великое событие, породившее великого человека, кончается, великий человек уходит, и, как правило, уходит физически. Мне кажется, то же произошло и с Курчатовым: когда к 1960 году грандиозная задача создания атомного оружия была решена, для него уже не оставалось места, и он ушел.

Теперь расскажу об Алиханове. Я отношусь и всегда относился к Абраму Исааковичу с большим уважением и симпатией. Считаю даже, что у меня было три учителя: Ландау, Померанчук и Алиханов, хотя Алиханов не был теоретиком и не мог учить меня по моей профессии — теоретической физике. Но он учил меня другому, не менее важному, — чувству ответственности, гражданскому мужеству. Именно благодаря ему я стал значительно лучше понимать, что происходит в нашей стране.

Алиханов и Курчатов являлись основателями ядерной физики в Советском Союзе. Именно эти две кандидатуры рассматривались при выборе главы ядерной программы — их рекомендовал А. Ф. Иоффе. Курчатов был на этот пост выдвинут не за его более высокие научные достижения (в то время Алиханов уже был членом-корреспондентом Академии наук, а Курчатов — нет), а поскольку произвел лучшее впечатление сначала на Кафтанова, а затем на Молотова. На выборах в Академию наук в 1943 году, когда Алиханова и Курчатова избрали в академики, вначале выделено было одно место, которое досталось Алиханову, и лишь потом утвердили еще одно и на него избрали Курчатова. Но в целом, надо прямо сказать, на роль главы программы Курчатов, конечно, подходил гораздо больше, чем Алиханов.

Алиханов явился создателем и первым директором Лаборатории № 3 (ТТЛ, а затем ИТЭФ). С самого начала институт был весьма необычным. Директор и его заместитель по науке, В. В. Владимирский, — оба беспартийные, беспартийным было и подавляющее большинство начальников лабораторий. Благодаря Абраму Исааковичу состав института, его моральный и научный уровень сохранялись на высочайшем уровне. Как я уже говорил, институт был организован в декабре 1945 года с задачей сооружения тяжелых ядерных реакторов. Но уже в первом постановлении правительства о создании Лаборатории № 3 в качестве одной из ее задач фигурировали физические исследования ядерных частиц большой энергии — основное направление работ сегодняшнего ИТЭФ. В этом сказалось блестящее научное предвидение Алиханова. Поскольку реакторы были нужны, с существованием института мирились, хотя он всегда оставался бельмом на глазу у начальства.

В молодости личные отношения Курчатова и Алиханова были, по-видимому, совсем хорошими. В 1942 году, когда ни тот, ни другой не имели квартиры в Москве, Курчатов короткое время даже жил у Алиханова в коммуналке, в комнате, принадлежавшей его жене. Позднее, когда Курчатов стал видной фигурой, отношения несколько изменились. На совещаниях, которые вел Курчатов, Абрам Исаакович садился куда-нибудь в угол и пускал оттуда критические замечания. Чувствовалось, что ему хотелось подковырнуть Курчатова и его несколько раздражало то, каким деятелем тот стал. Но далеко все это не заходило. В 1954 году, когда происходил запуск так называемой «первой в мире атомной электростанции» в Обнинске<sup>1</sup>, Курчатов, Алиханов и А. П. Александров<sup>2</sup> провели целый месяц на этом объекте.

<sup>1</sup> На самом деле эту электростанцию никак нельзя назвать «первой». Первым электро-энергию от атомного реактора, причем сразу на быстрых нейтронах, получил Э. Ферми еще в 40-х годах.

<sup>2</sup> Александров Анатолий Петрович (1903 — 1994) — физик, академик АН СССР, президент АН СССР с 1975 по 1986 год. В 1946 — 1954 годах директор Института физических проблем (ныне ИФП имени П. Л. Капицы), позже директор Курчатовского института.

В том же году И. В. Курчатов, А. И. Алиханов, И. К. Киконин и А. П. Виноградов написали статью, в которой анализировались возможные последствия атомной войны и делался вывод, «что над человечеством нависла огромная угроза прекращения всей жизни на земле». До этого официальным утверждением советской пропаганды было, что новая мировая война означала бы конец капиталистической системы. Статью подписал также министр среднего машиностроения В. А. Малышев, и она была направлена Маленкову, Хрущеву и Молотову. Маленков, по-видимому, разделял точку зрения авторов статьи, поскольку в одном из своих выступлений сказал, что новая мировая война приведет к гибели мировой цивилизации. Однако Хрущев в январе 1955 года осудил эти взгляды, назвав их «теоретически неправильными, ошибочными и политически вредными». Партия вернулась к старой формуле, и статья опубликована не была.

Абрам Исаакович не любил советскую власть. Он ясно понимал ситуацию в стране и не питал каких-либо иллюзий. В этом отношении он был достаточно откровенен, во всяком случае, откровеннее других известных мне видных физиков. В 50-е годы он имел обыкновение раз или два в неделю заходить вечером в ту комнату, где сидели мы с Рудиком, и после обсуждения реакторных дел и вопроса: «Что нового в теории?» — переводить разговор на общие, часто политические, вопросы. Я многое узнал из этих разговоров. В частности, мне запомнились его рассказы о том, что делал Берия в бытность свою в Тбилиси, до перевода в Москву: как неугодных ему людей хватили на улицах, истязали в застенках, как организовывалась охота на женщин, которые ему понравились и которых он делал своими любовницами, а их мужей просто убирал — убивал или сажал в тюрьму. Причем говорилось это, включая общую характеристику Берии («страшный человек!»), еще до его падения.

К этой общей характеристике политической позиции Абрама Исааковича можно добавить такой штрих. Он был единственным из крупных физиков, который посещал П. Л. Капицу после того, как его по приказу Сталина отправили в ссылку на подмосковную дачу. И посещал до тех пор, пока его не вызвали в «инстанции» и не сказали, что если он не прекратит эти посещения, то сам отправится туда же, а может быть, и подальше. От Абрама Исааковича же я узнал, что Капицу сняли с работы и сослали потому, что он написал письмо Сталину, где говорилось, что Берия некомпетентен в ядерных вопросах и не может возглавлять атомный проект. Берия требовал куда более строгого наказания Капицы — ареста со всеми вытекающими отсюда последствиями, но в защиту Капицы выступили Маленков и Молотов, и Сталин смиростивился.

В институте Алиханов старался поддерживать такой порядок, чтобы все служило на пользу науке, а всевозможные бюрократические и режимные ограничения сводились бы к минимуму. Это было непросто. В институте существовала должность Уполномоченного Комитета обороны (потом ЦК КПСС и Совмина). Ее занимал генерал-лейтенант МГБ Осетров. Его биография примечательна: он возглавлял операцию по выселению одного из северокавказских народов. (Об этом мне рассказал его адъютант, который участвовал в акции.) По некоторым вопросам Осетров мог действовать через голову Алиханова, но он был умным человеком и понимал, что в случае конфликта с директором одному из них придется уйти, а кому — было не ясно. Поэтому он предпочитал не вмешиваться в дела без крайней на то необходимости (если не будет указания сверху). И Теплотехническая лаборатория продолжала оставаться остротром свободы (относительной, конечно) и разумности.

В первую очередь это касалось режима секретности. Существовало официальное правило, по которому каждому исполнителю следовало знать только свое, порученное ему дело и не обсуждать его ни с кем, кроме своего начальника. В ТТЛ это правило полностью игнорировалось, и необходимые обсуждения свободно проводились не только среди теоретиков, но и с экспериментаторами, инженерами. Было правило, как писать секретные отчеты. Такие сло-

ва, как «уран», «торий», «нейтрон», и многие, многие другие нельзя было употреблять. Вместо них следовало пользоваться шифром — «уран» был «олово», «торий» — «селен», «нейтрон» — «нулевая точка» и т. д. Временами доходило до полного абсурда. Так, например, шифром для «бериллия» служил «алюминий», но был ведь и обыкновенный алюминий. Поэтому сплав бериллия с алюминием в отчете выглядел как сплав алюминия с алюминием. У нас в институте этот тарабарский язык, сильно затруднявший понимание (и бессмысленный с точки зрения сохранения секретности), не использовался, хотя в других институтах отчеты писались именно на нем, а иногда им пользовались даже в докладах и обсуждениях. В виде курьеза замечу, что в Обнинске, который принадлежал к другому ведомству, был свой тарабарский язык, основанный на астрономических терминах — названиях планет и т. д. (Скажем, «быстрые нейтроны» были «искровые метеориты».) Поэтому первым ощущением при чтении отчетов из Обнинска было чувство тошноты — начинала кружиться голова.

ТТЛ была уникальна также и по подбору кадров. Их Алиханов подбирал на основе только научной квалификации (и, конечно, порядочности — негоде-ев не брали). Анкетные данные — национальность, партийность — роли не играли. Конечно, здесь бывали трудности, но каждый раз Алиханов удавалось их преодолеть. И это относилось не только к известным ученым — извест-ных ученых с плохими данными до поры до времени брали и в других мес-тах, — но и к молодым людям, включая инженерно-технический персонал. И с каждым будущим новым сотрудником Алиханов предварительно беседовал сам. Мой случай является таким примером. Я был единственным евреем со всего курса физфака в 1949 году, который получил назначение в хорошее мес-то. Все остальные либо не получили никакого назначения, долго искали рабо-ту и в конце концов устраивались не по специальности (например, экскурсо-водом в Планетарии), либо направлялись работать на заводы вне Москвы. Я не сомневаюсь, что своим назначением обязан Абраму Исааковичу и, конеч-но, Померанчуку, который меня ему рекомендовал.

Наконец, административный и хозяйственный персонал ТТЛ, который был весьма невелик, подбирался и направлялся директором так, чтобы рабо-тать на науку, а не на самого себя, как это обычно происходит в наше время.

Большую часть своей жизни Алиханов положил на создание тяжеловодных реакторов. Первый тяжеловодный исследовательский реактор в СССР был пу-щен в ТТЛ в 1949 году, то есть через три года после организации ТТЛ. Если учесть еще, что лаборатория создавалась на пустом месте и никакого опыта в создании тяжеловодных реакторов в стране не было (да и по части графитовых реакторов опыт был очень невелик), то это потрясающий результат. Менее чем через два года после этого под руководством Алиханова на базе вступил в строй промышленный тяжеловодный реактор по производству плутония и урана-233. Вместе с тем, опять-таки по инициативе Абрама Исааковича, в ТТЛ стали раз-рабатываться проекты тяжеловодных реакторов мирного назначения — для атомных электростанций. Одним из таких проектов (из числа первых реактор-ных расчетов, выполненных мной) был проект тяжеловодного реактора-размно-жителя на тепловых нейтронах, работающего на цикле торий — уран-233. (За-мечу, что именно такой цикл, как наиболее перспективный для атомной энер-гетики — в сочетании с ускорителем, — вновь предложил недавно лауреат Но-белевской премии К. Руббин.) Эта работа началась в 1950 году и в дальнейшем привела к сооружению в 1972 году первой атомной электростанции с реакто-ром КС-150 в Чехословакии. (КС расшифровывается как «котел селеновый»: «селен» — это «торий», слово из тарабарского жаргона 50-х годов.)

Однако такое успешное становление и развитие института в 1951 году ока-залось под серьезной угрозой. Причины опять были политические. Как я уже говорил, Теплотехническая лаборатория вызывала большое раздражение у вла-стей предрешающих. И вот в ТТЛ направили проверочную комиссию ПГУ.

В это время Алиханов и его заместитель Владимирский были на базе, занимаясь подготовкой к пуску реактора, а обязанности директора исполнял Сергей Яковлевич Никитин (тоже, кстати, беспартийный). Цель комиссии была очевидна: собрать компромат. Комиссия изучала документы и допрашивала всех научных сотрудников. Вопросы задавались разные, сплошь и рядом провокационные. Меня, например, спросили, какую последнюю книгу я читал. Я сдурю назвал Бальзака, что было правдой. Как я потом узнал, мне было поставлено в вину, что я читаю буржуазных писателей. Меня спросили также, сколько работ я сделал за время пребывания в институте. Работ было одиннадцать, из них шесть закрытых и пять открытых, и все они выполнялись совместно с Рудиком. Как мне рассказал потом Сергей Яковлевич, который, как и о. директора, входил в состав комиссии, после того, как я вышел, председатель комиссии, полковник МГБ, предложил одного из нас — меня — уволить, а чтобы другой — Рудик — делал только закрытые работы. И Никитину стоило большого труда отстоять меня, аргументируя тем, что закрытых работ было больше, чем открытых, и кроме того, когда трудятся двое, возникает кооперация, ускоряющая и улучшающая работу. Члены комиссии отступились только после того, как Никитин спросил их, берут ли они на себя ответственность, если в результате увольнения одного из теоретиков задания по закрытой деятельности не будут выполнены.

Но в других случаях результаты собеседований оказались не столь благополучными. На основании деятельности этой комиссии Завенягиным, зам. начальника ПГУ, был подписан приказ, фактически означающий разгром института: несколько десятков лучших сотрудников, в основном евреев, подлежали увольнению, директору вменялись серьезные финансовые и хозяйственные нарушения, фактически даже преступления. (Например, утверждалось, что из построенных для института жилых домов-коттеджей один украден.) Был пункт относительно Померанчука, которого объявили «злостным совместителем»<sup>3</sup>.

И тут Никитин совершил неслыханный по тем временам поступок: отказался выполнить приказ! Он заявил, что в отсутствие директора выполнить этот приказ не может. И в таком состоянии, не увольняя никого, ему удалось продержаться месяц или два. За это время реактор на базе был успешно пущен, Алиханов вернулся «со щитом», пошел к Ванникову и добился отмены, точнее, замены приказа. В новом приказе число увольняемых было меньше — человек 10 — 12, обвинения в финансовых преступлениях тоже отпали. Институт уцелел, хотя и понес серьезные потери. (Никитину не простили его дерзкого поступка: через год, придравшись к какому-то пустяку, его сняли с поста начальника отдела и перевели в старшие научные сотрудники. Вернуть его на прежнюю должность Алиханову удалось лишь через несколько лет.)

Те события, о которых идет речь, явились крупной массивной атакой на институт. (Они повторились в 1956 и 1968 годах.) Но были и более мелкие случаи, когда директору приходилось защищать сотрудников (и науку) и брать на себя ответственность. Где-то в 1951 или 1952 году Абрам Исаакович вызвал Галанина, Рудика и меня, сказав, что просит нас написать заключение на секретный отчет. Фамилия автора была нам неизвестна, а содержание отчета состояло в объяснении устройства атомных ядер. К отчету был приложен ящик с искусно изготовленными деревянными деталями, из которых можно было, согласно теории автора, составлять ядра. Но главное во всем было то, что на ти-

<sup>3</sup> Действительно, за год или два до того Померанчук приказом того же ПГУ был назначен по совместительству начальником теоретического отдела в ГТЛ (Дубна). Он регулярно, раз в неделю, ездил в Дубну, фактически создал там теоретдел, послав туда несколько своих учеников, вел много обсуждений с экспериментаторами, направляя их на решение актуальных задач. Но никаких дополнительных денег за эту работу не брал, хотя в Дубне ему настойчиво пытались заплатить. Поэтому при замене приказа Завенягина новым исключить этот пункт было нетрудно, но должность начальника теоретического отдела в Дубне Померанчуку пришлось оставить.

тульном листе имелась резолюция: «Акад. А. Н. Несмеянову. Прошу представить заключение. Берия». Далее шла резолюция Несмеянова, тогда президента Академии наук, адресованная Алиханову. Абрам Исаакович, понимая наши чувства, сказал: «Напишите то, что думаете. Я подпишу, пойдет за моей подписью». После этого написать отзыв не составляло труда. Отзыв ушел — и ничего. Уже потом я узнал, кто был автор: начальник лагерей на Колыме. Это объяснило все — и подпись Берии, и хорошо выпиленные деревяшки.

Я не буду говорить о роли Алиханова в событиях 1956 года в ИТЭФ, когда решением секретариата ЦК партийная организация института была распущена, многих исключили из партии, а четырех человек, включая Ю. Ф. Орлова, уволили. События 1956 года и роль в них Алиханова, фактически спасшего институт, подробно описаны в книге Орлова «Опасные мысли».

В качестве интермедии расскажу о том, как была организована охрана ведущих ученых, занятых в атомном проекте. Каждому из них полагалось несколько человек, которые круглосуточно охраняли «объект». (На их языке он так официально и именовался.) Это были офицеры МГБ в чине майора или выше, в хорошей физической форме. Мы называли их «духи». У Алиханова одно время их было трое, потом двое. Днем они сопровождали «объект», куда бы он ни пошел, а если он находился на заседании или в своем кабинете, сидели в приемной. Поэтому, приходя на какое-нибудь совещание, можно было сразу определить, сколько на нем «великих». Когда Алиханов жил в коттедже в Институте физических проблем, в передней его квартиры сидел «дух». В его коттедже на территории ИТЭФ была специальная комната для «духа». Наличие и количество «духов» у разных ученых со временем менялось. Это служило мерилom их престижа и положения. Когда одного очень крупного научного работника как-то лишили «духов», это его глубоко оскорбило. Другие же, Алиханов и Зельдович, тяготились такой «опекой». Работа у «духов» временами оказывалась довольно тяжелой, даже опасной. Так, кое-кто из «объектов» увлекался альпинизмом, и бедному «духу» приходилось лезть в гору, чему его не обучали.

Я знал одного из «духов» Алиханова довольно хорошо и часто с ним разговаривал. Это был приятный человек, «имевший отношение» к русской интеллигенции — до Алиханова он являлся «духом» А. Н. Толстого. Абрам Исаакович от своих духов — он называл их «мои секретари» — получал немалую пользу. Периодически те собирались на Лубянке для инструктажа или чего-либо еще. И, естественно, там шел треп. Именно отсюда Абрам Исаакович получал информацию, в частности очень важную, о том, кто наверху идет еще выше, а кто вниз. Но иногда эта информация бывала ложной, и Абрам Исаакович, ориентировавшийся на нее, делал промахи. Так, например, произошло с М. Г. Первухиным. В 1956 году Первухина назначили министром среднего машиностроения. Абрам Исаакович сразу же после его назначения (а может быть, и до) имел с ним беседу и получил поддержку. Но оказалось, что это назначение произошло на пути Первухина вниз — вскоре тот был смещен, и его поддержка мало что значила, а возможно, даже дала отрицательный эффект.

Второй основной заслугой Алиханова было создание в Советском Союзе жесткофокусирующих ускорителей протонов высоких энергий. Как известно, эта идея пришла из США, но сразу же была подхвачена Владимирским в ТТЛ, где под его руководством создали сначала проект ускорителя на 7 Гэв, а затем большего ускорителя — на 50 — 70 Гэв. В разработке последнего большую роль сыграли Ю. Ф. Орлов и Д. Г. Кошкарёв, который придумал, как проходить критическую энергию. Абрам Исаакович загорелся идеей сооружения жесткофокусирующих ускорителей и со свойственной ему энергией стал проводить ее в жизнь. Он добился того, чтобы к ТТЛ присоединили прилегающую территорию, и на ней началось сооружение ускорителя на 7 Гэв. (Этот ускоритель работает и сейчас: при нем действует один из немногих в мире протонных пучков для лечения раковых больных.) Абрам Исаакович воуду-

шевлял и организовывал все экспериментальные группы для работы на будущем ускорителе, форсировал проектные и строительные вопросы. Если против создания в ТТЛ ускорителя на 7 Гэв серьезных аргументов не было, то идея сооружения ускорителя на 70 Гэв встретила большое сопротивление. Против него выступили те, кого в ТТЛ называли «4 Б»: Боголюбов, Блохинцев, Бурлаков (тогда ведущий работник отдела ЦК, курировавшего атомную проблему) и Борис Львович (Ванников). Алиханову при поддержке Курчатова удалось преодолеть их сопротивление, и было принято решение о создании под Серпуховом ускорителя протонов на 70 Гэв по проекту ИТЭФ как его филиала. В дальнейшем группа Боголюбова изменила свою позицию, пытаясь захватить будущий ускоритель в свои руки, и преуспела в этом. Борясь с таким оборотом событий, Абрам Исаакович получил инсульт — прямо в кресле кабинета А. Петросьянца, председателя Комитета по атомной энергии.

Алиханов был снят с поста директора ИТЭФ в 1968 году за то, что отказался уволить начальника математического отдела А. С. Кронрода, подписавшего письма с просьбой выпустить из психушки известного математика и правозащитника А. С. Есенина-Вольпина.

Та моральная атмосфера, тот высокий научный уровень, который был в ИТЭФ, — это, безусловно, заслуга Алиханова. Я считаю ИТЭФ уникальнейшим институтом в Советском Союзе, и если подобные институты еще и были, то, может, один-два. И поэтому очень досадно, что в отличие от большинства других институтов, носящих имя своего основателя, ИТЭФ не носит имя А. И. Алиханова...

Остановлюсь еще на сооружении атомных реакторов в Китае, которое проводилось при мощной поддержке СССР, на основе советских проектов и в основном руками наших технических специалистов — своих в Китае тогда не было. Глава китайской ядерной программы Цянь решил начать ее с создания исследовательского тяжеловодного ядерного реактора. Сделать проект такого реактора и послать в Китай специалистов для его строительства и пуска поручили ИТЭФ. Я получил задание выполнить физический расчет реактора. Для того чтобы научиться рассчитывать реакторы, к нам в ИТЭФ приехали три китайских физика, которых мне предстояло обучать. Одним из них оказался Пэн (Peng), теоретик, работавший в 30-х годах с В. Гайтлером. В 50-х он уже был академиком, который главным образом представлял. Другой, очевидно, являлся комиссаром при группе, наука его не интересовала, перед ним стояли другие задачи. И лишь третий — молодой человек по имени Хуан — оказался способным и работающим и за короткое время смог освоить эту науку. Исследовательский реактор в Китае был сооружен очень быстро и пущен в 1959 году. В дальнейшем, когда взорвали первую китайскую атомную бомбу, я сделал оценку, возможно ли на этом реакторе получить то количество плутония, которое нужно для атомной бомбы, и пришел к отрицательному выводу. (Этот реактор работает до сих пор.) Одновременно с сооружением исследовательского реактора с помощью СССР строились военные реакторы для производства плутония и химические цеха для выделения его. Сверху последовало указание предоставить Китаю самые современные проекты, которые в СССР только реализовывались. Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали самую совершенную технологию, а вскоре произошел разрыв отношений с Китаем.

Остановлюсь еще на одной истории, связанной с атомной энергетикой. Она интересна тем, что проливает свет на закулисные механизмы, действовавшие в этой сфере, в частности в ее международном аспекте.

В Чехословакии, как известно, очень плохо с энергетическими запасами. Все гидроресурсы — весьма незначительные — давно задействованы, есть

лишь небольшие запасы бурого угля. Но имеются урановые рудники. (Сразу после войны эти рудники взяла под контроль Советская Армия, и вся добыча урана направлялась в СССР.) Поэтому чехословацкое правительство решило развивать в стране атомную энергетику и обратилось за помощью к Советскому Союзу. В 1957 году в Москву приехала чехословацкая правительственная делегация, чтобы заключить договора о сооружении в ЧССР атомных электростанций с нашей помощью. С советской стороны на стол переговоров легли несколько проектов атомных электростанций: предложенные Институтом атомной энергии, которые работали на обогащенном уране, и проект ИТЭФ с тяжеловодным реактором на естественном уране. Напомню, что в 1957 году, при Курчатове, монополизм еще не был столь силен, конкуренция допускалась, так что проект нашего института фигурировал на этом конкурсе более или менее на равных с проектами ИАЭ.

Чехи выбрали проект ИТЭФ. Соображения у них были следующие. У них есть свой уран, но диффузионных заводов для его обогащения нет. Поэтому, сооружая у себя атомные станции, работающие на обогащенном уране, они энергетически оказываются в полной зависимости от Советского Союза. Имея же АЭС на естественном уране, они рассчитывали, если не сейчас, то в будущем, добиться того, чтобы уран из отечественных рудников шел бы прямо на их АЭС. Конечно, предложенная нами АЭС конструктивно и технологически являлась более сложной. Но чехов это не пугало — уровень промышленности в Чехословакии был достаточно высоким. Более того, как мне потом рассказывали сами чехи, у них имелись далеко идущие планы: развить технологию и промышленность для серийного производства таких АЭС и выйти с ними на мировой рынок, где их будут покупать малые и развивающиеся страны, т. е. обеспечить себе независимую от СССР энергетику и экономику. Этой точки зрения придерживались все правительства Чехословакии до 1968 года, как ортодоксально-коммунистические — Запотоцкого и Новотного, так и Дубчека.

Первоначально пуск станции предполагался в 1965 — 1966 годах, но работа шла медленно, сроки переносились, и вот наконец решено было окончательно сформировать программу пуска в начале 1968 года, для чего предстояло послать в Чехословакию советскую делегацию. Но тут произошли события Пражской весны, и советское руководство посчитало необходимым выждать. Ждали до тех пор, пока в Чехословакию не ввели наши войска и к власти не пришло новое, просоветское правительство Штроугала. Тогда точка зрения резко изменилась: было решено форсировать пуск станции как доказательство советско-чехословацкой дружбы и того, что Старший брат помогает младшему, вернувшемуся на правильную стезю. Советская делегация должна была выехать в Чехословакию в ноябре 1968 года для переговоров и подписания окончательной программы пуска, и было жестко сказано, что провала в работе быть не должно. Это помогло мне впервые выехать за рубеж — до того меня за границу не пускали. Руководитель пуска Н. А. Бургов заявил, что без меня, ответственного за физический расчет реактора, он не гарантирует успеха. Перед отъездом нашей делегации предстоял инструктаж в Комитете по атомной энергии — таково было общее правило, — сначала в отделе атомных электростанций, затем в режимном отделе. Инструктаж в режимном отделе оказался совершенно необычным. Зам. начальника отдела сказал: «Мы не можем дать вам никаких инструкций, мы сами не понимаем, что происходит и как вам себя вести. Мы надеемся на вас. Действуйте сообразно обстоятельствам».

Переговоры происходили на заводе «Шкода» в городе Пльзень. Обстановка, в которой шло формирование программы, надо прямо сказать, доставляла мало радости. Те же люди, с которыми мы много и успешно работали до этого и поддерживали дружеские отношения, когда они приезжали в Москву и когда некоторые из нас ездили в Чехословакию, теперь сидели с каменными лицами на противоположной стороне стола, все с чехословацкими флажками в петли-

цах пиджаков. Даже кофе во время заседаний подавался только чехам. Как объяснили мне потом, частично такое поведение наших партнеров связано было с тем, что они боялись, боялись партийной и профсоюзной организаций, которые были очень сильны на «Шкоде» и занимали в то время резкую позицию против всех русских. Тем более, что обстановка в стране создалась очень тяжелой: на улицах, на мостовой виднелись гигантские надписи: «Иван, домой», — на Вацлавской площади в Праге, где наши танки стреляли по парламенту и по толпе, стояли в почетном карауле молодые люди со свечами, периодически на заводах проходили забастовки протеста. И хотя я не одобрял вторжения в Чехословакию, для меня все это было тяжелейшим шоком. Я не скрывал того, что думаю по этому поводу, остро ощущая чувство и своей вины.

Тем не менее с деловой стороны переговоры прошли вполне успешно. Программа пуска была сформулирована и подписана. Но дальше произошло следующее. Большинство чехословацких специалистов, принимавших участие в работе, — инженеров и даже среднего технического персонала — были люди либеральных взглядов, сторонники Дубчека. Поэтому после прихода к власти ортодоксальных коммунистов все они так или иначе были репрессированы: кто снят с работы, кто переведен на низшую должность, кто исключен из партии и т. д. Был снят целый слой наиболее квалифицированных специалистов. Но и этого показалось мало. Новые, которые пришли на их место, в большинстве случаев тоже представлялись недостаточно политически выдержанными, и слой сняли еще раз. В результате квалификация сотрудников резко упала, что привело к ухудшению качества и замедлению темпа работ.

ЦК КПСС и правительство Чехословакии приняли решения, подчеркивающие особую важность пуска станции: она должна была явиться демонстрацией помощи СССР Чехословакии. На строящуюся станцию зачастили высокопоставленные визитеры обеих стран: министры, зампред Совмина и даже сам Штроугал. Непосредственный контроль за ходом работ с советской стороны был поручен Петросьянцу — председателю Госкомитета по атомной энергии. Пуск назначили на конец 1972 года, и с осени 1972 года на станции уже работало свыше ста советских специалистов. Приехавший туда Петросьянц установил точную дату начала пуска. По-видимому, момент пуска был связан с какой-то датой или каким-то событием в Москве, к которому ему следовало рапортовать. Работа шла, но было ясно, что в указанный Петросьянцем срок реактор запущен не будет. Пришлось пойти на трюки. Один такой трюк проделали, когда станцию посетил важный член чехословацкого правительства. Он знал, что при пуске в реактор заливается тяжелая вода. Вот ему и показали, как в воронку трубы, ведущей в реактор, рабочий заливает тяжелую воду. (У меня даже есть фотография этого события.) Но на самом деле заливать воду в реактор было еще нельзя. Поэтому кран, ведущий в реактор, был перекрыт, и вода по трубе стекала этажом ниже, где другой рабочий собирал ее в ведро.

Наконец все подготовительные работы окончены. Но в силу технологии реактор оказался нагрет. Физический пуск реактора и вся большая, рассчитанная на месяц, программа экспериментов, которая была запланирована, должны проводиться на холодном реакторе, только тогда можно проверить все заложенные в расчет параметры. Знание их, в свою очередь, необходимо для расчета режима работы реактора на мощности. Поэтому до начала физического пуска предстояло ждать, пока реактор остынет. Реактор — это машина в 150 тонн, и на это понадобилось бы три дня. А срок Петросьянца подходил, ждать он не мог и требовал пускать реактор немедленно, кричал, угрожал. Два дня руководитель пуска и ведущий инженер держались, понимая, что пуск при нагретом реакторе сорвет всю программу экспериментов и вся дальнейшая эксплуатация атомной станции будет идти вслепую. В конце второго дня под угрозами Петросьянца они сдались и назначили пуск на следующий день при еще не остывшем до конца реакторе. Утром (работа начиналась в 6 утра)

я приезжаю на станцию, сажусь за стол в пультовой и прошу инженеров измерить, где можно, температуру в реакторе с тем, чтобы внести поправки в мои расчеты, сделанные для холодного реактора. Подходит Петросьянц и спрашивает: «Каково ваше предсказание для критического уровня?» Я говорю: «Сейчас ничего не могу сказать, реактор нагрет, и нагрет неравномерно. Я запросил данные о температурах с тем, чтобы внести поправки в свои расчеты». — «Я так и думал, что вы ничего не сможете сказать», — бросает Петросьянц и отходит. Через некоторое время мне приносят данные, я начинаю вычислять поправки. Снова появляется Петросьянц и спрашивает: «Ну, где предсказание?» — «Я вам дам его через полчаса», — отвечаю. «Я знаю, что вы сделаете, — говорит Петросьянц, — вы дадите предсказание вот с такой ошибкой». И он показывает руками, как рыболов, рассказывающий, какую он поймал рыбу. Через полчаса я подхожу к Петросьянцу, сообщаю ему мои данные, ошибка составляет три процента, и спрашиваю: «Как вы считаете, Андрей Михайлович, это вот такая ошибка?» Он вынужден признать, что это не «вот такая ошибка». Пуск был проведен, и критический уровень совпал с моим прогнозом.

Реактор был запущен, Петросьянц отработал в Москву, последовали победные релижи в прессе, атомная станция выведена на мощность и успешно проработала несколько лет. Однако такая ситуация не устраивала наше руководство. Ему хотелось ключ от чехословацкой энергетики держать в своем кармане. Поэтому оно стало давить на чехословацкое правительство с тем, чтобы все последующие АЭС были на обогащенном уране типа ВВЭР. И чехословацкая сторона уступила. Одновременно, используя в качестве предлога два не очень существенных обстоятельства, станцию А-1 решили закрыть и демонтировать. И до сих пор вся атомная энергетика Чехии и Словакии — это АЭС типа ВВЭР. Сейчас атомные электростанции с тяжеловодными реакторами строятся в Румынии и Южной Корее, но уже по канадским проектам — Россия из этого дела выпала.

Заканчивая обсуждение вопроса об атомных электростанциях, хочу остановиться на проблеме их безопасности — теме номер один при обсуждении АЭС после Чернобыля. По моему мнению, главный и неизлечимый порок станций с реакторами типа РБМК («чернобыльских») — положительные и большие температурный и паровой коэффициенты реактивности. Это означает, что реактор как физическая система реагирует увеличением мощности на возрастание температуры или объема пара. И наоборот: уменьшением мощности на понижение температуры и сокращение объема пара, то есть он принципиально нестабилен. Это кардинальный порок реактора, и связан он с тем, что замедление нейтронов происходит в графите, а охлаждается реактор водой. Избавиться от этого порока нельзя, именно по этой причине нигде в мире больше нет энергетических реакторов подобного типа. Положительные паровой и температурный коэффициенты и стали причиной чернобыльской катастрофы. Это непосредственно видно из имеющейся записи временного хода процесса, приведшего к взрыву. Операторам следовало выйти на заданный уровень мощности, снижая ее. Но в силу нестабильности реактора они проскочили требуемое значение, выходить на него снова пришлось, уже повышая мощность. Тут-то и произошел взрыв. Конечно, были и другие побочные обстоятельства, наложившиеся на это — с моей точки зрения, главное. Устранением таких обстоятельств и занимаются сторонники реакторов типа РБМК. По моему мнению, любой безопасный ядерный реактор АЭС в первую очередь должен быть стабилен как физическая система, то есть иметь отрицательный (и желательно достаточно большой) температурный коэффициент (и паровой коэффициент, если реактор охлаждается водой или она может вскипеть). Именно таким свойством обладают тяжеловодные реакторы на естественном или слабообогащенном уране типа того, о котором речь шла выше. К сожалению, все попытки построить АЭС подобного типа в нашей стране

или хотя бы провести серьезное сравнение их с ВВЭР и РБМК до сих пор наталкивались на глухую стену того же монополизма. В 1974 году, после пуска АЭС А-1 в ЧССР, я написал статью, в которой дал описание параметров и результатов пуска АЭС А-1 в Чехословакии, а в конце была небольшая главка, где сравнивались тяжеловодные АЭС на естественном уране с газовым охлаждением с ВВЭР и РБМК по расходу урана на единицу производимой электроэнергии (не по проблеме безопасности, тогда статью уж наверняка запретили бы). Сравнение оказалось не в пользу ВВЭР и РБМК, несмотря на то что для последних я взял проектные данные, не оправдавшиеся при эксплуатации. Комитет по атомной энергии в лице начальника отдела АЭС запретил мне публиковать статью. В официальном заключении говорилось, что статья может быть напечатана только при условии, если главка со сравнением различных реакторов будет выброшена. Все попытки преодолеть этот запрет кончались неудачей. В конце концов мне удалось выйти на А. П. Александрова (он был тогда президентом Академии наук, директором ИАЭ и председателем Научно-технического совета при Министерстве среднего машиностроения, то есть главой атомной проблемы), который на титульном листе статьи написал: «Все, что сказано в статье, правильно, а то, что мы строим ВВЭР и РБМК, так это по совсем другим причинам». Причины, которые имел в виду Александров, как я понимаю, состояли в том, что технологически реакторы РБМК близки к военным и для их сооружения нужна минимальная перестройка промышленности. После этой резолюции статью опубликовали целиком. До Чернобыля это была единственная в русской специальной литературе статья, где ставился под сомнение факт, что РБМК и ВВЭР — лучшие АЭС.

Сегодня времена «просвещенного монополизма» в нашей науке вызывают лишь ностальгические чувства.



---

---

# О П Ы Т Ы

ДМИТРИЙ ШУШАРИН



## ПРОЙДЯ ДО СЕРЕДИНЫ

*Главы из книги*

Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее.

*Бытие, 21: 12.*

### О мемуарах

**ШШШ** Шатобриан поставил в свое время уникальный эксперимент, сравнимый только с врачебными опытами над самим собой. Бытование его мемуаров в культуре и истории должно было начаться после смерти автора.

Впрочем, можно ли назвать мемуарами «Замогильные записки» — вопрос.

Сейчас мы наблюдаем ситуацию прямо противоположную. Писатель, побывавший за свою жизнь и изгнанником, и послом, и министром, отказал себе в удовольствии прочитать рецензии на свое если не главное, то весьма существенное в его биографии (и для его литературного мифа) произведение. А в современной России даже не политики — чиновники пишут воспоминания прямо в кабинетах. И очень удивляются, почему их поведение рассматривается начальством как нелояльное.

Разумеется, поведение чиновников — это проявление крайне низкой бюрократической культуры. Но не только. Они спешат. Упуская время, они теряют себя. Шатобриан видел себя во времени. Постсоветские политики воспринимают время как нечто более существенное и высокое, нежели их собственная личность, которая теряется во всех днях и событиях. Они не могут смириться перед временем.

Я сам не исключение. Потому и начал вести эти записи. Но только я не полагаю, что время — это нечто страшное. И поскольку я не испытываю страха перед временем, это лишь отчасти записки постсоветского человека. Бывало, что к мемуарам обращались, вовсе не стремясь подводить итоги. Автобиографическая проза Набокова предшествовала «Лолите». То было освоение жанра.

К сорока годам жизнь, в сущности, прожита. И это оказалась совсем не та жизнь, к которой готовился — последние десять лет в особенности. А потому мемуары получаются какие-то немемуарные, все больше о разном — разном, разноуровневом, разнопорядковом, то есть о внешнем хаосе, который на самом деле гармоничен, в отличие от внутреннего распорядка жизни прожитой и оставшейся.

---

Шушарин Дмитрий Владимирович — историк, публицист, эссеист. Родился в Москве в 1960 году. В 1982-м закончил исторический факультет Московского университета по кафедре истории Средних веков. В 1992 году в Институте всеобщей истории РАН защитил кандидатскую диссертацию, посвященную социально-политической истории Германии в эпоху Реформации. С начала 90-х годов работает и публикуется в различных средствах массовой информации («Независимая газета», «Сегодня», «Литературная газета», журналы «Открытая политика», «Знамя», «Посев», «Декоративное искусство», «Радио России», ТВ-Центр, некоторые проекты в Интернете). В 1994 году одна из его статей была напечатана в «Новом мире». Завершил работу над книгой «Две Реформации. Очерки по истории Германии и России» и начал работу над новой, отрывки из которой публикуются на этих страницах.

Тем более, что Рита по поводу моих слов о прожитой жизни сказала, что такие суждения подобны нарушению присяги. Причем, добавлю я, в любом возрасте. И чем дальше мужчина от всего военного (а я уж к этому совсем не близок), тем сильнее действуют на него аргументы, напоминающие о его потенциальном рыцарстве.

### О памяти

Претензии психоанализа на толкование человеческой креативности оправданы лишь применительно к достаточно узкому с точки зрения воспроизводства ценностей, хотя и статистически преобладающему сектору культурной жизни. Алан Паркер может довольствоваться вульгарным фрейдизмом, Набоков и чета Мандельштамов — нет.

Вообще судьба не психоанализа, а толкования бессознательного в конце нашего века — особая тема. Дело прежде всего в том, что культура перестает быть по преимуществу системой внешних запретов, превращаясь скорее в набор рекомендаций. Да и не культура первична. Снятие внешних запретов, смягчение негативных требований не означает ни снятия внутреннего контроля, ни смягчения требований позитивных. В частности, человеческая память, равно как и историческая, становится сферой усиленного контроля и повышенных требований.

Контроль и требования эти, разумеется, прежде всего культурные, а не в оруэлловском варианте, то есть они имманентны культуре. Об этом, как и о многом другом, писала Лидия Гинзбург, чьи рассуждения интересны прежде всего потому, что касаются проблем, рассуждать о которых, не затрагивая их теологической основы, весьма затруднительно. И ее записи являются высшим интеллектуальным достижением атеистической мысли. Это своего рода интеллектуальная полнота атеизма.

Она пишет о невозможности отказаться от категорий истории, не отказавшись от категории современности. И далее:

«История — поток и остановка. Она не только перегоняет прошлое в будущее, но претворяет прошлое в навеки нам принадлежащую реальность. Подобно искусству.

После Гегеля никто, кажется, не определял искусство с такой силой, как Пруст. В последнем томе он объяснил, зачем нужно искусство, и тем самым — почему оно было и будет. Искусство — найденное время, борьба с небытием, с ужасом бесследности. Обретенная предметность, ибо всякий предмет — остановка времени. Творческий дух одержал величайшую свою победу — остановил реку, в которую нельзя вступить дважды».

То есть творческий дух выполнил условия известного договора, признав мгновение прекрасным и призвав его остановиться. Выпадение из макроконтекста культуры, неизбежное для атеиста, поскольку макроконтекст скреплен надкультурной вертикалью, приводит к тому, что смысл не распознается автором высказывания.

А кроме того, почему именно Пруст? Есть более лаконичное высказывание русского писателя, завершающее, что весьма существенно, книгу его воспоминаний: «Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». И ведь просто увиденное — без следов в искусстве. «И небылица бльдю станет, / Коли певец ее помянет» — это по другому поводу.

«Ужас бесследности» преодолевался по-разному. В атеистической традиции предлагалось вообще его упразднить. Настаивая на его существовании, Гинзбург делает максимально возможное для атеиста, отстаивающего ценность человеческой креативности. Но, во-первых, предмет время не останавливает, а, наоборот, придает ему динамизм — сужу об этом как человек с богатым археологическим опытом. Во-вторых, зачем его останавливать? В-третьих, «настоящее есть субстанция времени» (Николай Кузанский).

Противостояние памяти и тоталитаризма не ограничивается политической сферой. Уходящий век породил еще и тоталитаризм культуры, поставившей под сомнение фундаментальные христианские ценности, в том числе и линейную темпоральность. Языческий циклизм тоталитарных режимов, не признававших реальность ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, очевиден, но антимнемонический заговор культуры еще не раскрыт.

Память — атрибут настоящего, условие его реальности. («Утрата памяти честной, неискаженной, равносильна потере реальности» — Надежда Мандельштам.) Она всегда современна и своевременна, а потому креативна и не дает хаосу овладеть миром предметов, чья изменчивость свидетельствует о течении времени. В известном смысле память вообще не может и не должна быть обращена в прошлое, иначе она порождает беспредметность, в том числе беспредметное искусство. Остановка времени, остановка момента — это смерть памяти, гибель настоящего, потеря реальности, временный успех врага рода человеческого (у него они только временные).

Память — основа рефлексии. Но рефлексия не может сводиться к упражнениям вроде прустинских (для избранных) и фрейдистских (для всех). Причем наследие обоих безусловно крупнейших деятелей, во многом определивших интеллектуальную и культурную историю XX века, потеряло актуальность несколько десятилетий назад. Парадокс в том, что они принесли в наше столетие запреты, нормы и ценности прошлого века, которые преодолевались и переосмысливались довольно долго. Психианализ потерял актуальность с последним поколением, чье детство прошло в семьях, которые условно могут быть названы викторианскими. Обращение к детству для людей этого поколения постепенно переставало быть одним из источников креативности. (Советские «путешествия в страну детства» — это феномен тоталитаристского инфантилизма.)

Что же касается людей постфрейдистского общества и постпрустинской культуры, то им придется осознать, что поиски утраченного времени, разрушая память, ослабляют даже не способность к рефлексии, а потребность в ней, то есть потребность в самоидентификации. Личность, человеческое «я» превращается в запруду для реки времен, во временной отстойник. Человек задерживает время в себе, но при этом теряет себя во времени. Теряет субъектность и свободу воли.

Но ведь суббота для человека, а не человек для субботы. Время для нас, а не мы для времени, оно даровано нам, а не мы принадлежим ему. Мы не рабы времени и не рабы искусства, что бы ни писал по этому поводу Пастернак. Атеизм предлагает преодолеть «ужас бесследности» или отрицая креативность, или же, как Лидия Гинзбург, абсолютизируя креативность культуры. Последнее следует признать столь же неприемлемым для культуры, как и экспансию личности, отрицающей культурное посредничество. Поскольку это экспансия культуры, отрицающей ценность личности вне культуры. Что неизбежно при атеистическом толковании отношений между культурой и личностью, чья ценность трансцендентна и не зависит от «ужаса бесследности». Христианство вообще изгоняет любой ужас и любой страх — оно антифобийно по своей природе. И утверждает креативность личности, а значит, и креативность памяти — о чем, собственно, и сказал Набоков.

Но это лишь потенция креативности — культурной и внекультурной. Условие же ее актуализации — свобода воли.

### О Ельцине

Скоро десять лет, как наблюдаю за двумя сановниками. Оба причастны к последним преступлениям советской власти, но вывернулись и устроились. Один из них поэт. Он покорила меня тем, что в ответ на предложение, чтобы депутаты работали профессионально, не отвлекаясь на все остальное, серьезно

и убежденно сказал: тогда «мы обескровим советы». То был Лукьянов Анатолий Иванович, редкой пустоты и значительности человек.

Второй прославился ночными подвигами в Тбилиси и чего-то даже говорил в свою защиту на съезде. Потом исчез, изредка давая интервью газете «Завтра». Потом его вытащил Лебедь.

Тоже история. Восторженные интеллигенты, встречавшиеся с ним, говорили, что у него наука, теория. Именно это и настораживает, возражал я. Ибо нет ничего опаснее генерала, решившего, что он ученый. Если это, конечно, строевой генерал, а не изначально ученый.

Военные обозреватели с радостью писали, что новый министр обороны — всерьез и надолго. Вспоминались прогнозы ведущих журналистов, до того неоднократно обнаруживавших «третий возраст» Ельцина и предрекавших его неминуемый уход в ближайшее время. И в самом деле вышел пшик. Интеллектуал-тифлисец занялся любимым делом советских и постсоветских управленцев — стал кланчить деньги и объяснять, почему на его посту ничего нельзя сделать.

Я видел его в телевизионной студии, когда шли предвыборные дебаты и генерал Родионов пытался переиграть генерала Николаева. Приехал очень милый немолодой человек, симпатичный, вежливый, но властный. Все на месте, все как надо, я и не вспоминал, какие чувства он вызывал в 1989-м, когда поднялся на трибуну съезда.

Накануне по телевидению показали фильм Невзорова. Родионов поинтересовался нашим мнением — завел разговор перед записью, когда ставили свет. Мы, естественно, воздерживались от любых серьезных дискуссий с кандидатами, особенно ведущий, который из вежливости что-то пробурчал. «Но ведь это же все правда!» — воскликнул генерал. Ведущий попытался свести разговор на игру актеров и задал какой-то вопрос по поводу одной из сцен. «Я фильм не видел», — ответил кандидат в депутаты и бывший министр обороны.

Все в студии замерли — смеяться было нельзя, да и впору было испугаться. И вздохнуть с облегчением, что этот правдолюб власти более не имеет. Ну а когда началось его выступление с обличением всемирного заговора, все стало простым и понятным.

Они так и прожили жизнь — с чувством правоты во взоре, со всемирным заговором в душе и с советами, которые ни в коем случае нельзя было обескровливать. При этом оба люди средние, ни гнева, ни любви не вызывающие.

Иное дело — президент. Плевки в его сторону стали правилом хорошего тона. С языка интеллигентов не сходят слова «старость», «болезнь», «маразм». И это при том, что «старый, больной маразматик» ни разу не оправдал ни одного политологического прогноза; при том, что все его серьезные действия были продуманными и неожиданными. Даже относительные неудачи весной 1993 года в конечном счете привели его к победе — он понял, кто чего стоит.

Как всегда, недоволен Явлинский, который даже конституционную смену правительства объявил издевательством. О человеке, опозорившем высокое звание телохранителя, говорить вообще не стоит. И чего они все бесятся?

Оттого, что уже ничего не исправить, — Ельцин уже живая история, живой классик, вполне, правда, способный удивить мир новыми ходами. Он неизбежно вызывает чувство дистанции, формирующее культурную и общественную иерархию, то чувство, без которого нет цивилизации и цивилизованных людей. Но ведь ни Явлинский, ни Коржаков не желают, не могут принять того, что такова плата за жизнь в цивилизованном обществе.

Ну никогда, никогда Явлинский не поднимется до его уровня. Никогда никто из нас не станет с ним вровень. И будущие президенты России не избежат сравнения с ним, как византийские императоры — со св. Константином, американские президенты — с отцами основателями, французские — с де Голлем, британские премьеры — с Черчиллем и Тэтчер.

И похоже, сведения об очередной госпитализации президента стали пугать всех. Как, собственно, жить без Ельцина, если что, не дай Бог, случится... А ведь шумели, хотели отменить институт президентства.

Понятно, почему хотели. Тоталитаризм безлик, несмотря на все культы личностей. Поэтому так раздражает левых персонификация власти и ответственности. Это не безликое «советское руководство», явленное миру 19 августа 1991 года и противостоявшее президенту, взошедшему на танк.

Есть вещи, которые приятно вспомнить. Очень люблю две свои старые публикации. Одна — в «Независимой газете» 26 февраля 1991 года. Тогда я написал, что будущее русских — в малом национальном государстве, что империя должна распасться. Правда, ошибся с датой — дело было накануне референдума 17 марта, и казалось, что «ближайшее будущее русских, увы, связано с попытками необольшевицкого самоутверждения в империи». Будущее это оказалось ближайшим и очень коротким. И одни лишь Беловежские соглашения делают Ельцина великим президентом великой страны.

А вот другая публикация была за год до того, в апреле 1990-го, в рижской «Атмоде». О Ельцине (в России, как и теперь, было почти невозможно опубликовать статью в его защиту). Там есть одна фраза: «Я бы не спешил с похоронами». Могу ее повторить и сейчас. Повторю и кое-что другое, сказанное по поводу деятельности Ельцина после пленума 1987 года:

«Вопреки устоявшемуся, незыблемому Ельцин выжил, не раскаялся и начал наступление, но уже не в кабинете, не на парадной трибуне, а на улице. Миллионы увидели пример освобождения от социальной роли, победу внутренней свободы над внешними обстоятельствами. Миллионы почувствовали, что и в своей жизни можно изменить многое, почти всё.

Но в том-то и дело, что интеллектуальный истеблишмент менее всего стремился к качественному изменению своего статуса. Его устремления не идут дальше существенного расширения уже имеющихся функций — консультационных по отношению к власти и учительских по отношению к гражданам-подчиненным. Не у каждого была поездка в Горький или Мордовию. И раз не хватает собственного авторитета, то надо подкрепить уже имеющееся положение хорошими отношениями с властями. Ельцин же „испортил песню“, нанес еще один удар по вековой мечте о просвещенном авторитаризме, поколебал надежды на государя-демократа.

„Это совсем не та буря!“ Первый российский политик вышел из недр номенклатуры. Конечно, обидно. Но политик-то он в неполитической стране. Интеллектуалы так хотели кого-нибудь из политологического трактата. И зря, ведь если страна находится в состоянии перехода, то адекватен ей человек, переживающий кризис.

Судьба поставила Ельцина в положение человека, постоянно делающего самостоятельный выбор, совершающего поступки индивидуальные, не предусмотренные никакими ритуалами. И все это на глазах у миллионов...»

Собственно, ничего не изменилось. Миллионы-то как раз все поняли и дважды проголосовали. Правда, любители схем думают, что это их, любителей, заслуга. Интеллигенция, бурно отдававшаяся «тыкавшему» ей Горбачеву, не может простить Ельцину, что он перешел с ней на «вы». Ведь это подразумевает вопрос: а собственно, кто вы такие? Но где б они были, если б один человек, уже не такой молодой и не сказать чтоб неудачливый, не начал бы жизнь сначала?

Впрочем, это я зря. Не так давно один из тех, кого именуют делателем королей — а сам он называет свою деятельность валютно-политической проституцией, — в общем, специалист по выборам, в разговоре со мной (мы были вдвоем, а потому без имени) рассказывал, что он тоскует по временам перестройки. Хотя жил он тогда беднее.

Пришел Ельцин — и все опошил. И совсем ничего не делает по их советам и прогнозам. Они обижаются и все твердят про «третий возраст». Хотя сами, как и те сановники — поэт и генерал, — от рождения пребывают в этом возрасте. Потому одних за доносы, а других за танки на улицах Тбилиси и Москвы обвинять нечего — иначе не могли. Их от рождения несло, вело, тащило.

И тоже не сказать, чтоб неудачники: ведь вынесло, вывело, вытащило. Так всю жизнь и прожили — в среднем роде и в неопределенном лице.

### О времени

Смирение не только честнее (не будем читать мораль, тем более что это очевидно), но и удобнее. И оно гораздо продуктивнее.

И прежде всего смирение перед временем.

Это у акмеистов — у Ахматовой и Мандельштама. Бег времени, шум времени. Ну, бег времени — это, конечно, *fuga temporis*. А вот Мандельштам прямо указал на время как на очень важный культурный феномен, без коего невозможно достижение гармонии: «Гармония — это кристаллизовавшаяся вечность, она вся в поперечном разрезе времени, в том разрезе времени, который знает только христианство». Далее можно цитировать соответствующую главу из «Второй книги».

Гармония как сопряжение вечности и времени. Они сопряжены по природе своей, тут уже все теологи отошлют читателя к Платону, но ведь гармония в данном случае — это не то, что предустановлено, а то, что достигнуто человеком.

Это понимание времени как ценности, как дара Божьего. И осознание этого есть культурный феномен, возможный лишь как следствие крестной жертвы. Сын Божий был распят и для этого тоже. Ибо время есть земная проекция вечности, земной дар, дающий возможность стяжать благодать. И поэтому оно является залогом свободы воли, создает возможности для ее проявления.

«Воплощение Слова в полноте времен» (Николай Кузанский) уничтожает страх перед временем, а значит, и причину бунта против времени. Ведь смирение — это прежде всего отсутствие страха. «Прежде всего» не по значимости: просто преодоление страха — первый шаг к смирению, которое ведет от агрессивного созерцания к позитивному деланию. В широком смысле слова, конечно, молитва — тоже действие. Если только она не противопоставляется другой деятельности.

«У нас есть время». Эта обыденная фраза — содержание Благой Вести. И это главное в христианской эсхатологии. Именно это, а не ожидание конца времен. Ведь полнота времен не впереди, она уже наступила с воплощением Слова, то есть с рождением Иисуса.



# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ



## «ЗАКЛИНАТЕЛЬ И ВЛАСТЕЛИН МНОГООБРАЗНЫХ СТИХИЙ»

**Э**то слово о Пушкине Аполлона Григорьева было сказано ровно 140 лет назад (в 1859 году)<sup>1</sup>, и мне оно кажется лучшим, что было о Пушкине сказано за полтора столетия.

В эти полтора столетия соперничали и сменяли друг друга два взгляда на Пушкина и два стиля суждений о нем — то, что названо пушкинским мифом, и научное пушкиноведение. Пушкиноведение стало на ноги поздно, уже в нашем веке, а до этого царило вольное размышление над Пушкиным с неизбежной склонностью к сотворению мифа. Начиная с Гоголя, при живом еще Пушкине: «явление чрезвычайное... единственное явление русского духа». Формула Аполлона Григорьева, возникшая на пути от Гоголя к Достоевскому, — открыто мифологическая: она наделяет поэта магической властью творца миропорядка, демиурга, культурного героя и возводит Пушкина к древнему архетипу абсолютного поэта — Орфею.

Наука о Пушкине в 20-е годы вступила в борьбу с этим пушкинским мифом. Она ревизовала этот самый пафос — «явление единственное, чрезвычайное»: пора поклониться с обожествлением Пушкина и подвергнуть его историко-литературному изучению, поставить в общий ряд. В обобщающей книге 1925 года Б. В. Томашевский так и писал — *пора*: «Пора вдвинуть Пушкина в исторический процесс и изучать его так же, как и всякого рядового деятеля литературы»<sup>2</sup>. Выразительное слово — «вдвинуть» — как втиснуть. Тогда же Юрий Тынянов выступил против известного пафоса: «Пушкин — это наше все» (это ведь тоже Аполлон Григорьев!) — и заявил, что ценность Пушкина велика, но «вовсе не исключительна» и с историко-литературной точки зрения Пушкин «был только одним из многих» в своей эпохе<sup>3</sup>.

Так новое пушкиноведение начало с того, что объявило десакрализацию и демифологизацию образа Пушкина и заявило недоверие к философской тенденции в пушкинознании; Томашевский ее называл тенденцией к *углублению* Пушкина, произнося это слово иронически и скептически, — то есть когда мы ему приписываем за наш собственный счет нужное нам мирозерцание; примером для Томашевского была речь Достоевского<sup>4</sup>. Новое пушкиноведение в лице самых сильных своих основоположников объявило как бы научную секуляризацию образа Пушкина.

---

Бочаров Сергей Георгиевич — литературовед, филолог. Родился в 1929 году в Москве. В 1952 году окончил филологический факультет Московского университета. Научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книг «Роман Толстого „Война и мир“» (1963; переиздания: 1971, 1978, 1987), «Поэтика Пушкина. Очерки» (1974), «О художественных мирах» (1985) и многочисленных статей по теории литературы и о русской классике.

<sup>1</sup> Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967, стр. 173.

<sup>2</sup> Томашевский Б. В. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. 1925. — В его кн.: «Пушкин. Работы разных лет». М., 1990, стр. 54.

<sup>3</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, стр. 78; Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, стр. 167.

<sup>4</sup> Томашевский Б. В. Пушкин. Работы разных лет, стр. 65.

Тем не менее философская тенденция ожила, особенно в 30-е годы в нашей эмиграции вокруг юбилея 1937 года, и уже на фоне внушительных результатов пушкинистской науки С. Л. Франк сформулировал в специальной статье «задачи познания Пушкина», не совпадающие, как он подчеркнул, с задачами пушкиноведения, и мотивировал эти задачи так: «задуматься и оглянуться, чтобы из-за деревьев не потерять леса»<sup>5</sup>.

Очевидно, в истории русского пушкинознания, которая и сейчас продолжается, имеет место процесс, подобный тому, что называется герменевтическим кругом, когда целое собирается из частей, но к ним ведет интуиция целого (лес и деревья Франка), и этот путь не имеет конца.

Путь русской мысли о Пушкине за полтора столетия был таков, что научному изучению (которое неизбежно становится изучением «по частям») предшествовал ряд творческих высказываний, проникнутых интуицией целого. Это высказывания писателей от Гоголя до Цветаевой и новых русских философов от Соловьева до Франка. Предлагая в 1937-м «оглянуться», Франк мог оглянуться уже на целую столетнюю традицию. С первых суждений Гоголя еще при жизни Пушкина завязался процесс, который составил затем особую линию русской мысли и как бы особое национальное дело, совершавшееся на высотах нашей мысли, силами прежде всего самой литературы, ее творцов высокого ранга, то есть как бы на уровне творческой соизмеримости, а уже затем и наших религиозных философов. *Процесс русской мысли о Пушкине*, на пониженном уровне продолжающийся и сейчас. Что-то вроде национальной пушкинской герменевтики, процесс, имеющий свою внутреннюю тему и свой сюжет.

Скажем так, пользуясь пушкинским каламбуром, что ставшее на ноги профессиональное изучение, *сменив, не заменило* творческое понимание. Не сказать ведь, что пушкиноведение вобрало в себя интуиции предшествовавшей, еще не научной мысли о Пушкине, что оно в себе ее «сняло». Вот и сейчас вновь чувствуется, что сохраняются и нераздельность, и неслиянность научных путей и творческих интуиций. Выразительное свидетельство — как бы маргинальное существование на параллельных путях таких интересных явлений, как упомянутая пушкинистика философская (религиозно-философская) и писательская (от всем известных имен в первой половине века до А. Синявского-Терца и Андрея Битова во второй).

Если этот процесс понимания Пушкина имеет свой сюжет, то он имеет и свой нерв, и представляется, что этот нерв был вскрыт одним эпизодом, как будто побочным и не очень заметным. Когда Достоевский произнес свою речь о Пушкине, ему возражал Константин Леонтьев. И вот против Пушкина пушкинской речи он выставил образ, совсем на него не похожий: проповедь Достоевского, так он сказал, неприложима «к многообразному — чувственному, воинственному, демонически-пышному гению Пушкина»<sup>6</sup>.

К такому Пушкину, хочет сказать Леонтьев, просто не имеет отношения пушкинская утопия Достоевского.

Вот такое резкое раздвоение образа обнаружилось в этом споре: *пророческое явление русского духа* — и *демонически-пышный гений*. Раздвоение, видимо, не беспочвенное настолько, что и сейчас, век спустя, два этих контрастных образа оспаривают друг друга в нынешних спорах, в таких контрастных по тому же, в общем, типу событиях нынешней пушкинистики, как деятельность В. Непомнящего и книга Абрама Терца.

Наверное, Леонтьев своими эпитетами нечто такое ярко и вызывающе подчеркнул, от чего нам в Пушкине не уйти и что погашено в лике, выписанном Достоевским. И обозначил тем самым объем вопроса, вокруг которого происходит — и до сих пор — процесс понимания Пушкина.

Речь Достоевского дала процессу поворот — к будущей философской и прямо христианской пушкинистике, реплика Леонтьева с его языческими эпитетами была реакцией на этот поворот. Затем Мережковский скажет, что до Достоевского никто не делал попытки «найти в поэзии Пушкина стройное мирозерцание, ве-

<sup>5</sup> «Пушкин в русской философской критике». М., 1990, стр. 422 — 423.

<sup>6</sup> Леонтьев К. Собр. соч. Т. 8. М., 1912, стр. 177.

ликую мысль»<sup>7</sup>. Достоевский первый отяготил Пушкина «великой мыслью» и вообще такой духовной нагрузкой. До этого, в общем, за Пушкиным был утвержден статус чистого поэта, по слову Гоголя: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего более». Но *что такое сам поэт?* Расшифровка этого вопроса и станет темой процесса. Собственное пушкинское самоопределение поэта-эха будет всеми принято, но окажется недостаточным, и встанут вопросы, выдвинутые в заголовки важнейших выступлений: «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (Соловьев), «О назначении поэта» (Блок). Вопросы эти вольются в русло универсального определения положения Пушкина в координатах всей культуры. Эти координаты — античность и христианство. Два универсальных горизонта, в которых строилась европейская культура.

Здесь можно вспомнить еще одно суждение, тоже побочное, не из главных, потому что даже и не о Пушкине прямо. Хомяков в одном письме говорил о своих стихах и поэзии Тютчева: «...мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозаитор везде проглядывает и, следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (*durch und durch*). У него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, *натура античная в отношении к художеству*»<sup>8</sup> (здесь и далее курсив в цитатах мой. — С. Б.).

Хомяков был православный мыслитель и богослов, но источник поэтический понимал как кастальский ключ и позволял поэту оставаться натурой античной, очевидно не замечая в таком как бы дуализме положения поэта в христианском мире противоречия или же неудобства. Это его не смущало, и в этом он оставался человеком пушкинской эпохи. Поэт как натура античная — это ведь не то же самое, что античная тема в поэзии Пушкина. Когда Блок в иную историческую эру будет говорить о Пушкине, он после уже достоевского посвящения поэта в пророки (а Достоевский хотел покончить с античным образом Пушкина, и он начал строить о Пушкине миф христианский; почему-то никем еще не отмечено, что он произнес свою речь в самый Троицын день<sup>9</sup>, и, несомненно, он проецировал событие Пятидесятницы на «почти даже чудесную» пушкинскую способность «перевоплощения своего духа в дух чужих народов») вернется к гоголевскому — «сам поэт»: все это — Пушкин друг монархии, друг декабристов — «бледнеет перед одним: Пушкин — поэт. *Поэт — величина неизменная*». И Блок примет от Пушкина руководящее имя Аполлона и будет от имени Аполлона описывать дело поэта — освобождение гармонии из «безначальной стихии». В 1921 году в устах Блока это имя одновременно и архаично и злободневно, злободневно-архаично — как перед лицом трезвого признания непоправимого разрыва новой истории с Пушкиным, прозвучавшего на том же вечере (в речи Ходасевича), это с одной стороны, и новой советской чиновничьей черни, с другой. (Но скоро последним предсмертным жестом Блок разобьет кочергой со злобой свой домашний бюст Аполлона, и это будет полубезумным и символическим жестом самоубийства поэта; и невозможно не связывать этот предсмертный эпизод с той ролью, какую имя Аполлона играло в блоковской Пушкинской речи.)

Натура античная... Когда Пушкин записывал на полях сочинений Батюшкова: «Музы существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло...» — то обнаруживал этой заметкой, сколь осозанным, но и проблематичным был союз в его слове эллинского и «христианского воображения» (выражение, кстати, которое стоит в его языке отметить). Европейский размах его поэзии, ее европейское качество — это и вопрос о союзе (со всей его проблематичностью) в ней того и другого «воображения». Можно попробовать взять эту слишком огромную тему о европейском Пушкине в миниатюру — на одном стихотворении. «В начале жизни школу помню я...»

Но прежде позволю себе сослаться на суждение С. С. Аверинцева, недавно опубликованное: «Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к об-

<sup>7</sup> «Пушкин в русской философской критике», стр. 93.

<sup>8</sup> Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1900, стр. 200.

<sup>9</sup> 8 июня 1880 года. Пасха в этом году пришлось на 20 апреля. Можно произвести несложный подсчет.

разу и как к истории, отсюда — его мгновенная исключительность. Такова же и веймарская классика»<sup>10</sup>.

Пушкин и веймарская классика — это сближение мы находим в работах покойного А. В. Михайлова. Для веймарской классики и для Пушкина античность была живой, она «еще и не кончилась к этому времени», как говорит Михайлов, она, конечно, далекое прошлое, но лишь чисто хронологически, по существу же она — «всегда рядом»<sup>11</sup>. В обход привычных определений — романтизма и реализма — Михайлов вводит свое понятие европейской *классики* (и просит его не смешивать с классицизмом XVII — XVIII веков) как особого неповторимого и скоропреходящего состояния равновесия древнего и нового, традиционного, риторического, «готового» слова и слова, прямо направленного на жизнь, «равновесия жизни и слова», — и высшими проявлениями этого состояния европейской классики на рубеже XVIII — XIX веков он называет Гёте и Пушкина. Пушкин — «в центральной, фокусной точке европейского развития в исторически единственный, неповторимый момент»<sup>12</sup>.

В центральной, фокусной, точке европейской культурной истории, а не только в историко-литературном ряду своей литературы. Такой взгляд из большого европейского времени — ответ пушкиноведческому позитивизму, предлагавшему отказаться от того, что он называл «абсолютным Пушкиным», и смотреть на него как на одного из прочих в литературном ряду. Ответ на это — «мгновенная исключительность» Пушкина — прекрасная формула, ее еще надо будет продумывать. Та самая *исключительность* Пушкина, выводящая его из историко-литературного ряда и составляющая ядро пушкинского мифа. Но — *мгновенная* потому что этот момент пребывания-равновесия «на переломе», на гребне столь большой культурной волны — мгноволен. Обычный вопрос, возникающий в разговорах о Пушкине, — кто он, завершитель или родоначальник? Очевидно, и тот и другой, но по-разному, в разных диапазонах. Родоначальник все же в русской литературе, например, инициатор многих будущих тем и сюжетов у Достоевского, и не только у Достоевского. Если же говорить о Пушкине завершающем, а лучше, наверное, о Пушкине *наследующем*, то эта его работа совершалась в кругозоре, большем русской литературы. «Живой художественный университет европейской культуры» — я цитирую Л. В. Пумпянского, хорошо об этом писавшего более полувека назад, — Пушкин творил в убеждении, «что русская культура слагается не на провинциальных тропинках, а на больших путях общеевропейской культуры, не в глухом углу, а на свободном просторе международного умственного взаимодействия». Пумпянский заметил, что в четырех строках о Вольтере в послании «К вельможе» дано «сокращение целых пластов мысли» и по силе сокращающей мысли эти строки равны целому исследованию<sup>13</sup>. Способность к таким завершающим *résumé* обширных пластов европейской истории, и духовной и политической, породила на стилистическом микроуровне явление пушкинской поэтической — и исторической, поэтически-исторической — афористики, хорошо недавно описанное; она заставляет ум читателя двигаться по культурной истории «кратчайшим воздушным путем вместо извилистого наземного»<sup>14</sup>.

С этой способностью резюмирующей — по отношению к европейской культуре — совмещается *наследование* ключевых конфликтов этой культуры<sup>15</sup>, возвращенное на большую глубину ее истории и открыто сказывающееся в «Сцене из „Фауста“» и болдинских трагедиях, — с переводом при этом европейского содержания на родную почву, как, например, в известной стихотворной формуле «современного человека» в 7-й главе «Онегина» он перевел психологическое со-

<sup>10</sup> «Новое литературное обозрение», № 27 (1997), стр. 169.

<sup>11</sup> Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997, стр. 509, 578.

<sup>12</sup> Из неопубликованной работы А. В. Михайлова «Методы и стили литературы».

<sup>13</sup> Пумпянский Л. В. Тургенев и Запад. — В кн.: Тургенев И. С. Материалы и исследования. Орел, 1940, стр. 97.

<sup>14</sup> Роднянская Ирина. Поэтическая афористика Пушкина и идеологические понятия наших дней. — «Падающий Зиккурат». Альманах. СПб., 1995, стр. 26.

<sup>15</sup> Беляк Н. В., Виролойнен М. Н. Маленькие трагедии как культурный эпос новоевропейской истории. — В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы». Т. XIV. Л., 1991.

держание новейшего европейского романа — перед этим выставив его в оригинале — в европейском оригинале — в виде французского эпиграфа (разумеется, прозаического) ко всему роману в стихах — перевел это содержание европейского романа и на русского современного героя, и на живой русский стих.

Кажется, при возрастающем внимании к Пушкину в мировой филологии все же она еще недостаточно отдает себе отчет в том факте, что Пушкину принадлежит вот такое центральное положение в европейской культурной истории, а не только почетное место в русской литературе.

И еще про аверинцевскую формулу заметить можно, что она — не случайно, по-видимому, — сближается по эпитету с пушкинским определением случая как «мощного, мгновенного орудия Провидения». В самом деле, еще раз — что значит и почему — *мгновенная* исключительность? Это значит, что сам Пушкин хоть и явился, конечно, результатом какой-то литературной эволюции, но не простым «закономерным» ее результатом, а в с п ы ш к о й, солнечным взрывом, то есть, по-пушкински, в ходе литературных закономерностей он возник как счастливый случай. Это можно обосновать научно, филологически, а не оставить риторическим восклицанием; замечание Аверинцева и есть такое кратчайшее обоснование по близкому ему как филологу-классику признаку отношения к античности.

...Теперь — «В начале жизни школу помню я...». Стихотворение живописует «начало жизни» — вероятно, лицейскую юность — как борьбу могучих духовных сил за душу отрока-поэта. Эти силы представлены такими символами, как *школа* и *сад*, за которыми — универсальные принципы: христианская школа и антично-языческий или же ренессансный сад. Сюжетный вектор пьесы таков, что отрок-герой *убегает* из школы в сад и там замирает перед кумирами античных богов. «И часто я украдкой убежал / В великолепный мрак чужого сада...» И там, в саду, пробуждается вдохновенье, рождается в нем поэт. Но и школа стоит за его спиной со своей незбылемой правдой. «И полные святых словеса...»

Стихотворение это — один из камней преткновения в пушкинистской критике и выразительнейший пример удобопревратности интерпретаций, оказывающихся полярно обратными, в каждом случае с известными основаниями. Оно толкуется либо как чисто историческое — картинка из раннего Возрождения — и тогда локализуется в Италии, хотя никаких прямых итальянских реалий там нет, есть только терцины; было даже предположение, поддержанное как будто некоторыми черновыми строчками, что это стихотворение о молодом Данте<sup>16</sup>. Либо как автобиографическое — и тогда оно локализуется в Царском Селе. Это во-первых, а во-вторых, выраженный в нем духовный конфликт обязательно разрешается в ту или эту сторону. Либо движение сюжета стихотворения — это исторически прогрессивное движение от средневековой церковной «школы» как исторически старого к освобождающейся античности как новому (Ренессанс)<sup>17</sup> — либо тот же сюжет, напротив, это духовное движение вспять от православной иконы (с которой отождествляется аллегория-символ величавой жены) к языческим идолам как олицетворению эстетического соблазна, и все стихотворение — это воспоминание о таком пережитом в отрочестве и сказавшемся далее на всем пути поэта могучем соблазне<sup>18</sup>. Второе толкование пушкиниста-священника примыкает к традиции пастырских толкований, открытых еще в 1899 году митрополитом Антонием Храповицким; что касается двух кумиров, составляющих фокус и точку высокого напряжения в тексте пьесы, то в понимании митрополита Антония собственно древнего, собственно античного в них ничего уже не осталось; они полностью переводятся без остатка на язык православного понимания как *бесы* — «демон гордыни и демон разврата»<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Благой Д. Д. Il Gran'Padre. (Пушкин и Данте). — В кн.: Благой Д. Д. Душа в заветной лире. М., 1979, стр. 164.

<sup>17</sup> Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, стр. 280 — 285.

<sup>18</sup> Васильев Б. А. Духовный путь Пушкина. М., 1994, стр. 177 — 190.

<sup>19</sup> Митрополит Антоний. О Пушкине. М., 1991, стр. 7.

Другие два чудесные творенья  
Влекли меня волшебною красой:  
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик молодой —  
Был гневен, полон гордости ужасной  
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,  
Сомнительный и лживый идеал —  
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;  
В груди младое сердце билось — холод  
Бежал по мне и кудри подымал.

Уже замечали, что это у Пушкина творчество: «И быстрый холод вдохновенья / Власы подьемлет на челе» — в стихотворении из той самой здесь описанной юности.

Да, но не прямо ли сказано: «То были двух бесов изображенья»? Холод вдохновения от бесов? Пушкин внес этот резкий акцент в последний момент работы над текстом; вначале там стояло: «То были двух богов изображенья»<sup>20</sup>. Тем самым он сделал подарок нынешнему благочестивому пушкиноведению, которое принимает прямо от Пушкина это сильное слово как пушкинскую оценку всей этой языческой красоты. Это действительно сильное и ударное слово в тексте, но Пушкин свой голос с ним не сливает. «Бесы» здесь названы как христианский псевдоним античных богов, и Пушкин эту ортодоксальную точку зрения, можно сказать, *цитирует*. Этим сильным словом два кумира здесь припечатаны, но ведь никак не исчерпаны — и вопреки митрополиту Антонию собственное их эллинское качество сияет из-под этой печати. И, припечатав, это слово здесь ничего не решает — не разрешает напряжения, а его создает. Неразрешенное напряжение между двумя мировыми силами и составляет стихотворение. Во внешней форме это выражено незамкнутостью повисшей рифмы в безостановочном беге терцин. Как очень часто у Пушкина, считать ли стихотворение незавершенным — это вопрос. Формальный признак законченности — это отсутствие отдельно стоящего замыкающего стиха, как в заключении каждой песни «Комедии» Данте. Но и у Пушкина в двух его «Подражаниях Данту» (пародийных) такой завершающий стих присутствует; отсутствует он в нашем стихотворении, словно повисшем вместе с незамкнутой рифмой на открытом противоречии-напряжении. Но тем самым оно и кажется если не завершенным, то самодостаточным в соответствии со своим огромным смыслом.

Смысл же тот, что «в начале жизни» — не только жизни поэта, но и его поэзии — стояли универсальные впечатления, и переходы из школы в сад и обратно были для отрока путешествием по духовной истории европейского человечества. Из его христианской истории отрок-герой убегал в его античное прошлое, но исторически старое в свежем опыте нового человека являлось ему как живое и новое — та самая еще живая античность, о которой писал Михайлов; древние статуи, замечал о стихотворении Гоголь, говорят ему «живей науки»<sup>21</sup>. Но и эта странная живость недвижимых кумиров является как демоническое их свойство — это магическое присутствие языческой древности в христианском мире. И православное отношение к статуе как языческой прелести в самом деле с силой звучит в этом самом — «бесов изображенья». Тема оживающей статуи подробно рассмотрена в пушкинистской критике, в отношении же к этому стихотворению — ужасно-прекрасный Петр не что иное есть, как наша метаморфоза дельфийского идола — это было замечено Г. П. Федотовым. «Кумир» недвижимый и оживающий как обозначение языческой государственности — и как причина царского запрещения «Медного всадника». Ужасно-прекрасный эллинский бог совершает свои превращения

<sup>20</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. (большое академическое). Т. 3(2). М., 1949, стр. 866.

<sup>21</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти томах, т. 8. 1952, стр. 384.

в русской истории — и вот оказывается, что вся противоречивая полнота Петра у Пушкина восходит к детскому впечатлению от кумиров сада<sup>22</sup>.

В общем, стихотворение это — объем — непримиренных огромных сил. Если в самом деле это лицевая юность, то это о том, как историческим объемом уже тогда наполнилась биография. И — по примеру стихотворения этого — и сам феномен Пушкина доступен только такому — объемному — пониманию. Поэтому несовместимые определения могут дать иногда такое понимание. Как, например, Константин Леонтьев возражал на речь Достоевского. Здесь стоит отметить, что леонтьевские языческие эпитеты произвели впечатление на такого серьезнейшего представителя христианской пушкинистики, как С. Л. Франк, и он признал оправданным возражение Леонтьева Достоевскому, но с оговоркой, что это столь же односторонне, как и образ «мирного христианина», в какого, по Франку, Пушкина превратил Достоевский<sup>23</sup>.

В поисках более многосторонней и полной характеристики Франк не вспомнил Аполлона Григорьева, к гениальному слову которого о *заклинателе и властелине многообразных стихий* мы теперь возвратимся. Гениальному именно этим — своей объемностью.

*Стихи* — вот важное слово, которое Григорьев ввел в национальную пушкинологию и от которого она никак не может потом отделаться, — оно станет, например, лейтмотивным словом в выступлениях Блока и Цветаевой. Вокруг него и сейчас клубятся околопушкинские разборки, если вспомнить книгу А. Терца-Синявского (славящего стихийного Пушкина) и одну из последних больших статей Валентина Непомнящего (не признающего значения этого слова для понимания Пушкина и объясняющего его популярность «неоязыческим мифологизмом нашего „серебряного века“»<sup>24</sup>; только ведь не серебряным веком, а Аполлоном Григорьевым было запущено это сомнительное слово в пушкиноведческий оборот). Стихи как органические силы жизни, которым дает язык поэзия. Вот вопрос понимания Пушкина: как оценить эти силы и роль их в «порядке мира» пушкинском, если вспомнить блоковское в его речи: «Порядок мира тревожен, он — родное дитя беспорядка...»? Или их оценить как «лишь необходимое сырье для творчества»<sup>25</sup> — тогда, собственно, нет той борьбы, какую описывал Аполлон Григорьев, а на месте ее что-то вроде духовного производства, перерабатывающего мир как сырье. Или — как действующую силу борьбы, ее могучий субъект, действительное слагаемое «порядка мира» (который все же неизбежно «тревожен»).

Переключка определений Григорьева и Леонтьева сразу заметна. Демонически-пышный гений, по Леонтьеву, — это тот, кто дает богатым стихиям жизни свободное выражение. Но Аполлон Григорьев не останавливается на этом пороге творчества, и его характеристика Пушкина решительно отличается от леонтьевской, что сказывается в различном наклоне эпитета «многообразный», который у них обоих присутствует как определение пушкинского гения. «Многообразный» — у Леонть-

<sup>22</sup> Имя второго беса характерно двоится для двух направлений пушкинистской мысли. Более академическому пушкиноведению проще видеть в нем Афродиту-Венеру (впрочем, и православному пониманию тоже: «демон разврата» митрополита Антония). Мифологическому пушкинзнанию хочется видеть здесь Диониса-Вакха, на что наводит, кажется, эпитет «женообразный», мифологически и мистически точный, поскольку женственные черты Диониса (именно — «женообразные») — его характернейший мифологический признак (см.: Зелинский Ф. Ф. Древне-греческая религия. Пг., 1918, стр. 51; Лосев А. Ф. Античная мифология. М., 1957, стр. 151). Мережковский первый в 1896 году, наверное не без Ницше, опознал Аполлона и Диониса в пушкинской паре («Пушкин в русской философской критике», стр. 137). Если это так, то это значит, что Пушкин здесь в двуединой паре прямо, можно сказать, увидел будущую проблему европейской мысли задолго до Ницше и Вячеслава Иванова, увидел этот пластический парный образ в его «двуипостасном, нераздельном и неслиянном единстве» (Иванов в Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994, стр. 217), увидел его как жгучий вопрос; этот факт еще не оценен. Таким опознанием «двух бесов» проблемное напряжение пьесы еще повышается. Но, наверное, опознание это навсегда остается открытым.

<sup>23</sup> «Пушкин в русской философской критике», стр. 390, 395, 446.

<sup>24</sup> «Новый мир», 1996, № 5, стр. 177.

<sup>25</sup> Там же.

ева эпитет самодовлеющий, у Григорьева — подчиненный. Многообразными стихиями у Леонтьева гений Пушкина определяется, у Григорьева над ними возвышается как их заклинатель и властелин. Леонтьевская характеристика как бы на уровне стихийных страстных источников творчества Пушкина, григорьевская — на уровне творческого акта власти над ними. У Григорьева над стихиями творчества возвышается личность поэта, и Григорьев строит своего рода теологию пушкинского творчества, когда определяет эту личность Пушкина а п о ф а т и ч е с к и: поэт — не стихии его поэзии, не Алеко и не Иван Петрович Белкин как полюсы его мира; «личность пушкинская — сам Пушкин, заклинатель и властелин многообразных стихий».

Сами же эти стихии творчества представляют у Пушкина диапазон от первобытных природных в собственном смысле стихий до исторических и духовных сил и даже целых культурных миров, также требующих борьбы и одоления, «заклиная», каковы в особенности сложившиеся блестящие, как говорит о них Григорьев, европейские идеалы, с которыми «мерялся силами» наш поэт (Байрон, Фауст и т. д.); но и родные начала и «типы» тоже: Пугачев и Белкин тоже как полюсы русской жизни — стихии творчества.

Григорьевская формула представляла раскрытие темы, заданной Гоголем: «что такое сам поэт», притом раскрытие, вновь отсылающее к античным ассоциациям — к Орфею как имени абсолютного поэта. Пушкин этим определением тоже возводится в ранг поэта абсолютного — ранг, которого вознамерилось в 1925 году в лице Б. В. Томашевского лишить его историко-литературное изучение, объявившее демифологизацию Пушкина. Когда теоретики символизма станут в начале нашего века вновь выкликать Орфея как имя, благословляющее их движение, Вяч. Иванов даст ему в статье 1912 года определение, почти повторяющее григорьевское о Пушкине: «заклинатель хаоса и его освободитель в строе»<sup>26</sup>. Как для Вяч. Иванова, так и для Аполлона Григорьева, как в Орфее, так и в Пушкине определение говорит о магической силе поэта, покоряющей и цивилизующей в случае первопоэта древнего прежде всего стихии природные и хтонические (Аид), в случае первопоэта русского как «культурного героя Нового времени»<sup>27</sup> прежде всего стихии духовные, исторические и культурные. Но и первоначальные также в их причастности к человеческой истории и вечной с нею борьбе: как Орфей в походе аргонавтов усмирять волны, так и Пушкин в «Медном всаднике» их заклинал, а в двух строках:

Плеская шумною волной  
В края своей ограды стройной, —

дал весь объем своего стихийно-культурного космоса и своей поэтической личности, в том числе и как «певца Империи и Свободы», по Г. П. Федотову. Две пейзажные строки в завязке «Медного всадника» заключают в себе всю драму поэмы, потому что живой человек (Евгений) гибнет, как между этими двумя строками, между двумя стихиями волны и камня — державного города. Но та же пушкинская парадигма стихии и порядка, «натиска» (оппозиции по-европейски, бунта по-русски) и «отпора» работает у него на другом материале и в ином оценочном освещении — там, где он заинтересованно наблюдает чуждые русской жизни пружины европейского парламентаризма:

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,  
Пружины смелые гражданственности новой.

Первую из этих двух строк любил цитировать все тот же Леонтьев — но не как определение европейской «гражданственности» — она совсем не была ему по душе, — а как формулу пушкинской гармонии, которую Леонтьев видел как гармонию по Гераклиту, не по Достоевскому (в пушкинской речи) — как гармонию по-

<sup>26</sup> Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979, стр. 706.

<sup>27</sup> Виротайнен М. Н. Культурный герой Нового времени. — В кн.: «Легенды и мифы о Пушкине». СПб., 1994, стр. 321.

этической борьбы, напряженного сопряжения антитез, а не гармонию мирного унисона; приписывание такой гармонии мирного унисона Пушкину он и оспаривал в знаменитой речи. И, независимо от этого спора, Леонтьев был прав, так читая пушкинскую строку — как глубинную характеристику мира поэта, а не конкретное изображение.

Аполлон Григорьев описывал стихии пушкинского творчества, ведущие за поэта и с ним борьбу, как «силы страшные, дикие, необузданные», готовые растерзать<sup>28</sup>. В точности так, как был растерзан Орфей менадами. Тоже ведь недаром эта ассоциация. И еще в одном отношении этот архаический архетип поэта представлял собою модель построения образа Пушкина в русской мысли: образ поэта в лице Орфея перерастал свои границы: из поэта в пророка, а для Вяч. Иванова — в знаменование «движущего мир, творческого Слова... в христианской символике первых веков»<sup>29</sup>. В самом деле, переосмысленное, лицо Орфея принято в раннее христианство (где его образ присутствует в иконографии «Доброго Пастыря»), а затем, еще раз переосмысленное, — в «новое христианство» русского символизма. В этом перерастании за собственные границы, как функциональные (из поэта в пророки), так и историко-философско-культурные (из античного пантеона в христианский контекст), можно усматривать прототип преобразований и пушкинского образа в сознании потомков — прототип, отразившийся и в мифологизированной формуле Аполлона Григорьева.

Если теперь вернуться к стихотворению «В начале жизни школу помню я...», то можно и его рассматривать как парадигму к этой формуле. «Пушкин выносил в себе все», — писал Аполлон Григорьев<sup>30</sup>. Он выносил в себе со времен лицейской юности и кумиров сада, «двух бесов изображения», чтобы болдинской осенью их заклясть как творческую стихию своей поэзии. Но как заклясть? В стихотворении вопрос не решен и выбор не сделан, отрок смущен и как бы раздвоен. Отрок — меж двух огней, на растерзании, он заклял их как *бесов*, но только создал тем напряжение, остающееся неразрешенным. Как заклясть поэтически? Это в силах не отрока, а поэта. В его силах подняться над ярким чувственным впечатлением и ввести его в духовный горизонт; организовать во внутреннем мире встречу миров исторических — двух культурных эонов — и взвесить спор, не решая его.

Так, он в болдинском стихотворении заклинал мировые духовные силы. И тогда же в болдинской поэме — грозные силы родной истории, пробуждающиеся в самом поэте. Это у Пушкина редкое место, где внутренний механизм овладения и заклания обнажен: XI — XII строфы «Домика в Коломне».

Мне стало грустно: на высокий дом  
Глядел я косо. Если в эту пору  
Пожар его бы охватил кругом,  
То моему б озлобленному взору  
Приятно было пламя. Станным сном  
Бывает сердце полно; много вздору  
Приходит нам на ум, когда бредем  
Одни или с товарищем вдвоем.

Тогда блажен, кто крепко словом правит  
И держит мысль на привязи свою,  
Кто в сердце усыпляет или давит  
Мгновенно прошипевшую змию...

Высокий каменный дом вырос на месте сметенного цивилизацией домика в Коломне, и вот какое мстительное чувство давить приходится. О связи этого места с разбойно-пожарно-революционными мотивами русской литературы нам случилось писать<sup>31</sup>: непосредственно вспыхнувшее переживание автора сродни пугачевской стихии русского бунта и способно смыкаться с ней; в движении литературы

<sup>28</sup> Григорьев Аполлон. Литературная критика, стр. 172.

<sup>29</sup> Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. III, стр. 706.

<sup>30</sup> Григорьев Аполлон. Литературная критика, стр. 168.

<sup>31</sup> «Московский пушкинист», I. М., 1995, стр. 247 — 249.

оно отзовется пожарными сценами «Бесов» (Достоевского), а в потенции поведет к «мировому пожару» Блока, отдавшегося, по его признанию, стихии в своей поэме. «Запирайте этажи...» — обращено ведь как раз к высоким каменным домам. Так что странное и внезапное грозное место в шутливой поэме уводит к большому контексту не только пушкинскому, но русскому историческому и обнажает те самые, по Ал. Григорьеву, «сочувствия» и «борьбу» (два слова, которыми определял он одновременно-двуединое отношение поэта к «стихиям»). Как писал об этом месте «Домика в Коломне» Роман Якобсон, огонь, который тушит здесь в своей душе поэт, — это «огонь, с которым жила поэзия Пушкина»<sup>12</sup>.

Заклинатель и властелин многообразных стихий — это определение кажется слишком эффектным чуть ли даже не какой-то эстрадной эффектностью — но оно же кажется конгениальным Пушкину. Конгениальным тем динамизмом и драматизмом, с какими в нем передаются не гладкие свойства поэзии Пушкина, а та борьба, какая ее составляла.

---

<sup>12</sup> Якобсон Роман. Работы по поэтике. М., 1987, стр. 240.

---

---

---

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



## ГЁТЕ И ПУШКИН

(1749 — 1799 — 1999)

**Г**од рождения Пушкина был годом пятидесятилетия Гёте. Культурная конвенция юбилейных торжеств — что же, и Гёте, и Пушкин знали цену конвенциям! — напоминает нам об обстоятельстве очень конкретном и предметном, менее всего риторическом: при упомянутой разнице в полвека Пушкин был младшим современником Гёте и дышал воздухом той же эпохи. Скажем, в 1825-м, когда рождалась пушкинская «Сцена из „Фауста”»<sup>1</sup> — нечто среднее между подражанием, пародией и вольной вариацией на гётевскую тему, — немецкому поэту еще оставалось жить более полдюжины небесплодных лет. Когда мы, русские, читаем экскермановскую хронику последнего периода жизни Гёте, идущую день за днем, начиная с десятого июня 1823 года, нам само собой приходит на ум соотносить даты с одновременными моментами жизненного пути Пушкина, — и эта произвольная игра отнюдь не бессмысленна. А уж с пересчетом на темп движения русской культуры той поры «веймарская классика» и наш «золотой век» («поэзия пушкинского круга») и вовсе предстают как явления симультанные.

Рискнем задать «детский» вопрос. Гёте в немецком контексте еще при жизни и тем более после своей кончины — чтимый или иконоборчески ниспровергаемый, но всегда «олимпиец», из классиков классик. Мы, русские, воспринимаем Пушкина как «классика» нашей литературы, ее, по известной формуле, «солнце». Что означает такой гелиоцентризм? Почему время для «классиков» как немецкой, так и русской словесной культуры пришло именно тогда — ни раньше, ни позже?

Слово «классик» в каждом европейском языке имеет многообразные коннотации, которые не всегда легко привести к одному знаменателю. С одной стороны, термины «классика» и «романтика» со времен Гёте и Клейста функционируют как антонимы; с другой стороны, «классика» может обозначать просто почтенное литературное наследие, ценность которого проверена временем, так что и от романтического движения остается своя «классика». В первом случае имеется в виду стилистическая характеристика определенных творений, в другом — оценочная. А как происходит в тех случаях, когда слово «классик» употребляется *par excellence* в приложении к одному автору — к Данте у итальянцев, к Шекспиру у англичан, к Гёте у немцев, к Пушкину у русских? Разумеется, чисто оценочный момент здесь совершенно очевиден. (В качестве одного из неисчислимых примеров можно привести формулу, вынесенную в заглавие статьи П. В. Палиевского «Пушкин как

---

Аверинцев Сергей Сергеевич — филолог, историк культуры, литературный переводчик, поэт. Родился в Москве в 1937 году, окончил филологический факультет МГУ в 1961 году. Работы по истории античной, византийской, европейской и русской литератур, по истории богословской и философской мысли, переводы с древнегреческого, латинского, древнееврейского, сирийского, немецкого, французского и польского языков. Профессор МГУ и Венского университета; почетные доктораты Восточного Института (Рим), Киево-Могилянской Академии (Киев) и Софийского университета; несколько премий, в их числе — премия Леопольда Лукаса, присуждаемая Тюбингенским университетом за усилия, направленные на сближение народов и культур (среди лауреатов — Карл Поппер, Карл Ранер, Поль Рикёр, Далай-лама и другие).

<sup>1</sup> Отлично известна посредническая роль, которую сыграла при этом книга мадам де Сталь «De l'Allemande» (ср.: Серман И. Пушкин и Грибоедов — реформаторы русской драматургии. — «Пушкинский сборник». Иерусалим, 1997, стр. 173 — 186).

классическая мера русского стиливого развития»<sup>2</sup>). В наши времена деконструкций нет ничего проще, как акцентировать утилитарный, а потому более или менее произвольный характер признания за Поэтом такого «классического» статуса в рамках той или иной национальной мифологии/идеологии. Однако не будем спешить соглашаться с такой редукцией феномена классика. Во-первых, позволю себе, как в старые добрые времена Цицерона, сослаться на *consensus gentium*, т. е. на согласие эпох и культур; из самой обоснованной критики каждой из попыток ответить на вопрос, почему Гёте или Пушкин есть классик, не вытекает еще, что самый вопрос каждый раз ставится абсурдно. Во-вторых, в облике наиболее признанных классиков европейских литератур самое непосредственное впечатление улавливает какие-то общие черты. Попробуем разобраться, в чем состоят хотя бы некоторые из них.

Как кажется, для явления «классика» необходимо требуется достаточно острое напряжение между статикой традиции и динамикой нового, не допускающее однозначного решения ни в ту, ни в другую сторону. Данте стоит между Средневековьем и Ренессансом, Шекспир — между Ренессансом и Барокко, наконец, Гёте и Пушкин — между *ancien régime* и капиталистическим развитием Европы XIX века; при всем различии в их хронологической локализации есть каждый раз что-то общее: положение между очередной стабилизацией сословных ценностей и очередным убыстрением капиталистического прогресса<sup>3</sup>.

Марксистский дискурс советского, и не только советского, типа основательно скомпрометировал для нас, русских, употребление при разговоре о темах по сути своей эстетических или, еще точнее, философско-антропологических, как «классичность» классического, таких категорий, как, скажем, «капитализм». Но очевидно, что динамика новейших капиталистических отношений (как и раньше торговая природа греческого демократического полиса!) может и должна рассматриваться не просто как экономическое «бытие», которое, по марксистскому тезису, определяет «сознание», но скорее — в неразделимом единстве с демократией, с так называемым *Secular City* и т. п. — как один из ориентиров философско-антропологического плана. Для характеристики этого широкого контекста историко-литературного перелома отметим хотя бы в качестве курьеза, что именно у Гёте и Пушкина, классичнейших из классиков, мы неожиданно встречаем прямо-таки профетический для их времени интерес к феномену *американизма* и, шире, к капиталистической демократии как проблеме именно антропологической и аксиологической.

У Гёте в контексте полемики против романтизма взгляд на неромантический Новый Свет более позитивный:

Amerika, du hast es besser  
 Als unser Kontinent, das Alte,  
 Hast keine verfallene Schlösser  
 Und keine Basalte.  
 Dich stört nicht im Innern  
 Zu lebendiger Zeit  
 Unnützes Erinnern  
 Und vergeblicher Streit.

Benutzt die Gegenwart mit Glück!  
 Und wenn nun eure Kinder dichten,  
 Bewahre sie ein gut Geschick  
 Vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten.

(«*Zahme Xenien*», 1820).

<sup>2</sup> В кн.: «Типология стиливого развития Нового времени». М., 1976.

<sup>3</sup> Другое привилегированное место в истории русской литературы, место «антиклассического» Достоевского, столь отличным и все же сходным образом обусловлено тем, что *Россия Достоевского* — это уже в принципе капиталистическое пространство утраты сословных идентичностей, в котором уже не пара *барин — мужик* задает тон, однако это все еще *ancien régime*, допускающий, в частности, достаточно серьезные царистские мечтания.

(Америка, тебе приходится лучше, чем нашему ветхому континенту: у тебя нет ни развалившихся замков, ни базальта. Твоего нутра не терзает посреди живой современности ненужное воспоминание и бесполезная распря. Так воспользуйся везением! И когда твои дети сочинительствуют, Боже их сохрани от [романтических!] историй про рыцарей, про разбойников, про привидения. — «Кроткие ксении», 1820.)

У Пушкина мы встречаем выпады, но и очень живой интерес: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, донныне безопасная и цветущая, сильная миром... гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. ...С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество...» Пушкин упоминает Токвиля, *автора славной книги*, в этой своей рецензии на «Записки» Джона Теннера в «Современнике» 1836 года. Надо иметь в виду, что первый том тогда только что появился, а второй вышел уже после кончины поэта (Tocqueville Alexis Charles de. De la démocratie en Amérique. I — II, 1835 — 1840). Простое упоминание книги Токвиля в тот момент само по себе нетривиально и свидетельствует о незаурядном, сверхобычном любопытстве к предмету.

И еще один важный пункт совпадения между любопытствованиями поэтов и прозой сегодняшнего дня — неожиданная у них и тривиальная для нас близость неевропейских цивилизаций, состояние человечества, при котором уже невозможно вопрошать, как вопрошали выведенные у Монтескьё французы: как это возможно быть персиянином? Посмотрели бы они на мечети, выросшие в европейских городах! Но об этом нам еще придется говорить ниже.

Важная предпосылка мышления Гёте, как и мышления Пушкина, — наследие Просвещения как импульс и как вызов. И Гёте мог бы сказать, как сказал Пушкин, о ранней встрече со всем тем, что символизируется фигурой Вольтера:

...Я встретил старика с плешивой головой,  
С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой,  
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой...

Под 3 января 1830 года Эккерман записал гётевское признание: «Вы себе и вообразить не можете... значения, какое имел Вольтер и его великие современники в годы моей юности и в какой мере властвовали они над всем нравственным миром. В своей автобиографии я недостаточно ясно сказал о влиянии, которое эти мужи оказали на меня в молодости, и о том, чего мне стоило от них оборониться, встать на собственные ноги и обрести правильное отношение к природе». Далее усердный летописец гётевских бесед рассказывает, как восьмидесятилетний поэт прочитал одно стихотворение Вольтера наизусть, доказав этим, «сколь усердно он в молодости изучал и усваивал такого рода произведения»<sup>4</sup>.

Поскольку нас особенно интересует противоречивое соотношение между традиционализмом и антитрадиционализмом в обликах «классиков», отметим, что феномен Просвещения именно в этом аспекте сам двойственен. Как идеология критики, отрицания, пересмотра всего само собой разумевшегося, Просвещение антитрадиционалистично. Однако литература Просвещения в ее господствующей тенденции (которой одиноко противостоял Руссо) предстает классицистичной, т. е. ориентированной на идеал рассудочно-риторического дискурса, выработанный

<sup>4</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Перевод Н. Ман. М., 1981, стр. 342 — 343.

еще античностью и перед своим концом, напоследок, особенно идентичный себе. Высшие ценности в таком контексте — точность, отстраненность, нарочито холодное остроумие. Романтизм видел свою главную задачу в дискредитации этого идеала. Тем интереснее позиция Гёте и Пушкина. В беседе от 16 декабря 1828 года Гёте хвалит литературное творчество Вольтера — «*все, созданное таким могучим талантом*», но в особенности маленькие стихотворения, «*прелестнейшее из всего им написанного*»<sup>5</sup>. Эта похвала, подчеркнута литературная, подчеркнута эстетическая<sup>6</sup>, выносящая за скобки все мировоззренческие проблемы, нимало не противоречит довольно тривиальному осуждению вольтеровского всеотрицания в разговоре от 15 октября 1825 года. Трудно не вспомнить совершенно аналогичный отзыв Пушкина: «В одном из этих писем встретили мы неизвестные стихи Вольтера. На них легкая печать его неподражаемого таланта. ...Признаемся в госсос нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более *слага*, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией»<sup>7</sup>. Этот пассаж особенно замечателен сознательностью, с которой поэт противопоставляет свой «запоздалый вкус» — торжествующему вкусу романтизма. Что бы ни имели Гёте и Пушкин против Вольтера, Вольтер как антипод всего романтического, Вольтер, в котором можно, например, отметить качество «*светской непринужденности*», что Гёте и делал со всей серьезностью в поучение Эккерману<sup>8</sup>, именно в таком качестве им импонировал. Отношение как Гёте, так и Пушкина к риторико-рационалистическому дискурсу сразу непосредственно и дистанцированно, в терминах Шиллера — сразу и «*наивно*», и «*сентиментально*». Это наследие веков, воспринятое в нежном возрасте через Расина, Мольера и того самого Вольтера, чью поэзию, по-прежнему восхищаясь риторическим качеством вольтеровской *ясности*, Пушкин с такой похвалой противопоставляет тенденциям современного тогда французского романтизма, а по сути дела — той ставке на выход за пределы рационализма, которая только предварительно получила артикуляцию в романтизме.

Одновременно Вольтер для обоих — антагонист. Недаром образ, намеченный в цитированных выше стихах Пушкина, — гротескный, скуррильный, карикатурный. Что же, дух систематического рассудочного отрицания на вольтерьянский манер и для Гёте, как для зрелого Пушкина, принципиально неприемлем. Недаром Гёте перемежал похвалу культуре энциклопедистов признаниями касательно усилий, которые ему пришлось приложить, чтобы от всего этого наваждения «оборониться». Как бы сложно ни обстояло дело с религиозностью Пушкина и тем более Гёте в смысле более или менее ортодоксальном, очевидно, что у каждого из них была некая *religio poetae*, вера, имманентная их творческой активности и решительно несовместимая с «вольтерьянством» как системой негативистской риторики и постольку модусом отношения ко всему сущему. У Гёте были причины специально вспомнить в связи с этой внутренней борьбой против Вольтера выработку «правильного отношения к природе». Каждый, кто помнит обертоны слова «*Natur*» у Гёте, ощущает, что стоит за этим кратким замечанием.

Поэзия Гёте и Пушкина существенным образом «поствольтерьянская». Она в некотором глубинном смысле слова религиозна не потому, что это так называемая «религиозная поэзия», то есть не в меру введения религиозных тем и мотивов, но по характеру модальности, в которой разрабатываются любые темы и мотивы, в том числе весьма далекие от благочестия. Все определяется, собственно, углом

<sup>5</sup> Эккерман И. П. Указ. соч., стр. 278.

<sup>6</sup> Что само по себе не так уж понятно для времен более поздних. Уже давно хвалят и хулят Вольтера-идеолога, Вольтера-критика, Вольтера как защитника Калласа, поборника терпимости, противника церковности и т. п. Но для Гёте, как и для Пушкина (см. чуть ниже), Вольтер еще был прежде всего поэтом. У них еще был остро развит вкус к поэзии рассудочности, к поэзии риторики, — хотя их собственная поэзия была совершенно иной.

<sup>7</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 7. М. — Л., 1949, стр. 417 — 418.

<sup>8</sup> Эккерман И. П. Указ. соч., стр. 355.

подхода к теме, к мотиву, к собственному настроению и умонастроению: контекстом, в который поэзия каждый раз ставит личный голос поэта.

Что касается религиозных мотивов, эксплицитно религиозной (хотя и не ортодоксальной) топики, то здесь любопытную тему для наших размышлений представляет столь характерная для обоих поэтов тема ислама. Трудно не поразиться тому, что Пушкин, почти несомненно не зная о вышедшем еще в 1819 году, но не имевшем тогда резонанса «Западно-восточном диване», так близко подошел к нему пятью годами позже в своих «Подражаниях Корану». На фоне бинарной оппозиции «Просвещение — Романтизм» стоит отметить двузначность этой темы. С одной стороны, еще Монтескьё в «Персидских письмах» (1721) выдвинул фигуру идеализированного мусульманина в роли критика европейских предрассудков, и Вольтер в статьях карманного «Философского словаря» (1764) подхватил прием; еще серьезнее, чем подобная полемическая игра, было внутреннее сродство между идеализированным исламом и стремлением просветительского религиозного сознания к возможно более очищенному монотеизму как предполагаемой «естественной» форме веры. Без этого трудно вообразить умонастроение, культивировавшееся в ту пору в среде европейского масонства. Именно в таком духе Гёте восхвалял Мухаммеда:

...Und so muss das Rechte scheinen,  
Was auch Mahomet gelungen;  
Nur durch den Begriff des Einen  
Hat er alle Welt bezwungen.

(И потому представляется правым делом  
то, что удалось Магомету;  
только через постижение Единого  
он покорил весь мир.)

С другой стороны, образ ислама оставался для просветительства абстракцией, был желателен именно в качестве абстракции<sup>9</sup>; его абстрактность была обусловлена отнюдь не только скудостью конкретных представлений, но прежде всего все еще живой волей классицистической культурной парадигмы к сохранению своего нормативного статуса. Только предромантизм (гердеровские «Голоса народов в песнях» и проч.) и особенно романтическая эпоха утвердили принцип плюрализма «местных колоритов». Без этой компоненты разработка исламских мотивов и у Гёте, и у Пушкина просто непредставима. Младший из поэтов ушел в сторону романтизма дальше: «*Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!*» — не то, что «*der Begriff des Einen*». Но сходство важнее различий.

Конечно, к числу предпосылок исламской топики в том и другом случае относится выход за пределы как конфессиональных, так и «вольтерьянских» полемических установок — возможность любования чужой верой, выразившаяся хотя бы в тех вариациях на тему католического восторга перед Девой Марией, какие мы встречаем у протестанта Гёте — в финале «Фауста», а у православного Пушкина — в балладе о Бедном Рыцаре. Эта возможность сама по себе красноречивее говорит о преодолении закрытости в своей культуре, чем все экзотические увлечения романтической эпохи. Опасные и плодотворные тенденции, слишком однозначно связываемые в наше время с мнимо новыми открытиями постмодерна, in nuce уже присутствуют здесь. Видеть в том и другом случае вовсе уж пустую литературную игру столь же несообразно, как и приписывать Гёте и Пушкину некое криптокатоличество. В том-то и дело, что здесь можно наблюдать, как вскормившие поэтов цивилизации, еще не утрачивая собственной идентичности, становятся шире самих себя, что весьма важно для той интерпретации понятия «классика», которая предлагается в этой статье.

Черта эпохи — связь между идеями свободы и странствия, вообще динамики в пространстве (а значит, и подвижности позиции индивида между цивилизация-

<sup>9</sup> Надо полагать, именно поэтому иудаизм хуже принимался в качестве образца чистого монотеизма несмотря на такой пример, как образ Натана Мудрого в одноименной пьесе Лессинга (1779). Евреи были слишком близки, слишком чувственно, визуально знакомы, чтобы предстать в функции абстракции.

ми!); приходится вспомнить ставшие мифом эпохи путешествия Байрона. У Гёте в «Западно-восточном диване» мы читаем:

Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten!  
Bleibt in euren Hütten, euren Zelten!  
Und ich reite froh in alle Ferne,  
Über meiner Mütze nur die Sterne.

(Только дайте мне красоваться в моем седле! Оставайтесь в ваших хижинах, в ваших шатрах! И я весело мчусь во все дали, над моей феской — только звезды.)

Как не вспомнить из Пушкина что-нибудь вроде:

Отступник света, друг природы,  
Покинул он родной предел  
И в край далекий полетел  
С веселым призраком свободы.  
Свобода! Он одной тебя  
Еще искал в пустынном мире...

Но важна, конечно, не столько лежащая на поверхности тема пространственной подвижности, сколько все то, что Достоевский назвал всечеловечеством Пушкина и что столь очевидным образом ощутимо и в Гёте. Всечеловечество невозможно без интереса к «местному колориту», но и несводимо к нему, более того, в определенной мере противоположно всему, что есть только гурманство по части экзотики. Как мы определим существо классического всечеловечества? Повидимому, и здесь суть в остром напряжении между традиционной культурной исключительностью и грядущим плюрализмом культур. Позиция Гёте и Пушкина состоит в том, что они, воспринимая на высшем возможном для их эпохи уровне чуткость к разнообразию цивилизаций, осязаемому чувственно — на глаз, на вкус, на запах, — одновременно удерживают столь же непосредственное ощущение нерелятивизируемого единства человечества, продолжают верить в вертикаль ценностной шкалы, в онтологический статус человеческих «универсалий». Пройдет миг на часах истории — переход от эпохи Гёте к эпохе Гейне, от пушкинской эпохи к некрасовской, — и переживать это с такой цельностью перестанет быть возможно: навсегда.

Каждый классик после своей канонизации вызывал острые споры вокруг конвенционального и антиконвенционального образа своей классичности. И Гёте, и Пушкин в избытке навлекли на себя именно такую посмертную судьбу. Каждому известны интонации, в которых заявляли о себе на протяжении последних двух веков и культ Гёте, и спровоцированное этим культом иконоборчество. В применении к Пушкину один тип дискурса представлен, скажем, знаменитой Пушкинской речью Достоевского, чтобы не упоминать цветов советского юбилейного красноречия; другой — книгой А. Д. Синаевского. Нас не интересуют здесь эмоциональные моменты и психологические подоплеку той и другой позиции, а потому поспешим перейти к моментам содержательным.

Конвенциональный образ строится вокруг понятия гармонии:

гармонии художественной, истолкованной как непротиворечивое соответствие между «формой» и «содержанием»;

гармонии мировоззренческой, истолкованной как установка на «позитивное мышление»;

гармонии нравственной, понятой как способность к вынесению более или менее однозначных приговоров о «положительных» и «отрицательных» характеристиках персонажей.

Как выглядит дело в реальности? Да, творчество Пушкина, как и творчество Гёте, дает читателю удивленное переживание некоторой особой гармонии между так называемой формой и так называемым содержанием — между движением стиха, фонетической «оркестровкой» и проч., с одной стороны, и предметом изображения, с другой стороны. Но еще Гераклит замечает в одном из своих фрагментов,

что скрытая гармония лучше явной. Гармония между надрывом Вертера, доведившим впечатлительных читателей до самоубийства, и течением золотой гётевской прозы есть гармония парадоксальная, гармония контрапункта и контраста, а не беспроблемного соответствия. Равным образом в «Евгении Онегине» всячески тематизируется настроение, достаточно близкое к отчаянию; и притом роман — тут исключительно к месту вспомнить все рассуждения Бахтина о романе как противоположности эпосу! — развертывается как причудливо-непринужденная *causerie* автора с читателем, принципиально ни с чего начинающаяся и ничем заканчивающаяся; но онегинская строфа далеко не случайно принадлежит к числу самых строгих, самых сложных и музыкально упорядоченных строфических форм в русской и европейской поэзии. Из этого же, кстати, очевидно, насколько сложен в случае Гёте и Пушкина вопрос о гармонии мировоззренческой, о наличии или отсутствии «жизнерадостности», «приятя мира» и т. п. Как распределяет себя мировоззрение Пушкина между тематикой «Евгения Онегина» и его строфикой, противостоящей изображенному душевному хаосу примерно так, как небо над Аустерлицем, которое видит князь Андрей у Льва Толстого, противостоит кровавой бессмыслице битвы? В чем именно его искать? Строй формы «ставит на место» героя и самый авторский голос, как это было бы немислимо у Гейне или тем более, скажем, у экспрессионистов. Но форма — это форма, а не тезис, даваемый ею катарсис ничего не «объясняет» и никого не «утешает» в тривиальном смысле этих глаголов.

Что касается способности к более или менее однозначным вердиктам, то с этим дело обстоит особенно сложно. Фауст, употребляя самое мягкое выражение из словаря самого Гёте, — личность «проблематическая» (*problematische Persönlichkeit*). Честное слово, можно понять К.-С. Льюиса, который находил дьявольское начало никак не в Мефистофеле, сохранившем хоть способность к юмору, а в серезничающем, торжественном фаустовском себялюбии. (Тем лучше Фауст подходит к своей функции безличного зеркала авторской личности.) Что до Пушкина — кто поверит, кто способен поверить, будто Самозванец — персонаж «негативный»? Но уж совсем необычный казус — разделение в «Капитанской дочке» одного и того же исторического прототипа (Шванвича — дворянина, перешедшего к Пугачеву) на всецело светлого Гринева и всецело inferнального, однако, несмотря на свою порочашую фамилию и злые дела, вызывающего в читателе участие Швабрина. Впрочем, и Гринев, и Швабрин — персонажи почти сказочные. Но в случае характеристики персонажей более «взрослых» Пушкин дает не столько тезисы, сколько вопросы, демонстративно тематизируя открытость образа. С другой стороны, это еще не та открытость образа, которая станет возможной при более решительном отходе от традиции — скажем, после Достоевского. У Пушкина открытость образа показывается через каталог альтернатив, каждая из которых формулируется в манере, достаточно близкой к риторической конвенции, — но так, что все они в совокупности взаимно оспаривают друг друга. Иногда это мотивируется сюжетом: так, ранняя смерть Ленского позволяет гадать о неосуществленных возможностях.

### XXXVII

Быть может, он для блага мира,  
Иль хоть для славы был рожден;  
Его умолкнувшая лира  
Гремучий, непрерывный звон  
В веках поднять могла. Поэта,  
Быть может, на ступенях света  
Ждала высокая ступень.  
Его страдальческая тень,  
Быть может, унесла с собою  
Святую тайну, и для нас  
Погиб животворящий глас,  
И за могильною чертою  
К ней не домчится гимн времен,  
Благословение племен.

## XXXVIII

А может быть и то: поэт  
 Обыкновенный ждал удел.  
 Прошли бы юности лета:  
 В нем пыл души бы охладел.  
 Во многом он бы изменился,  
 Расстался б с музами, женился,  
 В деревне счастлив и рогат  
 Носил бы стеганный халат;  
 Узнал бы жизнь на самом деле,  
 Подагру б в сорок лет имел,  
 Пил, ел, скучал, толстел, хирел,  
 И наконец в своей постеле  
 Скончался б посреди детей,  
 Плаксивых баб и лекарей.

Но в случае самого Онегина такие мотивировки как будто отсутствуют; тем не менее прием тот же — преодоление клише осуществляется за счет манипуляции ими всеми.

Чудак печальный и опасный,  
 Созданье ада иль небес,  
 Сей ангел, сей надменный бес,  
 Что ж он? Ужели подражанье,  
 Ничтожный призрак, иль еще  
 Москвич в Гарольдовом плаще,  
 Чужих причуд истолкованье,  
 Слов модных полный лексикон?..  
 Уж не пародия ли он?

Все тот же ль он иль усмирился?  
 Иль корчит так же чудака?  
 Скажите, чем он возвратился?  
 Что нам представит он пока?  
 Чем ныне явится? Мельмотом,  
 Космополитом, патриотом,  
 Гарольдом, квакером, ханжой,  
 Иль маской шегольнет иной?..

Бахтин дал статус термина словосочетанию «готовое слово»; безвременно скончавшийся теоретик литературы моего поколения А. В. Михайлов плодотворно разрабатывал этот концепт далее. Для классиков, как Гёте и Пушкин, готовое слово, т. е. риторическая формула, не становясь предметом систематической агрессии, как у Гейне и русских шестидесятников, остается законным инструментом творчества, но смена этих инструментов небывало свободна. Готовое слово у них обоих — объект игровой манипуляции, свободной, однако достаточно серьезной; и серьезность, и игра в некотором смысле невинны. Готовое слово берется в руки, но, так сказать, к рукам не прилипает. Авторское отношение к нему конструктивно, однако дистанцировано, всегда остается право стремительно отходить от одного регистра к другому. Примеров можно найти сколь угодно много — у обоих поэтов.

Риторическая формульность обнажается при сопоставлении черновых и беловых вариантов, например характеристики Лариных-родителей во 2-й главе «Евгения Онегина». У И. Фейнберга мы читаем по этому поводу:

«Теперь о них в романе говорится:

Они хранили в жизни мирной  
 Привычки милой старины.

А... было сказано:

Они привыкли вместе кушать,  
 Соседей вместе навещать,  
 По праздникам обедню слушать,  
 Всю ночь храпеть, а днем зевать...

Другая жизнь, другие люди. Останься они такими в „Онегине”, другим было бы отношение к ним писателя»<sup>10</sup>.

Но разве это вправду так? Люди таковы же, только их характеристика переключается в иную риторическую систему. Благочестивая обедня по праздникам и обильный сон в жизни повседневной, совместная трапеза супругов и совместные же визиты к соседям — это и называется «привычки милой старины». Но в черновике описание разрабатывается по правилам агрессивного квазисатирического злословия (ψόχος, vituperatio), в беловом варианте — по правилам похвального слова (ἐγκώμιον, laudatio).

Знаменитый казус пушкинской игры с различными конвенциональными системами — его тексты, относящиеся к одному и тому же лицу: Анне Петровне Керн. Как все помнят, в контексте высокой лирики она охарактеризована при помощи цитаты из Жуковского: «...как гений чистой красоты» (все же формула введена через «как», то есть прямого и однозначного отождествления нет, есть только фигура сравнения!). В контексте сугубо «мужского» письма к А. Н. Вульффу от 7 мая 1826 года вскользь брошено: «...Вавилонская блудница Анна Петровна»: это не менее конвенциональный словесный жест, чем первая характеристика, — просто другая конвенция, другой «дискурс». В сущности, обе характеристики в поэтике Пушкина нуждаются одна в другой. А к ней самой он обращается в тоне романтически преобразованной риторики, перечисляя, что их сближает: «Conformité de caractère, haine des barrières, organe du vol très prononcé...» Возможно, слова о «ненависти к преградам» и о высококоразвитом «органе полета» — наиболее искренний из трех видов примененного Пушкиным к одной и той же даме дискурса; но это тоже риторика, риторика на подобающем ей месте.

Для этого наслаждения новой свободой в игре с формулами, пока еще сохраняющими свою применимость, характерна важность для поэтики Пушкина обыгрывания различных казусов двуязычия или квазидвуязычия.

Сталкивание лбами двух конвенциональных «языков» создает особенно характерную для «Евгения Онегина» имитацию перевода с языка на язык:

Он мыслит: «Буду ей спаситель.  
Не потерплю, чтоб развратитель  
Огнем и вздохов и похвал  
Младое сердце искушал;  
Чтоб червь презренный, ядовитый  
Точил лилеи стебелек;  
Чтобы двухутренный цветок  
Увял еще полураскрытый».  
*Все это значило, друзья!*<sup>11</sup>  
С приятелем стреляюсь я.

Игра с многоязычием в самом обычном, т. е. лингвистическом, смысле для Пушкина весьма характерна; пропуская неисчислимы игры с французскими словечками, predeterminedенные двуязычием русского дворянства той поры, упомянем игру с классической латынью в эпиграфе ко 2-й главе «Евгения Онегина»: «*O rus!.. Hor. O Русь!*» Здесь имеется хотя бы в зародыше нечто большее, чем франко-русские каламбуры, — острота, сталкивающая не просто языки, а цивилизации, культурные типы, целые «миры».

Не так ли развлекался немецкий поэт в своем «Западно-восточном диване», рифмуя греческое αὐτὸς ἔφα («сам сказал» — пифагорейская формула ученического преклонения перед авторитетом) с именем прародительницы Евы (в котором немецкая буква «фау» читается на манер греческого «фи») или симметрически соотнося отечественный «Katzenjammer» (похмелье), опять-таки вынесенный в рифму, с экзотическим персидским обозначением для той же самой напасти. Но еще важнее техника использования «готового слова», предполагающая одновременно доверие и дистанцию по отношению к нему; ее укорененность на уровне мировоззренческом получает у Гёте такую уникальную артикуляцию, которой у Пушкина не

<sup>10</sup> Фейнберг И. История одной рукописи. Изд. 2-е. М., 1967, стр. 34 — 35.

<sup>11</sup> Курсив мой. — С. А.

не может быть по причине его антипатии к абстракциям, но которая и не «метафизична» в обычном смысле — хотя бы по причине симпатии к обыденному, отрицания несовместимости между языком обыденности и языком метафизики. «Warum tanzen Bübchen mit Mädchen so gern? / Ungleich dem Gleichen bleibt nicht fern» (Почему мальчишки так любят танцевать с девчонками? Где чет, там должно быть и нечету). Вопрос был бы, признаемся, нормален для текста опереточного или шансонеточного; его сочетание с ответом заставляет вспомнить структуру, известную по нашим частушкам, но ведь и по античным дистихам; эмблематика ответа заимствована у пифагорейцев (чет — женское, нечет — мужское); окружающие двуступища создают натурфилософский контекст — а все в целом весьма вызывающе напоминает читателю, что обыденность и есть архетип, архетип есть обыденность. Где острее, чем у Гёте и Пушкина, можно пережить контраст с тем по-своему величавым явлением философии как суммы идеологий, которое при их жизни состоялось в немецком классическом идеализме, но словно дождалось их ухода из жизни, чтобы реализовать все свои утопические потенции?

...Завершается цикл, начатый греческими софистами и риториками, продолженный Цицероном, книжниками Средневековья и гуманистами Возрождения, литераторами барокко и классицизма, выразивший себя напоследок в ломоносовской теории трех штилей. Но, завершаясь для Пушкина, как и для Гёте, он в последний раз еще жив для них и в них. Они на пороге дома, перед ними бесконечная даль, — но дом еще стоит за спиной: равновесие старых возможностей и новой свободы.

---

---

---

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА



## ПОЭТ И ЦАРЬ ДАВИД

**Н**ельзя отказать в благонамеренности желанию, рождающемуся в церковной и околоцерковной среде (особенно на фоне неумолимого «синедриона», избобличающего в поэте кощунника и святотатца), видеть Пушкина в свете его неуклонного пути к «сионским высотам» и под этим углом рассматривать каждый его поэтический шаг: здесь он оступился, там отклонился. Увы, поэт при этом не только вознесен, но и ущемлен.

До того, как я услышала комментарий известного и уважаемого пушкиниста к неизбывному пушкинскому «Воспоминанию» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»), мне казалось оно столь же понятным, сколь и прекрасным. Поэт испытывает жгучую сердечную муку, мысленно оглядывая картины прошлого, воскрешаемые его совестливой памятью. В черновом варианте есть и конкретизация того, что возбуждает у воспоминателя чувство «отвращения» к своей жизни: «Я вижу в праздности, в безумстве и пирах / Свою потопленную младость» (триада, вызывающая прямую реминисценцию из Канона Андрея Критского: «Всю жизнь провел [я] в страстях, беспечности и нерадении...»). Но и без детализации — и даже больше, чем с ней, — муки раскаяния, переданные в «Воспоминании», отзовутся в каждом сердце, которое еще не впало в окамененное нечувствие, а может быть, выведут из него. Пушкин оставил нам по-человечески безукоризненное и лирически-гениальное, заразительное излияние совестливого, раскаянного сознания. Ведь так?!

Но вот нам объясняют, что у элегического «Воспоминания» большой духовный дефект: что это покаяние «в пустоту», «никому»; что поэт, в противоположность псалмопевцу царю Давиду, всегда обращенному к Богу, сам решает, смыть или не смыть ему «печальные строки» из памяти. (И эта безадресность и самоуправство не обошлось-таки без последствий, с ним случилась «духовная катастрофа»: буквально тут же, в следующей стихотворной жалобе, он выступил с кощунственным жестом, отказываясь и от дара жизни как «напрасного и случайно», и от высшего, «совестного служения» поэта.)

Да, у Пушкина в «Воспоминании» нет прямых обращений к Богу, но ведь он не пишет богослужебных песнопений (хотя его стихи «Напрасно я бегу к сионским высотам...» можно было бы включить в число таковых, к украшению церковного чина), однако в той мере, в какой псалмы царя Давида являются не только хвалебными гимнами, но и лирическими lamentациями, они выражают такое же состояние интимной тоски, как и пушкинские стихи.

При всем различии положений и «культурных типов» древнееврейского слагателя культовых текстов и светского поэта, принадлежащего цивилизации Нового времени, сходства между их покаянными настроениями больше, чем различий, и это позволяет отнести обоих к одному «религиозному типу». Псалмопевец, у кото-

---

Гальцева Рената Александровна — философ, публицист. Родилась в Москве, окончила философский факультет Московского университета. В качестве научного редактора участвовала в создании IV и V томов «Философской энциклопедии»; старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Член Нью-Йоркской академии наук. Автор книги «Очерки русской утопической мысли XX века» (1992), исследователь русской религиозной философии и идейных течений нашего времени. Многочисленные статьи, включая работы по русской классике, публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Континент», «Новая Европа», «Грани», а также в научных сборниках. Редактор академического издания «Эон. Альманах старой и новой культуры».

рого есть Кого просить сделать бывшее небывшим и изъять из его поля зрения гнетущие беззакония, так же добровольно, как и Пушкин, остается при созерцании содеянного. Он просит исправить его волю («сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей»), но не опустошить его память («грех мой предо мною есть выну», т. е. всегда). Учители Церкви и подвижники взывают в своих молитвах об избавлении всех нас наряду с «унынием», «неразумием», «нерадением» и от «забвения». Помнить о своем грехе — первый плод покаяния и единственное воздаяние тому, кому уже нельзя воздать иначе: исправив содеянное, восстановив нарушенное, — когда поздно уже исполнить завет Спасителя: пойти помириться с братом своим, ибо он так же невозвратим в план здешнего бытия, как годы растроченной молодости. Остается — жить в сердечном сокрушении.

Поэт так и жил вторую часть своей жизни. Он сам был сознательным «духовным тружеником» («Странник»); он чувствовал себя и блудным сыном, кто расточил добро и теперь стремится наконец в «родимую обитель», «горя раскаянием», «до капли истощив раскаянья фиал». Пронзительность этих мук — в постоянно сопутствующем воспоминаниям неподдельном образе поселившегося в сердце «грызущего» («когтистого») зверя: строки, известные из «Воспоминания», — «змеи сердечной угрызенья», — или из стихотворения 1830 года «Когда порой воспоминанье / Грызет мне сердце в тишине...», или из «Скупого рыцаря»: «совесть — когтистый зверь, скребущий сердце».

Раскаяние — это пребывание наедине со своей совестью, «которой стороже, — по словам преп. Андрея Критского, — нет ничего в мире»; это — главный этап покаяния. Прежде чем «из глубины» воззвать, надо туда заглянуть (если не погрузиться). Спаситель взял грехи мира и продолжает их нести, но надо ли спешить на Него их перекладывать? «Жертва Богу дух сокрушен», — восклицает псалмопевец — и в этом духовном сокрушении подобен нашему поэту; он исторгает из себя такие отчаянные жалобы, что они подчас заглушают хвалу Божественному Создателю. И если не понимать, что это непосредственная жизнь души, то царя Давида следовало бы осудить как впавшую в безнадежное состояние личность. Однако Церковь канонизировала псалмы со всеми их душераздирающими восклицаниями и катастрофами.

Поэт Нового времени — еще больший служитель псухе. Если в псалме, как в песне, песнопенье, конкретный исток переживания полностью ступеньвается и на место обстоятельств, вызвавших к жизни горестный плач царя Давида, встают обстоятельства каждого из нас, то в «индивидуальной» лирике эмпирика чувств не вовсе изгоняется, но, возгоняясь до общезначимого смысла, тем не менее всегда просвечивает сквозь него в своей уникальной конкретности. Лирический поэт как эхо и миру, и своей душе имеет право на мгновенное настроение и должен выразить его суть. Все это вполне относится и к тому творческому эпизоду, который был опрометчиво назван «духовной катастрофой». Пушкин не ожидал, что его жалоба «Дар напрасный, дар случайный...» будет замечена «князем Церкви»; смущенный, он пишет ответ: «Я лил потоки слез нежданных...», который свидетельствует, что поэт знал и признавал правду Филарета. Однако при всей евангельской правоте этому ответу не хватало того непосредственного лирического трепета, который заключен в злосчастном стихотворении. «Дар напрасный...», поставленный в вину поэту как отступление от «Пророка», идет по другому ведомству в поэтическом хозяйстве Пушкина: «Пророк» есть декларация духа, а «Дар...» — фиксация свое нравного момента. И желать, чтобы в лирике «все окончательно встало на свои места», как было сказано в услышанном мной комментарии, значит желать, чтобы поэт перестал быть «совестным служителем». Признавая вечную правду, он в качестве светского лирика обречен вечно «оступаться».

Но продолжим аналогию. Если у Пушкина в разбираемом «Воспоминании» не упоминается имя Божие, то значит ли это, что он пишет свою элегию в Божественном отсутствии? Такое предположение делает бессмысленными ее строки:

И, с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

Не только обильные слезы («слезный дар»), которые сближают лирическое «я» поэта с псалмопевцем и вообще с вечно труждающимися молитвенниками, не только лексика, к примеру вынесенное из церковного обихода слово «бденье», которым автор поначалу предполагал назвать эту свою элегию и в которой оно осталось, характеризуя господствующее тут настроение («часы томительного бденья»), или слово «трепещу», как бы сошедшее со страниц опять же Покаянного канона, создают религиозно-храмовую атмосферу. Главное, сам модус обращения, содержащегося в стихе, подразумевает некий особый адресат. Кому поэт тут «горько жалуется»? «Трепещет» перед кем? Не перед самим же собой и не перед «равнодушной природой». Что приходит на ум? Конечно же слова из Канона: будет «всё трепетать пред величием судилища Твоего». Налицо все признаки присутствия Высшего Судии, а вместе с тем — все признаки того, что на церковном языке называется покаянием (а не только раскаянием). Аналогично Божественным присутствием проникнуты и другие покаянные «воспоминания» у Пушкина — «Воспоминания о Царском Селе» 1829 года, где поэт сравнивает себя с «отроком Библии».

То, что можно уловить нового в раскаянных стихах поэта, не противоречит религиозному настроению псалмопевца, но могло бы внести в него дополнительные обертоны, которые рождены личным самосознанием, утвердившим себя в нашу гуманистическую эпоху. У Пушкина появляется добавочный мотив не вычеркивать печальных строк, связанный уже не с нуждами покаяния как такового, но с заботой о тождестве самому себе. Освободиться так или иначе от своей вины, сделать бывшее как бы не бывшим — значит не только впасть в нечестивое беспamięтство, но и перестать быть самим собой, отказаться от своей личности. Дело в том, что переживание своих падений и проступков уже вошло в состав души как она теперь есть и создало ее неповторимую судьбу.

Разве не то же самое «не смываю» отзывается в историческом (во всех смыслах) и всегда интригующем письме Пушкина П. Я. Чаадаеву, написанном в знаменательный для поэта день 19 октября (1836 года): «Я далеко не восторгаюсь всем, что я вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»? Почему бы в самом деле, зная за нашей историей неблагоприятные предприятия, не пожелать вместо нее другой? А уж тем более переменить отечество, что и реально достижимей?! Несомненно, по тем же самым причинам, по которым невозможно поменять свою личную историю, Пушкин не согласен перестать быть самим собой и на ту частицу себя, которой он принадлежит народу, чья судьба складывалась в этой, а не другой истории. Не хотел он и чтобы народ поменял свое лицо.

Но вряд ли можно представить, чтобы и псалмопевец отказался от истории Израиля, свое участие в которой как царя-военачальника он оплакивал впоследствии в качестве поэта-пророка («Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего...»). Да и в человечестве, несмотря на все ее ужасы, эта история признана Священной. Не потому ли, что она вошла в фундамент последующей цивилизации?



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО ХОДУ ТЕКСТА

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ

\*

## НАШИ ЭКЗОРЦИСТЫ

Господи, покрый мя от человек некоторых...

*Из молитв на сон грядущим.*

**И**ачать придется с основательно затертой цитаты — слов Пушкина из его письма П. А. Вяземскому (ноябрь 1825-го, Михайловское):

«Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением... Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе».

Напоминаю это широко известное суждение не затем, чтобы в дальнейшем способней было затыкать рот глашатаям «толпы», а потому лишь, что за краткий недавний срок им дважды успели воспользоваться для дурного дела. Дело же состоит в том, что двум лицам, без которых немыслима история, культура и самая жизнь России, была приписана одержимость злым духом, после чего был преподобнейшим образом сымитирован акт экзорцизма — изгнания беса, правда не из подвергшихся аутопсии и все-таки неприступных персон, а из сознания российской публики, которая в слепоте своей до сих пор пыталась оставаться «заодно с гением».

Первое из означенных лиц — Александр Исаевич Солженицын (Олег Давыдов. Демон Солженицына. Житейские узлы, выпирающие из ткани жития великого литератора. — «Фигуры и лица». Приложение к «НГ», 1998, № 9, май). Пушкинская фраза, приведенная во врезке к этому тексту, служит безопасным способом заявить для начала, что А. И., как ни верти, «и мал и мерзок» (а «иначе» ли — не так важно), с тем чтобы потом размазать это на двух газетных полотнищах, снабженных фотографиями с прикровенно глумливыми подписями.

Но Солженицын может гордиться компанией. Потому что вторая мишень демонаборцев — Александр Сергеевич, герой сочинения Анатолия Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина», вышедшего в 1998 году в загадочном издательстве «Поматур» тиражом 15 000 экз., объемом 350 стр., на недурной бумаге, без указания редактора и техреда, без издательской аннотации и справки об авторе, зато с обозначением оформителя (который как мог приспособил пушкинские автопортреты к целям разоблачительной акции): С. Мельцов — вероятно, «Смельцов», самоаттестация все того же Мадорского. Труд этот лежит — или лежал — на весьма почтенных прилавках, в том числе в Российском фонде культуры. Впрочем, он уже успел получить недоуменно-брезгливую прессу, например, А. Архангельский в «Известиях» (1999, 5 февраля) резюмировал: «Противная книжка». Уж куда противнее, но я пишу о ней потому, что книжка мне кажется скорее знаменательной, чем анекдотической.

Так вот, Мадорский тоже не оставляет без внимания пушкинские слова об утраченных записках Байрона. Они пригодились как улика того, что Пушкин всю

жизнь «лгал», «хитрил» и «марал своих врагов» (как же, сам признается, хоть и не впрямую!). А что до знаменитого «иначе», Мадорский вычитывает покойному поэту одну из своих рацей: грехи, пороки и мерзости у больших и маленьких людей пахнут одинаково дурно и одинаково преступны перед лицом Божиим. В последнем я бы даже — в виде исключения — с Мадорским согласилась, если бы Пушкин в том же письме невольно не пояснил, что значит это «иначе»: «Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать — *braver* — суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно». Реализуемый творческий дар диктует такую степень саморефлексии, такую мучительную потребность в самоочищении, какими вряд ли сопровождаются грехи и «мерзости» теплохладных посредственных душ. Без этих невидимых миру слез возможность творчества не могла бы перейти в действительность и талант оказался бы зарыт в землю...

Но не дай мне Бог в этих заметках соскользнуть на путь защиты Пушкина. (И Солженицына.) Такая задача смешна. Меня интересует другой полюс, представленный в первую очередь Мадорским, как беспримесным, бескорыстным и иррациональным явлением тьмы, и лишь во вторую — Олегом Давыдовым, — как пером с более рациональной мотивацией, побуждаемым хотя бы отчасти извне.

Здесь уж в роли экзорциста придется выступить мне самой. Рада бы уклониться, но уговорить своих друзей-пушкинистов «войти» в книжку Мадорского мне не удалось: им мешал физиологический рефлекс отторжения.

Ну и что мне будет за это от «заинтересованного лица» — не к ночи будь помянуто?

### 1. «Приговорное слово»

Все-таки вышеприведенное мнение Пушкина не в меру простодушно — во всяком случае, для нашего времени. Быть может, в его век чернь, повернувшись христианским просвещением, способна была объявлять себя не менее (хотя и не более) ничтожной и мерзкой, чем поносимый ею великий человек. (Вспомним — в «Поэте и толпе»: «Мы малодушны, мы коварны, / Бесстыдны, злы, неблагодарны... / Гнездятся клубом в нас пороки...») На примере «Сатанинских зигзагов» убеждаешься, что нынешний носитель низменного сознания далеко не так самокритичен. Скорее возникает диспозиция, известная по евангельской притче:

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь... Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот...» (Лк. 18: 10 — 14).

Мадорский — разумеется, фарисей, в безупречно-законченном виде, фарисей, из которого так и пышет чувство морального превосходства над мытарем Пушкиным («Бедный, жалкий Александр Сергеевич!» — это цитата, будут и другие.) Но фарисей из притчи — лицо наивное, так сказать, до-новозаветное, его самодовольство не подверглось коррозии. Фарисей наших дней, дней двухтысячелетнего христианства, в глубине души помнит, кто пошел в дом свой «более оправданным». И торчащий перед его глазами мытарь становится для него не только постаментом для самопревозношения, но и объектом тайной зависти и лютой ненависти.

Книга Мадорского удивительна и достопримечательна яркой, почти нечеловеческой ненавистью к Пушкину — как если бы перед сочинителем стоял живой, во плоти, противник, «лучший враг».

«Карты и сомнительные личности, беспорядочность половой жизни и многократные венерические болезни, нескончаемые попойки и хулиганские выходы, к сожалению, были образом существования не только в ранней юности, легкомысленной молодости, но и в зрелом возрасте».

«Александр Сергеевич на деле испытывал не восторг, а отвращение к Божьим тварям человеческого облика...»; «То и дело брался во что бы то ни стало пересатанить сатану поэт».

Каждое злодеяние подробно расписывается в соответствующей главе — общим числом десять, видно, по числу заповедей Божиих:

— одержимость: бесы так и роились вокруг «бедного Пушкина», «знали и предвкушали очередное падение души» (глава «Мне скучно, бес»);

— корыстолюбие, отягощенное феноменальной расточительностью: за карточным столом «под бесовский шепот неблагопристойным способом он хотел обрести благопристойную независимость»; «ускользающая из рук свистопляска золотых монет долбила нервы и мозг»; «намерения Александра Сергеевича... смахивающие на выдумки Остапа Бендера»; «продавая свои сочинения», Пушкин «оказывался торгашом, да еще каким». И вообще сгубила его безответная страсть к «деньжати-не»: «При чем тут Дантес?! Дантес — это так...» (глава «Деньги или удавиться»);

— предательство (по отношению к друзьям, которые и сами были не лучше — одна шайка-лейка): «Что может быть в дружбе противнее, чем расчетливое двуличие? ...он и толкал их сам в двуличие», жил по принципу: «Ты — мне, я — тебе» (глава «Уж эти мне друзья»);

— клевета и доносы на приличных людей, например на Булгарина (глава «Рэкетир Фаддей»);

— холуйство и искательство в сочетании с «сатанинским тщеславием»: предложил Николаю I «дружескую сделку» и за это вымогал у него привилегии и чины; «превратил податливого на содействие поэту шефа жандармов (экая досадная слабость. — *И. Р.*) в подобие менеджера по изданию „Истории Пугачевского бунта“»; «тянулся... к внешней хотя бы близости с венценосным родом»; «...поэт упивался литературным вкусом и языковым чутьем самодержца» (это по поводу рекомендации царя заменить «урюльник» на «будильник» в «Графе Нулине»); «на словах краснел, а на деле расчетливо напрягал самодержца своими заботами», «как будто царь был ему рядовым дружкой» (глава «Друг самодержавия, друг царя»);

— ярое крепостничество и помещичье рукоприкладство: «на зуботычины и подзатыльники не скупился поэтический барин» — «по рождению своему барскому»; «дурью сострадания к хамам не мучился»; «позарился охотно на даровой принудительный труд крестьянина» — «вон какая расчетливость спекулянта у поэтического гения взыграла»; кичась «своим дворянским стажем по батюшкиной линии», «доход подбивал от живых душ человеческих» (глава «Хамово племия»);

— нелюбовь и презрение к отечеству, к обеим его столицам, низкопоклонство перед Европой; циничная непочтительность к родителям. Отношение к отечеству «ставит... в прямую зависимость от хилости или дородности собственного кошелька»; «желчь поэта пузырится на „проклятую Русь“»; «звон как его с души воротит от древней столицы»; «грязью поливает родимый кров»; злословит в гостиных об отце, не желает «больную мать приголубить», садистски обходится с братом и бездушно — с сестрой. В общем, «в бесовском угаре» «возникло презрение и ко всей России» (глава «Проклятая Русь»);

— страсть к сплетням, неудержимое сквернословие и патологическое пристрастие к «анальным» мотивам (уточним, что здесь Мадорский покушается на роль не психоаналитика, а опять-таки моралиста): «несло его, как при расстройстве желудка», «пропускает жизненные впечатления и художественные образы через желудочно-кишечный тракт и далее, то есть, простите, через задний проход»; изъясняется по-матерну даже в «Борисе Годунове», так что «в первозданном виде... великое творение... даже не всякому мужчине можно показывать»; «наслаждается чужими семейными неурядицами». Диагноз: «Такая скверна слов лишь выражает скверну души». И вердикт: «...сквернословие житейское и тем более поэтическое всегда почиталось за грех русским православием» (умилительно это «тем более», вводящее в «русское православие» доселе неизвестный догмат или канон, — глава же называется соответственно содержанию: «Словесный понос»);

— богохульство (ну, это само собой). Тут нас кратко знакомят с «Гавриилиадой» из опасения, что хульное сочинение подзабыто снисходительными клириками и мирянами; предостерегают, чтобы мы не слишком оболыщались переменами в душевном составе зрелого Пушкина: «И в бурное прелюбодеяние, и в заносчивую гордынную, и в сатанинскую гневливость впадал Пушкин даже в последние дни и месяцы своего земного пути». Будучи все-таки «православным христиани-

ном», на смертном одре покаялся, но и это не надо слишком принимать на веру — царь надоумил, Жуковский приукрасил и проч. (глава «Покаяние богохульника»).

Ох, выписывать — не рука, душа устала. Прочитавший эту книгу до конца будет отравлен и унижен, независимо от любой степени несогласия с ее автором. Свой эффект произведет и опискинско- (на эту компоненту Архангельский уже указал) смердяковский (второго — поболее), елейно-лакейский, поистине «подлый» слог с лексической примесью «зоны»: «...норовил затащить», «скрытно ухлестывал», «прелестное творение», «распинался», «зачем трепаться», «всучил ей адрес», «лепестки счастья», «хорохорился», «сложился стишок прелестный», «без передышки в харю тычет», «исправно раструбил на всю Россию... и сразу — на попятную», «опять долбит из Одессы» — это все Пушкин, к Пушкину, о Пушкине. (Особенно дороги автору глаголы «охмурять» и «поливать», последний бессчетен.) Словесная агрессия перемежается вводным «простите», без чего не обошлась почти ни одна гадость: дескать, рад бы вас пощадить, «кисейные лирики», «стоеросовые идеологи», «поэтические чистоплюи», «радители изящного» (так Мадорский жалуется «штатную» (?) пушкинистику), но правда-матка дороже. — Простить нельзя. Хотя некоторый прилив жалости вызывает обращение Мадорского с русским языком, тем самым, за осквернение которого он бранит свою жертву:

«Зигзаг фактов повергал в зигзаг души»; «Зигзаги нутра чертили зигзаги поведения».

«Многokrатно проштампованные обвинения против родителей литературно-художественного гения имели и продолжают иметь искаженную природу вещей во имя превращения несносной натуры Пушкина в некое ангелоподобное существо».

«Патология в этом зубоскальстве тарачится сквернословно».

Скучно, бес.

Мне скажут: все ясно, из-за чего вы столько разоряетесь, — и посмеются над дотошностью моих тошнотворных реестров. Но серный душок обрывает смешок. В том-то и дело, что ясно далеко не все. В том-то и дело, что метод, цель и глубинный позы в этого сочинения могут оказаться не столько смешны, сколько поучительны.

Метод. Автор претендует на абсолютную незашоренность и полноту «фактов», на простодушную смелость андерсеновского мальчика, которая рассеет двухвековое ханжество:

«Я открою Вам совершенно нового Пушкина. Я сделаю это очень просто: честно предъявляю то старое, от которого Вы малодушно отворачивались.

...наберитесь смелости и поверьте самим себе, то есть мне. Ибо я — это Вы».

«В этой книжке я показываю того Пушкина, что у всех перед глазами, да никто видеть не хочет, все боятся самим себе поверить».

На «Вы» с прописной Мадорский обращается к то и дело поминаемому Любознательному Читателю (тоже две прописных литеры), хотя как раз за «любознательной» категорией хочется предположить знакомство с перепиской Пушкина, воспоминаниями о нем, трудом Вересаева «Пушкин в жизни», даже с «нескромными» стихами — то есть со всем тем, чем Мадорский надеется ошеломить нашу любознательность и откуда он черпает, как говорят юристы, лавину доказательств. Зато читатель недостаточно любознательный, искушенный или памятливым действительно может прийти в смятение (напомню: тираж — 15 000, наш, новомирский, тираж).

Конечно, при внимательном чтении раз за разом обнаруживается, что Мадорский не только косноязычен, но и достаточно невежествен<sup>1</sup>. Но надо отдать ему справедливость, рылся он в пушкинском досье с лубянской основательностью, не

<sup>1</sup> Вот примеры многосторонней несведущести. Автор приводит (разумеется, не без осуждения) шутку Пушкина по поводу цензора Семенова, сидевшего на обеде у Смирдина между Булгаринным и Гречем: «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе», — и комментирует: «Пушкину показалось, что злодеи как бы распяли того». Не ухватывает, что здесь

жалая времени и пролитого пота. (Ради пустого эпатажа, мгновенного швыряния кого-то за борт корабля современности столько усилий не тратят.) И хоть не будучи специалистом, с большой долей уверенности могу засвидетельствовать: среди подобранных Мадорским «фактов» выдумок нет. Читая Мадорского, отчетливо, и не без некоторого для себя онтологического открытия, понимаешь, что клевета — вовсе не обязательно выдумка; более того, что выдумка — это клевета «слишком человеческая» («клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется»), а вот разделанная под орех «правда» — клевета дьявольская, потому что тот, кто является Клеветником по определению, не на прямую же ложь рассчитывает в своей пре с Создателем — сверху видно все, — а именно на «интерпретацию».

Методику «правдивой клеветы» лучше всего показать на каком-нибудь пустяковом примере, не требующем для проверки специальных справок. Скажем, на основании мемуаров сообщается, что Пушкин, как известно, «подаривший» Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», впоследствии со смехом говаривал: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». «Хорош подарок, коли даритель вслед обвиняет в разбое! Хороша щедрость гения...» — находчиво комментирует Мадорский эту любовно-восхищенную реплику Пушкина. Прошу поверить мне на слово: нет ни одного поступка, оговорки, шутки, шалости, слабости, наконец, которые не были бы выдернуты из пушкинского, человеческого, психологически прозрачного контекста и не пересажены в контекст пыточный. Даже исполненное ужасного смущения письмо Пушкина к Вяземскому по поводу беременности Ольги Калашникова трактуется как цинично-бессовестное, даже в дружбе ему приписывается двуличие, потому что в порыве нежности он называл лучшим своим другом то одного, то другого милого его сердцу адресата... Людям с ближней исторической памятью вспомнится фабрикация «шпионских» дел Заболоцкого или Мейерхольда, люди же, настроенные несколько мистически, почуют, как за спиной у них вырастает кто-то темный и дает их провинностям новые, страшные имена. Ведь не только у Пушкина найдутся свои скелеты в комод. Чур, чур меня!..

Цель. Тут может легко сбить с толку идеологическая составляющая предпринятой Мадорским акции. Не под диктовку ли некоторого, условно говоря, паранацистского синдрома все это писалось?

— Расизм. Пушкин то и дело обзывается белым негром, «ловеласом породы негритяно-русской», смакуется его строка «потомок негров безобразный» и чей-то стишок, где он назван «обезьяной». Темнокожий предок поэта дает свои поводы к обращению и поношению:

«...мистический образ огромного африканского негра, который посреди снежных просторов России почти триста лет назад владел и повелевал не одной тыщонкой белых рабов... Негр в России властвовал, будто над рабами, над русскими мужиками и бабами».

знаменитая пара сравнивается не с распинателями, а с двумя *разбойниками*, распятыми одесную и ошую центрального Креста. А как любит ссылаться на Писание!

Абсолютно глухой к стихотворной речи, он тшится, но оказывается не способен подставить вместо цензурных прочерков нужное слово в непристойную эпиграмму и кишиневский набросок Пушкина, не нарушая рифмы или ритмики, а ведь чего проще (стр. 132 и 135, обойдемся без цитирования). Строки из ученического, но версификационно безупречного лицейского стихотворения: «И мощная рука к нему с дарами мира / Не простирается из-за пределов мира...», — кажутся «нештатному» пушкинисту «не очень-то складными словами», потому что блестящая омонимическая рифма (родительный падеж от «муро» — сакральное благовоение и мир — вселенная) ему не внятна.

Указывая на известное латинское изречение «ubi bene ibi patria» (где хорошо, там и отечество) в письме Пушкина брату Льву, он сообщает: «...эта цитатная заповедь изложена... по-французски» («латинскими буквами» — впрочем, добавлено тут же).

Цитирует письмо П. С. Санковскому: «Пожалейте меня за то, что мне никогда не удается поступать так, как мне следовало бы или хотелось бы», — и злорадно откликается: «Жалею Вас, несносный Пушкин... Никогда — приговорное слово, сродни пожизненному заключению в тюрьме». Не понимает ведь, что Пушкин говорит то, чего не может не сказать о себе любой самосознающий человек и что говорил апостол Павел: «...желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7: 18 — 19). Это уже невежество духовное.

(Притом автор не забывает напомнить о своей принадлежности к потомкам Иафета.) Вообще, интерес к пятой графе у Мадорского повышенный: то мелькнет бывалый пройдоха армянин, «курчавый, носатый и толстопузый персонаж персидской миниатюры», то помянется «украинец Яновский» (Гоголь) или «природно русский», но обзаведшийся странным псевдонимом Андрей Синявский. Впрочем, сам Пушкин уличен в «национальном чванстве».

— «Царизм». Не стану употреблять слово «монархизм», оно слишком доброкачественно, а тут паточное подобострастие, приводящее на ум пушкинские стихи: «Сам государь такого доброхотства / Не захотел улыбкой наградить». Кстати, умильное тяготение к самодержцу (даже со скидкой на его «любовные шалости» — вот где двойной стандарт!) сочетается с лютой злобой на дворян, открыто «классовой». «Народная монархия» И. Солоневича тут, что ли, маячит? — но опять-таки не хочется припутывать к делу Мадорского серьезного мыслителя.

— Антиевропеизм. Мальчиком для битвы выбран, конечно, Чаадаев: «опальный умник... навроде глупца горячечного», «ополоумевший мудрец» и проч. Но достается и полякам, дерзнувшим «отколоться от России», а пуще всего — самому Александру Сергеевичу, непатриотично мечтавшему пересечь российскую границу («невъездной» — что за беда, чай, не в каземате) и имевшему неосторожность однажды похвалить русское правительство за его европейскую физиономию. Даже единственное благое деяние поэта — стихотворение «Клеветникам России» — не позволяет забыть о взгляде его, преступно скошенном в сторону Запада. И вот финал:

«Новый родственник из столь мидой его сердцу Европы не дал промаха».

Ну, не родственник, а свойственник — Дантес. Не в том, однако, дело. Фраза эта полна столь животрепещущего, триумфального злорадства, что прохладно-отвлеченную версию насчет главенства владевших автором идеологических задач приходится отбросить.

На протяжении всей книжки «биограф» буквально ждет не дождется дня, когда прозвучит наконец меткий выстрел, отсчитывает время назад, торопит его: «почти ровно (! — И. Р.) за восемь лет до гибельной дуэли», «всего за два с половиной года до гибели»; «если б он наконец унялся!», «успокойтесь, гений».

Как не вспомнить: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше». А еще лучше, когда бы такого исторического персонажа, как Пушкин, вообще не было, — друзьям, холопам, родителям, согражданам, обманутым потомкам чинил он вред и вред.

С неизбежностью выплывающая реплика пушкинского Сальери наводит на мысль о зависти. Мадорский завидует, «глубоко, мучительно завидует». Но чему же может завидовать он, «несносный» и «несчастный», худо владеющий родным языком безвестный журналист, к о м у он завидует? Сальери из «маленькой трагедии» завидовал д а р у, ибо как профессионал мог вполне оценить его огромность. Булгаковский Рюхин завидует с л а в е, случайно доставшейся собрату по перу, — дистанцию между собой и поэтом, удачно попавшим под пулю «белогвардейца», он уже оценить не способен. А наш ниспровергатель завидует л ю б в и. Обделенная душа, как ни корчится, не может понять: за что этого двурушника-протеза любили друзья, за что этого распутника и обманщика любила вереница несхожих между собой женщин — не только же за «вязкие слова» и «бешенство желаний», — за что его, барина-обдираду, любили холопы (сам же цитирует рассказ Пушкина о том, как горячо его встретила дворня и как ему дорого это изъятие чувств), за что его давно полюбил наш народ — наивной и даже фамильярной любовью. И отважно — действительно отважно — он бросается на бой с необъяснимым заблуждением.

«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!» — сказал Тютчев. Грандиозная (без кавычек) цель Мадорского: *заставить Россию разлюбить Пушкина*. И, насколько это осуществимо, он с этим справился п р е в о с х о д н о, используя все уловки и подначки из арсенала отца лжи. Разрешите отнестись к этому без смеха.

М о т и в. По признанию, вырвавшемуся у автора ближе к концу, можно догадаться, что мотив глубоко личный — но и поддержанный определенной нравственной философией:

«Перед величием Господа-Вседержителя весь наш род человеческий так бледнеет, что любая гениальность любого раба Божьего существует лишь вздорной пылинкой, которая не в силах никого возвысить, которую и сдувать не надо, *чтобы равенство восстановить* (курсив мой. — И. Р.), ибо с ней или без нее каждый из нас равномал под грозным и всемилостивым взором Того, Кто совсем иного от нас требует замыслом Творца.

Глупо кичиться чрезмерно стихами... Ведь это всего лишь игра.

...По мне, так все великие художественные прозрения гениального Пушкина есть ничто по сравнению с деяниями некоего безвестного для публики отца, который успешно вырастил и воспитал в одиночку больного от рождения сына. Такому человеку некогда сквернословить сплетней, матерщиной или блудить двуличием».

Невозможно не предположить, что «безвестный для публики отец» — сам автор и он желал бы *равенство восстановить* (в отличие от Сальери не укоряя Небо, а призывая во свидетели) между Пушкиным и собой лично.

Но даже если это не так, важно другое. Важна и современна упрямая диффамация творчества, вдохновения, Красоты и всего того утончения и гуманизации душевной сферы, которые связаны с обращением к искусству. Никакими выписками не передать сарказма, с каким Мадорский цедит сквозь зубы презренное слово «гений»: «Как много фальши в малом количестве слов Геня»; «не парил в небесах наш гений, умел сутяжничать рьяно»; «...сатанински выворачивает наш гений...»; «гений пренебрег своим человеческим долгом»; «иезуитский цинизм русского гения»; «...ярило сквернословие гения» (не отдает ли это, спрошу у «православного» автора, хулой на Духа Святого, гениальность-то — она откуда?). Открывают книгу не менее издевательские — как их понять иначе — слова: «Лире (? — И. Р.) благодарно посвящает автор».

По-своему Мадорский прав:

«Не обязан же каждый человек любить и ценить поэтический гений. Многие вообще стихов не читают. Полагаю — таких подавляющее большинство... я абсолютно уверен, что и сегодня, и всегда сверх школьной программы читают и читали гения очень немногие нормальные люди».

Ну, положим, еще не так давно читали. А если не читали, то, опутанные пред-рассудками литературоцентризма, читали — подчинялись репрессивному вердикту тоталитариев-знатоков. Теперь, когда под эту фортецию с двух сторон произвели подкоп шутники деконструкционисты и истинно православные сокрушители кумиров («Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — благословясь, заводит речь Мадорский), а сверху ее вот-вот прихлопнет новый, безлитературный проект школьной программы, с литературоцентризмом, а вернее, с «музоцентризмом» будет покончено. Муза, послушная велению Божию, скроется из глаз. Кому застит глаза она, а кому и само веление.

Вообще говоря, творение Мадорского можно прочесть и под иным углом зрения — как образцовый российско-постмодернистский текст. Как приговский дивертисмент. Уж не пародия ли он?

## 2. «Автономный комплекс»

На Олега Давыдова у меня уже не хватает сил. Отмечу лишь точки схождения, до полной идентичности, двух воителей. (Не удивлюсь, если и Мадорскому вскорости дадут какую-нибудь «анти»-премию, он даже смелей и трудолюбивей собрата.)

Там, где у Мадорского поведением «гения» руководит сам сатана, у Давыдова (который позитивнее, психиатричнее, так сказать) «классиком» (произносится с той же интонацией, что и «гений» в первом случае) владеет «автономный комплекс» под названием Нахрап.

Точно так же, исподволь, тихой сапой, внушается, что ведóмый своим демоном «классик» — как и любимые герои его прозы — оказывается предателем и чуть ли не доносчиком (Пушкина в такой роли мы уже видели, чего смущаться).

Точно так же эта «одержимость» выводится генетически, как врожденный порок. Только если Мадорский нападает на расовую ущербность (хотя и не чужд ар-

гументам от социального происхождения), то Давыдов, руководствуясь рекомендацией поэта революции, переводит расовый гнев на классовый и рисует озлобленную раскулаченную семейку, лишившуюся поместья и «роллс-ройса». Кто еще мог вырасти в такой семье, как не провокатор, подбивающий к безумствам нормальных людей, которые, кабы не он, сидели бы тихо и не высывались. (От силлогизмов Давыдова так и несет логикой карательной психиатрии, но и о Мадорском не забудем, предложившем подвергнуть знаменитое письмо Пушкина Чадаеву психиатрической экспертизе.)

Точно так же окружавшие Солженицына люди изображаются жертвами его «демона», много потерпевшими от любого соприкосновения с ним, как жертвами Пушкина выставлены его родители, друзья, брат, его дочурка, которую он якобы нещадно сек, чтобы не мешала писать стихи, и даже сама Россия.

Точно так же, как Мадорскому-завистнику не дает покоя «успех» Пушкина в поколениях и он приписывает славу поэта нравственной аберрации, Давыдов списывает успех Солженицына на расчетливую тактику «демона» и умело использованные «случайности». В ситуации, когда «многие вообще не читают» и не руководствуются эстетическими впечатлениями, такое легко сходит с рук.

Точно так же, как Мадорский обосновывает благодетельность «тайного надзора» над зловредным гением (со стороны ли «всесильного Бенкендорфа», папеньки Сергея Львовича или царя, читавшего частные письма поэта), Давыдов не забывает отметить великодушие следователя, который, будто бы основываясь на солженицынских показаниях, мог посадить гораздо больше народу, а вот не посадил. В целом у Давыдова весьма отчетливо получается, что в репрессиях виноваты не столько власти, сколько провоцирующие их на это диссиденты. Возмутителей спокойствия оба автора не жалуют и, насколько позволяет приличие, тяготеют к тайной полиции.

Точно так же, как Мадорский колет Пушкину глаза его «европеизмом», Давыдов, уведомляя, что Солженицын в известный момент *окончательно сделал ставку на Запад*, находит в этом одно из главных разрушительных деяний Нахрапа. Под конец «идеальной проекцией» Нахрапа объявляется дворник Спиридон из «Круга первого», призывающий на голову Усатого, а заодно и всех остальных атомную бомбу. «Это, пожалуй, самое прямое обращение солженицынского Нахрапа к Западу: „Рушь!“» (слово в слово повторено ударное место из фальшивок советских органов, но кого это сейчас волнует). Короче, один «гений» проклинает Русь, другой «классик» призывает ее «рушить», — за патриотизмом, господа, обращайтесь по другим адресам!

Точно так же, как Мадорский превращает всякое непринужденное или неосторожное пушкинское слово в улику, Давыдов обращивает каждое слово Солженицына. В результате буквально на пустом месте наскребается мнимосолженицынская «скандальная антропология»: «...хороший, с точки зрения автора, человек устроен так, что в нем есть существо, которое по природе своей предатель». Я уже писала, что это метод лубянских допросов...

Наконец, находим у Давыдова тот же подлый слог, лексикон шпанистой тусовки (правда, прослоенный не елейными, а наукообразными пассажами): «ловко излагает», «ходит жалуется знакомым» (у Мадорского Пушкин — «хнычет»), «упустил время для раскрутки», «хотел получать... положенные совпису блага», «не залупайся».

Почему я называю оба эти сочинения типично современными? Ведь всегда, а не только в век тотальной информации люди значительные были «прозрачнее», беззащитнее перед молвой, чем остальные прочие. Когда еще сказаны слова о репутации жены Цезаря!

Но дело в том, что лица, оказавшиеся «под колпаком» у Мадорского и Давыдова, — писатели. Вся жизнь они (как, скажем, и Достоевский) боролись за читателя: Пушкин — жертвывая сословными привычками ради осваиваемой им позиции профессионального литератора, Солженицын — рискуя жизнью и свободой. Их и нынче активно «потребляют» — однако в огромной мере не по каналам чтения, которое одно могло бы стать дружественной защитой и осмысленным контак-

том с их миром, — а иным способом. Читателя плавно сменяет зритель официозных церемоний, юбилейных молебствий, театральных шоу, телевизионных затей — и все это вокруг славных имен, украшающих переплеты непрочитанных или уж точно неперечитанных книг. Имя все больше отрывается от своего означаемого, то есть от корпуса сочинений, и становится этикеткой на кадавре, которого можно загримировать по-разному. На демонический грим, естественно, спрос выше, потому что от серафического все уже подустали. Именно в этот нынешний зазор между «попсовым» громыханием осевых имен и растущей неосведомленностью насчет того, что за ними стоит, и просовываются сочинители скандальных биографий, каковы бы ни были их намерения. Они безнаказанны, так как трещит по швам линия читательской обороны.

Пусть лжебиографы виноваты. Но никто в отдельности не виноват в том, что происходит эпохальная смена культурных ориентиров, вымывание пластов душевности, питаемых прежним искусством. Пушкин уже не наше все, потому что исприлось (или еще нет?) побуждение читать его «для себя». Скоро его строки будут волновать, не считая остаточного «пиита» из «Памятника», лишь экзотическое племя славистов, угнездившееся на разных континентах; имя же — по-прежнему красоваться на премиальных конвертах, журнальных обложках и конфетных обертках, усеивающих народную тропу.

Но простая благодарность за жизнь, прожитую именно с этими *текстами*, заставляет грести против течения. И не спускать ни Анатолию Мадорскому, ни Олегу Давыдову.



---

---

# Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

## У КОГО СУП ЖИДКИЙ, У КОГО ЖЕМЧУГ МЕЛКИЙ, ИЛИ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ РОМАН

Вячеслав Репин. Звездная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман. М., «Тerra», 1998, 656 стр.

Вечер. По всему югу разгулялся мистраль.  
Вокруг черным-черно. Все гудит, бушует. Кто-то  
ломится к нам с того света...

*Из романа.*

**Н**ачать хочется с того, чем нормальные люди заканчивают, — с резюме, с главного акцента: возможно, перед нами сочинение из ряда самых интересных, а то и самых значительных за последние годы. Как и полагается действительно хорошей книге — тем паче русской хорошей книге, — к формальному совершенству этот роман имеет мало отношения. Зато смыслы торчат из него в разные стороны, как из мандельштамовского камня, часто заданные не столько содержанием текста, сколько самим фактом его появления, — так что вряд ли все здесь контролировалось автором. Стало быть, книга оторвалась и живет. Чего еще и пожелать романисту! Написанная в жанре, в тоне, из угла, предполагающего существование истины и чуждость каким-либо парадоксам, книга парадоксальна насквозь. Уже тем, что в романе о современности заметна тенденция игнорировать приемы, методы, стили мышления, характерные для литературы двадцатого века (разве Набокова — но именно Набокова, перехватывающего классическую линию, — напоминают отдельные описания, как ни стремится автор в отведенном для этого месте прямым текстом резко от В. В. отмежеваться). Тем, что роман с русской темой, почти демонстративно врастающий в «большую» русскую классику — куда глубже, серьезней, чем бывает в нынешних стилизациях, римейках или у литераторов «патриотически-почвеннического» крыла, — создан не в России. Это было бы не так уж и показательно, если бы не отчетливое чувство, преследующее с первых прочитанных страниц: как раз в России сегодня производить такого рода тексты некому, негде, а главное — нечем.

Все, собственно, опять сошлось к вопросу: чем хорошая проза отличается от прочей? К какому такому, извиняюсь за выражение, источнику следует припасть, чтобы «покатило», чтобы составленные рядком слова вдруг обрели большее качество, суггестивную силу и зазвучала протянутая от начала к концу пусть не целой книги, но хотя бы главы или последовательности фраз напряженная струна? Варианты ответа: «богатство родного языка», «хорошо придуманный, конструирующий текст сюжет», «ирония», «идеи», «правда жизни», «культурный контекст»... Каждый из них, в принципе, верен, к тому же они прекрасно комбинируются друг с другом. По одним продвинута дальше, по другим сокращена почти до нуля, но в целом именно в таких координатах и крутится российская «перестроечная» и постперестроечная проза. И может быть, главное достоинство романа В. Репина — что он извне, из «вчуже» (действие во Франции, герои — европейцы), но на русском языке и с ненавязчивым, однако постоянным присутствием России и «русскости» на заднем плане излагаемых событий и мыслей протагониста неожиданно возвращает нас к прочно забытым и практически вычеркнутым из нынешних российских литературных представлений материям. К тому, что еще до всяких координат, в точке их начала, в точке отсчета может (чтобы не сказать: должно) состояться трудноописуемое точными терминами, в сущности — таинственное совпадение ритма дыхания, ритма речи писателя с каким-то очень важным ритмом действительности.

На громадном пространстве романа хватает и откровенных ошибок, и явно слабых мест — и о них разговор впереди. И вместе с тем, прочитав десять страниц, с недоумением и даже некоторым восхищением понимаешь, что автором найдена тональность, способная сама по себе быть тканью повествования и держать практически любой объем. И ничего вроде бы необычного нет в его манере составлять и соединять довольно простые, сбалансированные фразы (Репин не любит ни коротких, хлестких, ни слишком развернутых, со сложными подчинениями, и тщательно избегает «разговорной» стилистики вне диалогов). Напротив, веет здесь чем-то от русской прозы совершенно неотъемлемым, свойственным ей по природе. Сразу выстраивается какая-нибудь последовательность больших имен, где непременно будет Толстой, а Достоевского точно не будет. Но именно это ощущение и задает весьма неожиданную перспективу.

Существовала, во вполне доисторические для нас времена, могучая русская литературная традиция, наследовавшая, в отличие от «демократического» направления тех лет, «аристократической» литературе пушкинского века. Знаменем ее — Толстой, вышедший в рамках данной традиции на эпические масштабы. Мы знаем ее, изучаем и любим больше себя самих. (Вот мрачноватая английская шутка из фильма. Пациент приходит к онкологу: доктор, я все собираюсь прочитать «Войну и мир», скажите, стоит ли начинать... Вместе с тем образ российского интеллигента, узнавшего себе приговор и оставшийся срок и берущегося напоследок именно за «Войну и мир», не представляется художественной натяжкой.) Любим, значит. И притом ставим на ней жирнющий крест. Трудно предсказывать о поколении, формиравшемся уже в постсоветские годы. Но из тех мало-мальски чутких сочинителей, кто «перекипел в котле» российской автаркии двадцатого века, вряд ли найдется хоть один, верящий всерьез, что есть куда вернуться. Что можно взять и начать писать так, будто Платонова, Шаламова, Вен. Ерофеева вообще не было. А точнее, что еще сохранилось что-нибудь, о чем можно так писать. Текстов-то с такой интенцией хватает. Но удачные неизбежно носят характер стилизации, — они, наверное, только тогда и получаются удачными, когда писатель отдает себе отчет, что стилизует. О неудачных лучше не вспоминать. Внешне консервативная беллетристика на самом деле интонационно очень восприимчива к новациям, просто реакция здесь запаздывает, и наши сегодняшние беллетристы (А. Волос, Л. Улицкая) работают где-то в манере «городского реализма» начала — середины восьмидесятых.

И вдруг — нате. В частности, и многочисленные огрехи как раз подчеркивают, что в этой прозе забытого, благородного вопреки всем огрехам звучания наводится прямой, «однопролетный» мост между реальностью и текстом. «Многопролетная» стилизация, где можно проверить текст по уже созданным когда-то и кем-то книгам, здесь рядом не стояла. Живая, прямая вещь — это риск прежде всего, в каком бы стилистическом пространстве ты ее ни ориентировал; сверять ее не по чему, и ничего не гарантировано, и ни от чего не застрахован. Ошибки серьезного писателя надо любить, как, кстати, мы любим их у того же Толстого, проза которого отнюдь не избавлена от моментов даже откровенно смешных... Но к чему все это? Стало быть, удастся все-таки привить классическую розу к современному дичку, есть прецедент? Ну да, безразлично понунив головы, отвечают писатели из России, есть, удастся... Только вот жить для этого нужно подальше отсюда... От актуального, так сказать, отечественного контекста...

Вот русско-европейский писатель. Он выпил с утречка кофе с круассаном в своем постоянном кафе и двинул на блестящей машине по теплой и уютной Европе, по маршруту, которым желает отправить своего героя. На обратном пути (это уже заимствуем из сюжета Репина, хотя там герой занимается другим, и утрируем, конечно, утрируем) ему расхотелось возвращаться в шумный город. Он поворачивает в Высокие Альпы, поближе к Монблану, и снимает на недельку горное шале, дешевое в некурортный сезон, чтобы накатать главу-другую. Чем он станет писать — если классично настроен? Мерным ходом окружающего его укорененного веками человеческого существования. Возможно, историей, которую тут не переводят на новые рельсы с каждым царствованием, а позволяют ей нарастать ровными, как древесные кольца, слоями в любом заштатном городке. Или религией, давно уже не

приводящей здесь никого к топору и так прочно въевшейся в быт, что практически растворилась в нем: теперь выделить и показать этот пласт сознания — уже половина успеха... Простые, сложные, добротные вещи. А вот писатель русско-российский. Такой же талантливый, если вообще позволительно талантами мериться. Он полгода курсировал между помойкой, возле которой живет, и помойкой, возле которой работает (коли ему еще повезло и работа имеется); от оскорбления к оскорблению. Он не теряет достоинства. Он накопил три копейки, чтобы на неделю засесть в Доме творчества за новый рассказ, — и по дороге туда его штрафует в электричке контролер. Он тоже, черт возьми, мистериозный резонатор, он слышит, его бумажная речь тоже совпадет с ритмом действительности... Но с другим. Кто из них двоих ближе к «последней суги» — вопрос. Сам-то я здешний, местный, плоть от плоти и дух от духа. И все же я осмеливаюсь предполагать, что триумфальное время русской литературы, давшее шедевры действительно мирового значения, было вместе с тем и временем наибольшей открытости русского общества в Европу.

Эк куда занесло! Надо бы ближе к предмету.

Вячеславу Репину тридцать девять лет. Четырнадцать он живет за границей, большую часть из них в Париже, причем от русской эмигрантской среды скорее далек. Его литературная судьба в России складывается не по привычным сценариям. Никакой «обкатки» в толстых журналах, обыкновенной для писателя некоммерческого направления, Репин не прошел. Публиковалась у него всего одна отличная повесть «Последняя охота Петра Андреича» — сперва в альманахе «Другие берега», затем была перепечатана журналом «Москва». Но «Звездную болезнь» — свой первый роман — выпустил он умудрившись в издательстве «Терра», причем в серии «Избранное», где до сих пор, кажется, выходили исключительно томы литературных грандов с хорошо известными, уже по многу раз издававшимися вещами. Есть подозрение, что с не печатавшимся прежде текстом в «Терре» вообще работали в первый раз.

Репин умеет выпукло, точно, живописно изображать что угодно: ночной трафик по альпийскому серпантину, переделкинские дачи зимой, особенный звук шагов по палым листьям в голом осеннем лесу — это весьма подкупало меня в его «Последней охоте...», — официантку в парижском ресторане, бунт в тюрьме, сумасшедших... Умеет, не играя в интеллектуализм, как бы между делом высказывать действительно глубокие, оригинальные суждения. Только сцены, связанные с сексом, получаются у него не ахти, что, впрочем, и не удивительно, так как есть подозрения вообще насчет изложимости данной тематики на нормативном русском. Следует упомянуть и редкий по нынешним временам, счастливый для масштабного романиста дар, которым несомненно Репин обладает, — это способность носить в себе многих и многих самых разных людей. Сии безусловно позитивные свойства еще, пожалуй, и оттеняются неожиданным образом за счет того, что по-русски Репин пишет с некоторым акцентом. Не то чтобы писатель подзабыл свой родной язык, отнюдь. Дело не в эрозии. Мне думается, перед нами случай, когда для писателя, натурализовавшегося во франкоязычной среде, русский все более отодвигается в область чисто литературную. В сущности, Репин создает себе образ русского языка, и в отсутствии постоянной связи с бытовой речью образ этот начинает жить самостоятельной, самодостаточной жизнью. Он вроде бы не так уж и сильно, совсем чуть-чуть «смещается» относительно «оригинала» — относительно того, как говорят и пишут сейчас в России. Но и это «чуть-чуть» довольно резко бросается в глаза.

Например, определенная выпренность в комментариях диалогов («просиял Петр», «ощетинился хозяин») и не вполне подходящие обороты («стал как ужаленный рассказывать»). Или как бы небольшое «соскальзывание» простейших, частопотребительных слов с привычного смысла. Или использование слов, для нынешней русской лексики достаточно маргинальных («млел») в тривиальном контексте... Подобные вещи не стоит даже считать авторскими ошибками. Они далеко не всегда тексту вредят, и в конце концов просто принимаешь их как правила игры, своеобразную красоту. Правда, попадают и периоды, где такого рода неточностей накапливается чересчур много — и текст становится похож на рабочий подстрочный перевод. Погоды они не делают — но опять-таки возвращают к мысли, что,

хотя ни строчки по-французски в романе нет, наш сочинитель буквально распылен между двумя языками.

Тем интереснее наблюдать, как от словесных ковыляний в некоторых необязательных медитациях мощный креативный импульс вдруг выносит автора к отточенной литературной речи в удивительно красивых и емких описаниях, к мастерской точности детали («в безжизненно-холодном воздухе стоял запах высохшего на ветру свежего полотенца»), как диалогам и повествованию сообщается местами великолепное, неспешное течение, ход — я бы назвал его «достойным».

К сожалению, есть и откровенно комичные каламбуры, нелепости. Но пенять за них автору мне не позволяет простая цеховая солидарность. Всякий прозаик знает прекрасно, что сочинение романа — процесс довольно своеобразный, в голове творится черт-те что, даже у суперстилиста те еще чудеса могут на страницу просочиться. В этой связи другое интригует: откуда тогда взялась в выходных данных книги фамилия редактора и в чем, собственно, деятельность некой С. Фидеовой заключалась. Было бы занятно порасспросить, чем занимался, до того как устроился в «Терру», и как представляет себе редакторские обязанности человек, не порекомендовавший автору, с чьим текстом работает, исправить сочетания типа «невосполнимая польза».

«Звездная болезнь» — весомое произведение. Рядом с ним объемные по нашим меркам российские сочинения последних лет (маканинский «Андеграунд», «Хоровод» А. Уткина, нагромождение слов филолога М. Пророкова «БГА» из последнего букеровского списка) выглядят средней величины повестями, а обычный «среднерусский» формат — новеллкой. Основной текст обрамлен авторским вступлением — историей знакомства автора с протагонистом в России — и дневниками протагониста. Во многом вступление и «делает» роман. Именно здесь задана структурная для книги интонация, которая сразу же закрепляется в сознании читателя и впредь так или иначе, эхом, будет облагораживать даже не лучшие главы. Роман представляет собой изложение судьбы состоятельного француза русского происхождения и может быть прочитан как рассказ о пробуждении в протагонисте русской крови, за коим неизбежно следует глубочайший внутренний конфликт с системой ценностей западного общества. Вероятно, автор имел также намерение противопоставить современному Западу христианскую идею о том, что любые дела мертвы без веры. Что показательно: Запад отнюдь не шельмуется. Репин — и это меня не в последнюю очередь весьма к нему располагает — совершенно не идеолог. Ему не нужен герой, заведомо знающий, что к чему, и существующий в тексте по принципу: все — дерьмо, а я — пастила. Автор имеет смелость и талант не столько направлять, сколько сопровождать героя по его «мировой линии», которая смоделирована как достаточно от авторской воли независимая. При такой установке невозможны однозначные вердикты поступкам и мыслям протагониста, и открытый — не по сюжету, но по смыслу — финал предопределен. Не ясно — и не должно, не может быть до конца ясно, как не бывает такого в действительной, нелитературной судьбе, — настигает героя крах либо, наоборот, происходит все-таки его возвращение к себе и принятие им мира на новом уровне постижения.

Протагонист — адвокат, принадлежащий к элитному в денежном и культурном плане слою общества, где люди понимают толк в искусстве, где за работой в саду напевают Баха, отдыхая после работы, слушают по радио Шопена, а панк-рок не слушают вовсе; и жизнь свою стараются выстраивать так, чтобы не проморгать ее — благо решение, например, оставить адвокатскую практику ради не очень определенных целей не влечет за собой немедленно мыслей о том, чем завтра оплачивать квартиру, что есть и во что одеваться. (Вообще тьма парижских апартаментов, загородных домов, частных коллекций живописи и прочих буржуазных штучек на душу населения в романе сошла бы за антураж «мьильной оперы» — если б не была подана с естественностью, исключаяющей подозрения в преувеличении. Это любопытно просто как бытописание — у кого из русской читательской публики есть знакомые французы с таким достатком?) После смерти отца герой испытывает экзистенциальный кризис, в котором буквально все, что до сих пор составляло

его благополучную жизнь, обнаруживает свою пустоту. Пытаясь избыть неудовлетворенность и желая нащупать новое русло существования, адвокат начинает оказывать благотворительные юридические услуги старикам из дома призрения, а также принимает участие в судьбе постороннего, в общем-то, и с темноватым прошлым человеком. Все это разворачивается на фоне его любовной связи с собственной племянницей студенческого возраста. И доброделание, и любовь оканчиваются хорошо если ничем, а то и трагедией. Протагонист почти что теряет ориентацию, но тут неожиданно, по случайному совету, пробует силы в живописи. И нам, и ему уже мерещится впереди выход, духовное выздоровление, самособрание через творчество. Однако происходит автомобильная авария, герой с амнезией попадает в лечебницу для душевнобольных, где через какое-то время умирает. После его смерти находят дневники, из которых ясно, что, оправившись от амнезии, он продолжал ее симулировать, поскольку не хотел возвращаться в мир.

Вроде бы чистой воды литературщина. Вроде бы такая сюжетная канва неминуемо потянет за собой окостеневшие в тысячах текстов схемы развития, из которых не выберешься. Как ни удивительно, Репин выбирается. Прежде всего потому, что сюжет не является для него отправной точкой. Сюжет скорее образуется в результате других, более общих побудительных причин комбинировать материал так, а не иначе. Речь не об авторских «идеях». Хотя какие-то идеи автор, вероятно, и имел в виду, вряд ли они прямо олицетворялись в персонажах, иллюстрировались в сюжетных ходах или транслировались в высказывания — разве что в дневниках. Речь о том, что определить можно только весьма расплывчато как «художественную интуицию». О способности чувствовать меру, с которой необходимо недописать рефлексии действующих лиц. Об умении тактично увести текст в сторону от назревшего надрыва. О том, наконец, качестве, которое позволяет создавать многомерное смысловое пространство, комбинируя небольшое число событий и героев, но не втискивая их в предзаданную структуру, где любое А обязано отрезонировать в каком-нибудь Б. Персонажи не играют структурных ролей и изображают только самих себя.

Есть основания предположить, что в самом начале работы над «Звездной болельню» представление, как должен «правильный» роман выглядеть, над Репиным все же тяготело. И от него остались рецидивы. Полезный — полудетективная линия пропавшего в Африке сослуживца протагониста, который впоследствии выныривает в Москве; она также не вполне проявлена, проведена пунктиром — но интригу тем не менее создает. Неловкий: сообщение непонятно зачем герою второго плана садомазохистских наклонностей. Забавные, даже трогательно-наивные: нечто же сомнящиеся, автор вставляет в содержательные в целом диалоги реплики типа: «Да, я иногда поражаюсь, как страшен мир людей» и т. п. Как будто из эпохи, когда все проговаривалось впервые. Или затертая история, как вся жизнь прокручивается за секунду в памяти человека на грани гибели.

Но опять-таки: по этим следам как раз и видно, что от парадигм Репин решительным образом отвернул. Мне кажется, он пошел путем их «размывания», поступенчато жертвуя завершенностью сюжетных и смысловых линий. В итоге многие провисли. В тексте остается как бы множество невыполненных обещаний. Безусловно, Репин рисковал здесь скатиться в банальную недоделанность. Но верил, видимо, в материал: что нужно достаточно отпустить его на свободу, чтобы сама проступила в нем новая логика, более глубокая, чем логика жесткой структуры или движения идей. И не обманулся. Теперь форма романа замыкается убедительно, но далеко за пределами текста; выводит на, если угодно, базисные мифологемы.

Что мир стоит заботливого («погруженного в заботу») и пристального взгляда. Что человеческая жизнь — даже без ужасов, умопомрачительных трагедий, крайнего заострения «последних вопросов», чудес, подвигов или анекдотов — стоит бумаги. Что бытие благоволит к нам, и можно ему доверять, и искусство не обязательно должно быть ему противопоставлено.

Жаль, что в России такое мировидение потеряно. Плохо, что не осталось, куда приложить силы, чтобы его вернуть.



## ХОРОШЕЕ МЕСТО В ПОИСКАХ ВРЕМЕНИ

На невском сквозняке. Современный петербургский рассказ. Составители А. Образцов, В. Попов. СПб., «Петербургский писатель», «Домик драматургов», 1998, 320 стр.

**В** семидесятые — восьмидесятые годы Ленинград входил в число культовых, как сказали бы нынче, городов для молодежной субкультуры. Модно было ездить в Тарту и Пярну, Владимир и Псков, Новосибирск, Свердловск и Ленинград. В Тарту был Лотман и семиотика, в Пярну — Самойлов, и вообще Прибалтика была за граница; во Владимире были храмы, и редкий длинноволосый гений не писал там этюдов, питаясь молоком, купленным на базаре. В Новосибирске был Академгородок, в Свердловске — рок (Курицын был еще маленький)... А в Питере была хипповская мекка, называемая «Сайгоном», БГ, рок-лаборатория на улице Рубинштейна, храбрый журнал «Аврора» и ленинградская проза.

Любить ее — причем даже больше, нежели рок-лабораторию, — было хорошим тоном в узком кругу умеренных снобов, к которому принадлежал и я. Это был снобизм тихий и безобидный — считать, что в Питере пишут лучше, чем в Москве. Привлекательна же питерская проза была своей славной гротескно-фантастической традицией — доброй памятью о Гоголе и Обэриутах. Сочинения Валерия Попова, Виктора Голявкина, Михаила Веллера (он и в Таллине, и в Африке питерец), Александра Житинского, Нины Катерли, Игоря Ефимова, Сергея Вольфа и других, либо с трудом пробивавшихся в печать, либо для конспирации пишущих детскую прозу, как раз и объединялись в некое подобие школы по этим двум признакам: гротеск и самоирония. Круг поклонников этой прозы был довольно узок, но верен. Нечего и говорить, что фантастические повести отличного поэта Вадима Шефнера, стихи и пьесы Володина, повести Меттера — питерцев старшего поколения — также пользовались безукоризненной репутацией. Ненавязчивая фронда, презрение к московским пошlostям, неизменная культура, уважение к читателю (то есть в первую очередь умение выстроить увлекательную фабулу и отсутствие прямолинейной, «лобовой» социальности советского или антисоветского толка) — всем этим «товарищи питерцы» выгодно отличались от остальных товарищей. И даже тихое, но достойное существование их — как бы всегда в тени — добавляло шарма их умной и нелинейной прозе. Именами их обменивались как паролями. И сейчас поручусь, что человек, любящий прозу Житинского и Попова, — вне зависимости от профессии и года рождения, — имеет со мной больше общего, чем любой коллега-ровесник.

Рассказ был излюбленным ленинградским жанром (не случайно и самый известный, хотя отнюдь не самый сильный новеллист последнего времени — Сергей Довлатов — был с берегов Невы). Толстые эпопеи кропались людьми партийными, вроде Вильяма Козлова, а сочинение непритязательных рассказов было тоже своего рода фрондой, — да и распространять в самиздате удобнее малую форму, а именно в машинописи распространялись вещи раннего Житинского, Ефимова, Вольфа и Марамзина. Вот почему от антологии современного петербургского рассказа давние поклонники этого специфического жанра — «петербургский рассказ» — вправе ждать многого. И даже разочарование, нет-нет да и посещающее читателя этой чудом вышедшей книжки, дорогого стоит: перед нами сборник в высшей степени показательный.

Удивление в нем вызывает многое. Питер всегда был славен отличным семинаром фантастов под руководством Бориса Стругацкого, именно здесь из года в год проходят главные фестивали российской фантастики — «Интерпрескон» и «Странник». Первоклассные фантасты Борис Стругацкий, Вячеслав Рыбаков, неровный, но несомненно одаренный Андрей Столяров, — уж как-нибудь рыбаковские «Люди встретились», «Свое оружие» или «Ветер и пустага» не проиграли бы остальным авторам сборника, а то и выиграли бы на их фоне. Может быть, именно этим и объясняется тот факт, что невским сквозняком из сборника выдуло всех

до единого фантастов, которым, кстати, тоже негде рассказы печатать (спрос есть только на пухлые фэнтезийные романы). Это тем более странно, что большинство рассказов сборника тоже как-то не вписывается в рамки традиционного реализма, — но клановость есть клановость, не зря Валерий Попов озаглавил свое предисловие словами Ю. Олеси «Таланты водятся стайками». Странно выглядит и отсутствие наиболее репрезентативных для нынешнего Питера прозаиков: если о ком из петербуржан сегодня и спорят, так об Александре Мелихове, чьи рассказы начала восьмидесятых — язвительно-сентиментальные «Инцидент», «Трактат о бане» или «В родном углу» — ничем не уступают его нынешней желчной прозе. Есть Панин, но нет Долиняка; есть Вольф, но нет Ефимова; есть Бартов, но нет Шинкарева. Правда, один из составителей — Александр Образцов — представлен целыми семью рассказами (тогда как большинство авторов — одним и редко двумя); относительная краткость их уравнивается почти полной неотличимостью — как друг от друга, так и от ранних рассказов Садур или Петрушевской. Впрочем, если сборник составлялся так, как рассказывал мне один из его участников, — желающие несли свои рассказы сами, составители ничего не отбирали, — половина претензий отпадает.

Составители не виноваты в том, что Житинский, например, принес симпатичную, но пустоватую «Элегию Массне», — хотя если уж выбирать из его немногочисленных поздних рассказов, куда предпочтительнее было бы жестокое, мрачное и смешное повествование «Прах». У Валерия Роньшина есть рассказы веселее и оригинальнее, чем «Как зовут собаку Павлова». У Риды Грачева взяты тридцатилетней давности «Ничьего брата», хотя в одноименной книге есть сравнительно недавние, уже во время болезни написанные рассказы, в которых главные черты грачевской прозы явлены куда нагляднее. Если Сергей Вольф захотел принести в сборник самый, кажется, слабый из всех его рассказов, мною читанных, — совершенно бессодержательное и катастрофически несмешное произведение «Рокешники и бугешники в электричке...», — это опять-таки его личный выбор (чувство такое, что многие понесли в сборник именно то, что лежало в столе, — а в столе, как научил нас горький опыт последнего десятилетия, часто лежит худшее).

Как и во всяком коллективном сборнике, в «Невском сквозняке» рассказы разных авторов поставлены в заведомо невыигрышное положение: хороший новеллист виден в цикле или книге. Даже самый лучший из коротких рассказов Андерсона, Хемингуэя или Сэлинджера вне контекста выглядит беззащитнее, чем в книге; Мопассан и тот не всегда выдерживает испытание хрестоматией. В этом изначальная невыигрышность жанра. Но поскольку у большинства собранных под лиловой обложкой авторов нет возможности издать сборник своей малой прозы, выпуск такой антологии — дело по определению благое. Другой вопрос, что на своем уровне в сборнике выступили всего-то человек пять, — их сочинения и обращают на себя внимание (от разбора таких хорошо известных вещей, как битовский «Инфантьев» или гранинское «Ты взвешен на весах», мы воздержимся). Перечень полновесные, крепко написанные новеллы в сборнике можно по пальцам одной руки: это «Всегда что-то напоминает» Виктора Голявкина, «Пирамида Цукермана» Нины Катерли, «Кто бросит в нее камень» Ильи Штемлера, «Главное убить» Сергея Коровина и лучшее, на мой взгляд, сочинение в книге — «Бедный Кнок» Бориса Иванова.

Голявкин перенес тяжелую болезнь, в славной компании питерских семидесятников он из старших, но рассказ его, написанный всего год назад, ничем не уступает тем грустно-веселым, ни на что не похожим, коротким и точным текстам, которые составили когда-то его избранное «Большие скорости». Голявкин произнес еще одно отходное слово поколению (слово «шестидесятники», как и многие черты этого поколения, уже набило изрядную оскомину). Но в рассказе о «типичном представителе» есть тот самый скрещенный процесс, который так ценил Мандельштам и без которого не бывает искусства. Умиление тут приправлено брезгливостью, раздражение — состраданием; и вывод Голявкина, как всегда, неожиданный. Плевать, в сущности, хороши или дурны были эти люди, обладали безукоризненным вкусом или не имели вовсе никакого. Важно, что с ними было интересно и что само присутствие их будоражило, заставляло — сближаясь или отталкиваясь —

самоопределяться. Яркость оказалась сильнее, значимее пошлости. Думается, в долгой и некрасивой дискуссии о шестидесятниках, с их конформизмом, саморекламой и дурновкусием, этот рассказ ставит точку. Голявкин ностальгирует не по общеизвестным и затертым реалиям шестидесятых, но по самому типу — по трепачу, трусу, верхогляду, бабнику, на которого временами кулаки чешутся, а все-таки интереснее и обаятельнее, чем он, никого в советской истории не было.

Катерли начинала с прелестных фантастических историй — «Коллекция доктора Эмиля», «Зелье», «Чудовище»; потом она стала писать вещи вполне реалистические, сделавшись то ли петербургской Викторией Токаревой, то ли Галиной Щербаковой, — но от них ее отличает именно неоднозначность, мерцание за текстом какой-то иной реальности, то есть все, что было так привлекательно в ее ранних фантазиях. «Пирамида Цукермана» — рассказ без всякой мистики (и без всякой еврейской темы). Цукерман — это Леня Цуканов, вполне русский человек, прозванный так за очки и безответность. На старости лет ему досталась турпутевка в Африку. Там он вследствие смешной и трагической нелепости погиб, в пустыне труп его мумифицировался, и после того, как мумию одного из фараонов выкрали из пирамиды, за пропавшую мумию приняли Цукермана. Теперь он лежит в пирамиде, и на него смотрят тысячи туристов со всего мира. По фабуле — чистый анекдот, вроде уже упомянутого «Праха»: там Житинский оттолкнулся от истории о том, как одна ленинградская семья получила из-за границы запаянный в пакет из фольги прах дальнего родственника, не сумела перевести сопроводительное письмо и год употребляла этот прах в пищу как заграничную приправу. Катерли сделала из своего анекдота (изложенного живым, хорошо стилизованным городским сказом) историю почти мистического свойства, тоже на пересечении смеха и страха. Традиция восходит к «Шинели» — питерской прозе не впервой демонстрировать посмертное преображение Акакия Акакиевича. Цукерман — отнюдь не страдалец и тем более не герой; но в нем, в его семье и приятелях с такой силой воплощено бессмертное, всевыносящее роевое начало, что жизнь персонажей Катерли — с их спасительной тупостью и маленькими радостями — в самом деле начинает выглядеть как-то величественно.

Старый рассказ Ильи Штемлера — о девочке, отца которой не взяли на фронт по здоровью, задрезали дезертиром, а потом все-таки вынудили добиться отправки на фронт, чтобы там погибнуть, — самое традиционное произведение на весь сборник: это добротный, гуманный русский реализм, не чуждый любовных решений, но подкупающий правдой характера. В рассказе нет ничего особенного — ни виртуозной пластики, которой отличаются тексты Валерия Попова, ни сюжетной динамики Чулаки, ни самоиронии Житинского; выделяет его из числа прочих нешуточность коллизии, масштаб происходящего. Речь все-таки идет о жизни и смерти, о травле и стадности, и у Штемлера хватило петербургского такта не выжимать у читателя слезу кулаками. На фоне рассказов, в которых не происходит решительно ничего, кроме мелочного выяснения мелочных отношений мелких людей, Штемлер сильно выигрывает.

Рассказ сравнительно молодого Сергея Коровина, помещенный в раздел авангардной прозы, тоже ничем особенно не примечателен (и сюжета его толком не вспомнишь через час), кроме все той же довольно грамотной имитации городского сказа и того же питерского стыка трагедии и фарса. Ежели бы не внезапная лирическая концовка, не посмертный монолог юного наркомана, которого на протяжении всего коровинского рассказика так старательно сплавляют друг другу, игнорируют и промаргивают, — рассказ бы ничем не отличался от сотен подобных экзерсисов, но эта смена фокуса и интонации в финале сразу переводит повествование в другой регистр. Именно такого «отъезда камеры» недостает большинству рассказов сборника. Между тем лучший рассказ книги — «Бедный Кнок» Бориса Иванова — построен на этом приеме целиком. Имя Бориса Иванова известно каждому, кто помнит журнал «Часы» — едва ли не лучший во всем питерском самиздате. «Бедный Кнок» — взгляд на Великую Отечественную войну со столетней дистанции. Перед нами бесстрастная, дотошная хроника одного боя: со случайными смертями, бессмысленными жертвами, амбициями командиров и неотличимостью солдат, — боюсь, именно так будет выглядеть история сто лет спустя, если ей слу-

чится оторваться от идеологии. Абсурдность войны Иванов подчеркивает старыми толстовскими приемами, на людей глядит со смесью брезгливости и сострадания, так что бесстрастия не выходит все равно. Иное дело, что между русскими и немцами почти нет разницы, а смерть из подвига превращается в дело случая. Несмотря на явное сходство с прозой Сорокина, рассказ Иванова куда тоньше этой прозы. У Сорокина солдаты давно бы выпустили друг другу кишки и съели их с кровожадными заклинаниями. У Иванова они просто воюют, — абсурд выходит все равно, но демонстрируется чисто стилистическими средствами.

Прочие рассказы оставляют впечатление вот именно что черновиков или отходов, так что своей высокой задаче, заявленной в аннотации, — «вывести из вынужденного забвения как можно большее число талантливых прозаиков» — сборник соответствует очень мало. Это либо увлекательно изложенные и совершенно пустые анекдоты («Пьяная вишня» М. Панина, «Кoeffициент честности» М. Чулаки), либо унылые упражнения на тему бессмысленности обывательского существования («Недолгое знакомство Ивана Васильевича Мерзлякова и Антонины Ивановны Тупоухиной» А. Бартова), либо страницы из писательского архива («Огурец навыврез» В. Конецкого), либо перепевы собственных мотивов («Пропадать, так с Музой» В. Попова). Рассказ Попова все же радует какой-то новизной в сравнении с его давней прозой — азартом «пропадания», радостью полного краха, — но этот мотив различим и в его рассказах восьмидесятых годов, а самый противный герой — проводник Леха — вообще уже лет двадцать не меняется, только приобретает все новые профессии. В обаятельном рассказе Житинского все тот же роковой недотяг: лирика заболтана, снижена, словно и герой, и автор боятся себя. Сдержанность и самоирония — великое дело, но тут они оборачиваются против повествователя. Большинство «авангардных» рассказов удручает именно тем, что они совершенно не смешны, а друг от друга неотличимы, как их герои (почти всегда — кроткие алкаши, которым авторы — «котельные писатели» — язвительно сострадают). Эта галерея кротких дурачков, «контуженых», как называется рассказ Н. Шадрунова, отчасти напоминает митьковские холсты с изображением таких же коммунальных типажей; к сожалению, авторы высокомерно полагают, что герои их вполне исчерпываются набором самых примитивных характеристик. Заглянуть за этот штамп, выдумать живого героя петербургский авангардист не способен в принципе, как, боюсь, не способен был к этому и Хармс, чье влияние на питерский авангард при всем желании не назовешь благотворным. Хорошо хоть в сборнике нет той претенциозной и занудной бессмыслицы, которая в свое время прогремела в сборнике 1984 года «Круг», где впервые выступили в печати почти все петербургские модернисты-подпольщики, впоследствии выведенные в главном романе Житинского в качестве завсегдаев «Котельной имени Хлебникова».

Напрашиваются два вывода, один другого печальней. Первый: Довлатов сильно и отнюдь не в лучшую сторону повлиял на своих земляков, внушив им самоценность болтовни, предложив анекдот как идеальную основу сюжета. Так, может быть, и делается читабельная проза, но проза значительная так не делается: ей требуется какое-никакое напряжение, страсть, масштаб чувств. Второй вывод: с рассказом что-то случилось. Если уж в Питере, где его всегда так умели делать, затрудняются написать хороший современный рассказ — остальным регионам лучше и не соваться.

Смушает меня полное отсутствие современности в этой прозе. Впрочем, будь в этой прозе что-либо лучшее, более значимое, чем современность, — я бы и слова не сказал. «В хорошем месте в нехорошее время», — надписал когда-то Бродский Кушнеру свою подборку; дело было на Литейном в начале 1972 года. Место осталось хорошим, но время, судя по прозе, обходит его стороной либо вообще стоит. Пресловутое «мелкотемье» остается пороком вне зависимости от эпохи. Можно подумать, что мы пережили не самое насыщенное десятилетие в русской истории XX века, что мы так и влачим вялое застойное существование. Новый материал, новые настроения, новые реалии литературой не освоены, а кому же и осваивать все это, как не мобильнейшему из жанров? Можно понять ленинградцев, и всегда-то не ангажированных, а нынче и подавно не желающих выполнять социальный заказ; но уж так-то абстрагироваться от реальности, пасауя перед ней, питаясь се-

мидесятническим еще набором штампов, — вовсе скучно. Никто не требует от новеллиста ни «кроиться миру в черепе», ни с поспешностью газетчика фиксировать рост цен и финансовый кризис; речь идет о новых настроениях и состояниях, о страшно расширившемся эмоциональном спектре, о том пограничном, а то и за-пределном опыте, который приобрела страна после стольких катаклизмов. Где иррациональные страхи и иррациональные радости новых времен, где усталость от бесчисленных перемен и чувство почти посмертной примиренности с миром после очередной, на этот раз проигранной войны?

Допускаю, что рассказ в его российском понимании — с подтекстом, с чеховскими умолчаниями, со смакованием детали — имел смысл только в те годы, когда начинались сумерки империи. Мы, тридцатилетние, застали это время. Все было окутано тайной, все на все намекало, как в символистские времена. Бродили легенды и мифы. Рассказ в этих условиях попадал в идеальный контекст — в нем отыскивались двадцать третьи смыслы, подтексты, интертекстуальность, автор подмигивал читателю... Теперь же, в беспощадном свете нового дня, обаяние тайны исчезает, и рассказывать сказки (главным условием которых является именно тайна) стало бессмысленно. Но основной причиной слабости современных новелл (как и большинства рыхлых, аморфных современных романов — только там это менее заметно) мне представляется отсутствие структуры. Структура, четкая организация — то, без чего рассказ немислим (и вот почему основным жанром сегодняшней литературы стала повесть — затянутый, перегруженный ненужными деталями, никак не структурированный монолог). Чтобы написать рассказ, надо ясно представлять себе, где верх и низ, право и лево, — в аморфном, амбивалентном мире, где все равно всему, хорошие рассказы не пишутся. По этой же причине, кстати, так одинаковы и чаще всего так цветисто стилизованы рассказы символистов, предпочитавших писать не о современности, а о средневековье, — зато начало двадцатых, когда мир четко поделился на своих и чужих, дало блестящую генерацию новеллистов, в первую очередь Бабеля в Москве и «серапионов» в Петербурге. Нынешнее время не располагает к созданию четких структур, будь то структуры фабульные или предвыборные. Критерий отсутствует, все размыто и подмечено: вместо прозы — анекдот, вместо дерзкого и вызывающего авангарда — ироническая чернуха, похожая на кислое пиво.

...А может быть, просто все происшедшее за эти годы так потрясло людей — и прежде всего пишущих, болезненно чутких, — что они до сих пор не оправались от шока и выжидают, пока он пройдет? Тогда у нас впереди действительно великая литература. Но пока на ее месте — невский сквозняк. Тот самый, о котором пел другой ленинградец:

На нашем месте в небе должна быть звезда.  
Мы чувствуем сквозняк оттого, что это место свободно.

Дмитрий БЫКОВ.

\*

## УТАЕННЫЙ ПОДВИГ

А. Паперно. Ленд-лиз. Тихий океан. М., «Терра» — «Книжный клуб», 1998, 367 стр.

**К**азалось бы, по прошествии более полувека после окончания Великой Отечественной войны об этой исторической трагедии появилось столько научных трудов, исследований, мемуаров, что трудно тут обнаружить какие-либо «белые пятна». Но, оказывается, прояснено далеко не все. Одно из таких «белых пятен» — все, что связано с поставками американской военной помощи по ленд-лизу в Советский Союз в 1941 — 1945 годах.

В Большом Энциклопедическом Словаре (1997) сказано: «Ленд-лиз (англ. lend lease), система передачи (взаимы или в аренду) вооружения, боеприпасов, страте-

гического сырья, продовольствия и т. п.; поставки по л.-л. осуществлялись США в страны-союзницы по антигитлеровской коалиции в период 2-й мировой войны».

Одна из этих «стран-союзниц» — СССР, куда шла значительная часть американских поставок. В денежном выражении они составили свыше 10 миллиардов (!) долларов. К слову, наш долг США за эти поставки полностью не погашен и до сих пор.

Даже в период войны, когда американская помощь по ленд-лизу поступала к нам широким потоком, официальные инстанции публично почти не упоминали о ней, что, естественно, крайне обижало американцев. В марте 1943 года, к примеру, посол США в Москве, адмирал У. Стэндли вынужден был заявить журналистам на пресс-конференции: «Российские власти, по-видимому, хотят скрыть факт, что они получают помощь извне. Очевидно, они хотят уверить свой народ, что Красная Армия сражается в этой войне одна».

Резкое выступление посла на какое-то время возымело действие: власти публично признали заслуги американской стороны по оказанию России помощи. Когда же после завершения Второй мировой наступила «холодная война» и опустился «железный занавес», в нашей печати вовсе перестали упоминать о ленд-лизе. А если и заходила об этом речь, приводилась явно заниженная цифра: мол, поставки по ленд-лизу достигали всего четырех процентов от общего валового объема продукции, произведенной в СССР в военный период.

Надо думать, что из-за постоянных колебаний нашего политического маятника в отношении с США в последующие годы, вопрос о ленд-лизе почти не затрагивался и не изучался. В результате до самого последнего времени у нас не появилось ни одного серьезного труда на эту тему, а в наших архивах не сохранилось и документов о том, как осуществлялась на практике доставка американской помощи в Россию. По крайней мере журналисты, историки, обращавшиеся в соответствующие инстанции с просьбой о доступе к архивным материалам, получали отказ именно с подобной формулировкой.

Не удивительно, что автор первой у нас обстоятельной книги о ленд-лизе Алла Паперно начала свою работу по сбору данных пятнадцать лет назад с розыска непосредственных участников доставки ленд-лизовских грузов, тех, кого судьба разметала по всей стране, и приступила к записи их рассказов и свидетельств.

Все это автор сделала не от хорошей жизни: архивные материалы по этой теме в ту пору были закрыты. Вместе с тем чисто интуитивно А. Паперно нащупала верный путь своего исследовательского поиска, да и не хотела она упустить редкую возможность побеседовать с последними живыми свидетелями малоизвестных событий минувшей войны.

Поскольку книга во многом построена на устных рассказах очевидцев, это обстоятельство сообщает ей определенную особенность. Поначалу создается впечатление, что материал излагается автором довольно бессистемно. Отсутствует четкая хронологическая канва, точнее, А. Паперно часто отступает от хронологического принципа. В книге много побочных сюжетов, индивидуальных человеческих судеб, драматических эпизодов, которые наслаиваются друг на друга, образуя своеобразный палимпсест.

Постепенно, однако, из этого «развихренного» материала проступает авторская концепция, помогающая нам схватить проблему в целом, увидеть те новые ее грани, которые прежде оставались в тени.

Оказывается, само понятие «ленд-лиз» трактовалось подчас превратно, врезрез с реальными историческими фактами. Даже те из представителей нашего старшего поколения, кто слышали или читали что-то о ленд-лизе, часто связывают все это с северными конвоями союзников в Мурманск или Архангельск в начале Великой Отечественной войны. При этом считалось, что в силу малой эффективности таких конвоев в борьбе с подводными лодками и авиацией противника подобная форма доставки вооружения в Россию себя не оправдала и союзники вскоре от нее отказались. Часто также в ряде публикаций сообщалось, что тем самым военная помощь России вроде бы и вовсе прервалась. В действительности же изменилась только география этих поставок. Увеличился их объем в наши южные моря через зону Персидского залива, если говорить об Атлантике. На Тихом же океане грузы

шли через Петропавловск-Камчатский, Владивосток и другие тамошние наши порты. Нередко в отечественной и зарубежной печати утверждалось также, что и по тихоокеанскому маршруту эти поставки прекратились, поскольку после нападения японцев на Пёрл-Харбор США вели против них в этой акватории активные боевые действия.

Именно такую версию с фактами в руках и опровергает А. Паперно. Из ее работы явствует, что по маршруту США — Владивосток и далее по Транссибирской железнодорожной магистрали все грузы шли без серьезных задержек. По этому пути в Советский Союз было доставлено больше половины импортных грузов, поступивших к нам в 1941 — 1945 годах.

Но дело в конечном итоге не в цифири, которая, однако же, разрушает созданный в нашем сознании стереотип о ленд-лизе. Главное достоинство книги А. Паперно, на мой взгляд, в другом. В своем повествовании о тихоокеанской ветви ленд-лиза, оставшейся, по сути, за пределами внимания исследователей, историков и журналистов, автор назвала конкретных людей, причастных к этой грандиозной морской эпопее. Она не только назвала их поименно, но и рассказала о каждом из них немало интересного, что особенно ценно, так как некоторые из этих реальных персонажей невольно оказались несправедливо забытыми, обойденными вниманием соотечественников.

Вот хотя бы рассказ о такой трагической и яркой фигуре, как А. Афанасьев, который в начальный период войны был человеком номер один в Приморье: начальник Дальневосточного морского пароходства, уполномоченный ГКО в этом регионе, позже даже министр морского флота СССР. Облыжно обвиненный Л. Берией в «шпионаже», Афанасьев шесть лет провел в тюрьме, лагерях, ссылке. Лишь после казни Берии его реабилитировали. Заслуги А. Афанасьева на Дальнем Востоке особенно значительны как раз в налаживании бесперебойной доставки американских грузов через Владивостокский порт и далее — вглубь страны. Сперва в порту образовалась гигантская пробка. Грузы прибывали из США по морю, а переброска их на железную дорогу застопорилась: не было платформ, вагонов и т. п. Лишь энергия, опыт, организаторский талант позволили А. Афанасьеву разрядить крайне сложную ситуацию, угрожавшую сорвать дальнейшие поставки по ленд-лизу этим маршрутом.

Я упомянул фамилию только одного из тех людей, о которых рассказывает А. Паперно (в книге их, естественно, больше). А сколько в ней разного рода драматических коллизий, историй, связанных с самой тихоокеанской одиссеей наших моряков: не раз случалось, что наши транспортники с грузом взрывчатки на борту оказывались в зоне непосредственных боевых действий американских и японских военных кораблей. Кроме того, в оборонительных целях в прибрежной акватории возле Владивостока, Совгавани, Петропавловска-Камчатского были выставлены наши минные поля. Провести караваны судов в таких водах могли только военные лодманы, изучившие подобные маршруты (недаром в книге А. Паперно лодманам, людям столь опасной профессии, посвящена отдельная глава).

Одиночные плавания наших кораблей по Тихому океану в те годы в США и обратно с военными грузами сами по себе были *подвигом*, по достоинству еще не оцененным и поныне. Иногда сами капитаны американских субмарин ночью, в тумане, не разобравшись как следует в обстановке, торпедировали советские пароходы с импортным грузом, принимая их за японские. (Так произошло, к примеру, с нашим крупнотоннажным кораблем «Трансбалт», потопленным подлодкой США уже на самом исходе Второй мировой.)

Рассказ о тихоокеанском маршруте в книге вполне органично дополняется главой об АЛСИБе: речь идет о воздушном мосте Аляска — Сибирь, продолженном и далее на Запад, к линии фронта. По АЛСИБу к нам поступали американские боевые самолеты. Эта воздушная трасса, с аэродромами, взлетными полосами, заправочными станциями, расположенными на земле, создана была за десять месяцев, хотя по предварительным прикидкам специалистов для этого потребовалось бы не менее пяти лет. Часть трассы пролегла по территориям, принадлежавшим «Дальстрою». Эта организация и осуществляла в основном подготовку всего маршрута. Работа, понятно, выполнялась силами зеков...

И еще одно. Труд А. Паперно увидел свет в популярной серии издательства «Терра» — «Тайны истории». В состав ее входят романы и повести о венценосцах разных веков, мемуары и дневники государственных мужей и политиков.

Причислить книгу А. Паперно к этой серии можно, на мой взгляд, только условно. Если и говорить здесь о какой-то исторической тайне, то это тайна чисто искусственного порядка, результат советской секретности. Не исключено, что в свое время она порой и была необходима. Но с того момента минуло более полувека. XX столетие на исходе, а автора «Ленд-лиза» до сих пор не подпускают к ряду ведомственных архивов, несмотря на ходатайства академических институтов и научных обществ. Не допускают туда, где хранятся документы о тех людях, деяниях которых в любой другой стране давно гордилась бы вся нация.

Впрочем, А. Паперно не только отказывали в информации. Подчас ей препятствовали даже в праве *рассказать* (например, на волнах радиостанции «Тихий океан») слушателям о героических делах моряков-тихоокеанцев в годы Отечественной войны. С понятной горечью автор пишет: «Остается констатировать факт: Владивосток не знает и, что самое поразительное, не хочет знать свою настоящую историю военного времени. Если же и появляется у кого-то желание, люди при должностях стараются не допускать узнавания. А ведь это были самые трудные, но и, несмотря ни на что, самые славные четыре с лишним года советского периода биографии города, края, всего Дальнего Востока».

Вот уж воистину можно сказать, перефразируя известную поговорку: от секретности до беспаматства — один шаг. Такое беспаматство в данном случае обернулось тем, что сами от себя мы утаили подвиг наших отцов и дедов, оставив непрочитанной важную страницу военной отечественной истории.

С. ЛАРИН.

**И. ВИКТОР КРАВЕЦ.** *Разговор о Хлебникове.* Киев, РВЦ «Проза», 1998, 288 стр.

Близится столетие русского литературного авангарда. Оно, естественно, не имеет точной даты и ни в каких календарях не зафиксировано, но в самом воздухе культуры носится новое ощущение этого эстетического феномена и новое к нему отношение. Вопрос «принимать — не принимать» постепенно сменяется на безальтернативное «понимать и исследовать».

В особенной степени этот сдвиг демонстрирует хлебникововедение, или, как теперь чаще именуется эта довольно бурно развивающаяся филологическая отрасль, велимироведение: достаточно вспомнить книги Р. Дуганова, В. Григорьева, блок статей «Проблемы велимироведения» в посвященном юбилею В. Григорьева сборнике «Язык как творчество». Показательно, что Хлебников в новейших исследованиях предстает не только как изобретатель и первооткрыватель, но и как художник, прочно связанный с фольклорно-мифологи-

ческой традицией. Вышедшая в Киеве книга В. Кравца раскрывает мир Хлебникова именно с точки зрения его глубокой укорененности в предании. Прилагая к книге факсимильное воспроизведение «Изборника» 1914 года (с иллюстрациями П. Филонова), В. Кравец сосредоточивается на анализе демонического образа Мавы Галицийской, ключевого, по его мнению, образа хлебниковской поэтической мифологии.

Эта амбивалентная ведьма в интерпретации исследователя предстает глобальным воплощением Мирового Зла, в связи с чем исследователь вступает в полемику с А. Парнисом, настаивающим на том, что у образа Мавы имеется конкретный прототип — художница Ксения Богуславская, чье имя анаграмматически зашифровано в тексте стихотворения «Ночь в Галиции». Не берусь входить в утонченный спор велимироведов между собою: прототипичность образа вполне может сочетаться с символичностью, а генезис и функция далеко расходятся. Показательно другое: В. Кравец начинает работу по выстраиванию иерархии хлебниковских мотивов, и Мава (Мавка)

в этом плане становится своеобразной точкой отсчета для целостного прочтения не только «Изборника», но и поэзии Хлебникова вообще. Синонимами Мавы оказываются формулы «вещь=труп» и «война=смерть», а главным творческим импульсом поэта становится почти ритуальное заклятие зла. Тщательный разбор «заклинательной» природы поэзии Хлебникова стратегически нацелен на выявление нравственно-философской доминанты. Перед нами удачное начало большого и основательного разговора о поэте, разговора, адресованного не только кругу посвященных, но и грядущим читателям.

**И. С. Е. БИРЮКОВ.** Теория и практика русского поэтического авангарда. Тамбов, изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 1998, 187 стр.

Сергей Бирюков известен как поэт и литературовед, энтузиаст исследования русского «классического» авангарда, темпераментный защитник и пропагандист современных авангардных веяний в литературе, создатель Академии Зауми в Тамбове, автор книги об экспериментальной поэзии «Зевгма». Новая книга С. Бирюкова содержит разножанровые работы автора, объединенные ключевой для него проблематикой. Академической основательностью отмечен раздел «Поле авангарда», где С. Бирюков рассматривает одно из главных открытий поэзии 10 — 20-х годов нашего века — осознанное использование акустических возможностей языка, повышенное внимание к звучащему слову. Обращаясь к музыкально-поэтическим теориям Л. Сабанеева, М. Малишевского, А. Квятковского, автор весьма убедительно показывает неисчерпанность идей и экспериментов того времени. Сегодня звуковая поэзия имеет все шансы на возрождение, а «неоконченная пьеса для речевого аппарата» ждет своего продолжения в грядущем столетии. Эта глава книги достойна внимания не только теоретиков, но и практиков стиха, ищущих живого контакта с аудиторией, не довольствующихся сугубо «письменными» пределами поэтического текста.

Более полемичен раздел «По(с)ле авангарда», где представлен разбор творчества Владимира Казакова, Геннадия Айги (и беседа с ним С. Бирюкова),

Елизаветы Мнацакановой, Дмитрия Авалиани. Познавательная ценность этого раздела сомнений не вызывает, к спору располагает обозначенная в названии позиция: мне кажется, что сам каламбур «по(с)ле» скорее не авангардного, а постмодернистского, постструктуралистского свойства, что за двусмысленную конструкцию здесь не спрятаться. Лично я считаю, что здесь существует только «после», что авангард бывает лишь первой свежести, что он принципиально неповторим (данную точку зрения мне доводилось выражать неоднократно, в том числе в безусловно знакомых С. Бирюкову «Авант-афоризмах»; с интересом бы прочел возможные контраргументы, ибо считаю, что споры между единомышленниками наиболее эффективны). Посмотрим на конкретных персонажей раздела. «Я совершенно убежден, что я столько же авангарден, сколько не авангарден и даже антиавангарден», — говорит в беседе с автором книги Г. Айги. Что же касается В. Казакова, Е. Мнацакановой и Д. Авалиани, то эти талантливые мастера, на мой взгляд, все же являются не первооткрывателями, а продолжателями, в связи с ними можно говорить скорее об *авангардной традиции*. Впрочем, в таком компромиссном *adjecto* тут же возникает неминуемое *contradictio* (авангард всегда сознательно противопоставлен традиции), и, может быть, придется отнести названных поэтов к авангардному крылу русского *постмодернизма*. Так, В. Казаков, который шел от обэриутства, шел именно «от» — к тому, что впоследствии получило название концептуализма. Его знаменитое «Прекрасное зачеркнутое четверостишие» (своего рода апофеоз вторичности, теорема о невозможности новизны), воспроизведенное в книге С. Бирюкова на стр. 94, по духу своему куда ближе к поэтике Д. Пригова и Л. Рубинштейна, чем к творчеству таких авангардных «радикалов», как А. Крученых и А. Введенский.

Авангард всегда полемичен, он не может быть явлением общепринятым, эстетическим «истеблишментом», но и «андеграундная» форма существования для него немислима, ибо он нуждается в глобальности, в космическом размахе. Думается, невозможно указать в современной литературе то конкретно-узкое, направленческое русло, в которое устремилась вся авангардная энергия: ее про-

явления и перевоплощения стоит искать в достаточно широком контексте, говоря, к примеру, о чертах авангардности не только у В. Сосноры или у «метаметафористов», но и (в трансформированном виде) у И. Бродского и его сателлитов. Значение авангарда не столько в том, что он кому-то передал творческую «эстафету», сколько в том, как он конкретно повлиял на творческое самоопределение самых разных (в том числе и по личностно-субъективным оценкам авангарда) поэтов. Впрочем, это предмет очень обширного исследования. Хотелось даже сказать: исследования коллективного, но, поскольку здесь на такие инертные и отсталые структуры, как ИМЛИ и ИРЛИ, рассчитывать не приходится, все надежды вновь возлагаются на энергичных одиночек.

«Проблематика этой книги теснее, чем бывает обычно, связана с личностью автора», — с вполне авангардистской дерзостью начинает С. Бирюков «Вступ» к своей книге, изобилующей авторскими рисунками, фотографиями и «перформами». Кстати, и В. Кравец свою стилистически сдержанную книгу сопроводил, не боясь конкурировать с Филоновым, собственными рисунками и даже факсимильным текстом своего «Дневника исследования». За всем этим видится страстная увлеченность предметом, концептуальный напор, весьма симпатичный на фоне безликой «скромности» и смысловой непроявленности множества нынешних литературоведческих трудов.

Вл. НОВИКОВ.

\*

**Прп. ИУСТИН (ПОПОВИЧ). Достоевский о Европе и славянстве. Перевод с сербского Л. Н. Даниленко. СПб., Издательский дом «Адмиралтейство», 1998, 271 стр.**

Суть этой книги о Достоевском в том, что она написана святым. В 1993 году Сербская Православная Церковь прославила угодника Божия преподобного Иустина и причислила его к лику святых.

Кто-то остроумно заметил, что о Достоевском пишут в основном его герои. И действительно, мы имеем множество исследований, авторами которых можно

счесть «подпольного» человека, Петрушу Верховенского, Фому Опискина и Ракитина; писал и Верховенский-старший, удостоил даже Версиков, а более всего, конечно, постарались разнообразные Иваны Карамазовы, недаром наделенные своим создателем сердцем, способным горния мудрствовать и горних искати, умом, которому главное — мысль разрешить, да недоужинным литературным талантом в придачу.

Но вот, наконец, и «старец Зосима», канонизированный Церковью: будто в пику Константину Леонтьеву, которому недостаточно было, чтобы вера начиналась страхом Божиим, но хотелось, чтобы она им и заканчивалась. И если любви и радости о Господе требовалось оправдание, наверное, можно считать, что они снова оправданы.

Маленькое предисловие прп. Иустина к его книге можно сделать еще меньше, сократив до двух первых строк и одной последней. «Начиная с моих пятнадцати лет Достоевский мой учитель. Признаюсь — и мой мучитель... Нелегко следовать за Достоевским — однако же достойно человека: мучиться этой возвышающей человека мукой».

Здесь сказано все, что нужно, чтобы читатель поверил автору и доверился ему: ведь перед нами человек, пишущий о том, что его более всего поражает, увлекает, томит и мучает, — о самом личном, но это личное — самое общезначимое, ибо это «вечные проблемы человеческого духа». Автор конгиениален своему герою. Еще бы — ведь он сам любимый и почитаемый герой этого писателя.

Хотя проблемы, которые ставит перед собой прп. Иустин, не менее головокружительны, чем те, что виделись, скажем, Льву Шестову, книгу отличают удивительная ясность и спокойствие, свойственные, наверное, правильному взгляду, правильной постановке вопросов и прямому и искреннему подходу к ним. Начинает казаться, что то, что представляется безудержной смелостью в текстах, где истина регулярно совершает сальто-мортале без гарантии приземлиться на ноги, на самом деле, — следствие недостаточной смелости и выдержки. Истина горяча и обжигает, мужество требуется для того, чтобы спокойно выдержать ее ожог, а не для

того, чтобы перебрасывать ее с ладони на ладонь.

«Достоевский не всегда современен, но всегда вечен», — пишет автор. Сейчас Достоевский жгуче современен, и книга, написанная в 1931 году, доказывает это как нельзя лучше. Прп. Иустин разгадывает для нас тайну Ивана Карамазова, но кажется, что он раскусил наших современников.

Кстати, это чистейшее самоутешение — считать, что Достоевский и Попович разоблачают пороки «всех этих европейцев» («пороки» здесь вроде «порока сердца» — то, что оказывается для человека и культуры потенциально смертельно). И тот и другой проводят конкретный анализ на исключительно русском материале. А если у тебя порок сердца, думать, что им страдает только твой сосед, — и неразумно и опасно. Это не менее неразумно и опасно и в том случае, если предположить, что болезнь заразная и что сосед заболел первым.

Чёрта, с легкой руки известной литературоведческой традиции, объявили «двойником» Ивана Карамазова. А двойник — пусть твое искаженное, но отражение. Даже если ты отдаешь двойнику все свое самое плохое, оно все равно — твое. Двойник — твое порождение, даже если это опивки твоей души; в сущности, он в твоих руках, даже если выматывает тебе душу. Все казалось очень логично, особенно если вспомнить, что Достоевский никак не мог «буквально» поверить в дьявола. Но святой говорит нам, что дьяволу не обязательно, чтобы в него верили.

«В самый страшный час своей жизни Иван понял самым убедительным образом, что в создании его философии и этики участвовала некая надчеловеческая вневременная и внепространственная сила, которая становится кошмаром, как только она входит в круг людских временных и пространственных событий... Для Ивана достаточно мучений и тех загадок и тайн, что имеют место во времени и в пространстве, и никто не имеет права подсовывать ему еще какую-то вечность с ее тайнами и

загадками. У Ивана есть свой эвклидов мир; он желает, чтобы этот мир был герметически закрыт со всех сторон, без каких-либо окон, которые бы глядели в какие-то бесконечности. Но его таинственный кошмарный посетитель не обращает внимания на его желание, он не ждет от него разрешения на то, чтобы в эвклидов мир Ивана забрело нечто ему неуютное, нечто потустороннее, противоестественное и бесконечное. Необъяснимо как, но абсолютно достоверно он участвует в духовной жизни Ивана: думает его мыслями, трудится над его идеями. Более того, он как бы совоплощается с духом Ивана: заканчивает его мысли, дает четкое определение хаотическому психическому состоянию Ивана, облекает в слова проблески его мыслей, проясняет его сознание, философствует его философией, нашептывает Ивану новые идеи, гениально защищает атеистическую философию и анархистскую этику Ивана».

Удивительно точно здесь отмечен только факт внешне его вторжения «той силы, что вечно хочет зла» (хотя Иванов гость это и отрицает), но и факт ее наглого и самостоятельного вторжения, без разрешения и приглашения. Господь, как ни стучится в душу человеческую, никогда не войдет без зова и разрешения, что у Достоевского многократно показано в пронзительнейших эпизодах. Господь — гарант человеческой свободы и Сам никогда не нарушит ее. Но если человек отвернулся от Бога, дьявол войдет без приглашения и разрешения. Прагматизм защищает человека от Бога — не от дьявола. И защищенный от Бога, человек становится добычей, мучеником и сотрудником дьявола, причем согласия человека уже не требуется.

К сожалению, это диагноз, и, к сожалению, не неожиданный. «Нехорошо человеку быть одному», но, как выясняется, это и невозможно. И вот это *невозможно* — то, чего мы видеть не желаем. Пожалуй, чтобы разглядеть это, нужен святой. Ведь только «здоровые очи души ясно видят...».

Татьяна КАСАТКИНА.

---

---

# НЕКРОЛОГ

## «И ДАЖЕ ЕСЛИ СЕРДЦЕ ОСТАНОВИТСЯ...»

*Памяти Яна Гольцмана (1936 — 1999)*

**П**рошлым летом я получила письмо от Яна Гольцмана с Пелусозера. Написано оно было на полоске березовой коры, бересты. Берестяная грамота. Будь она послана кем-то другим — жест мог показаться пижонством, желанием быть оригинальным. Но к Яну это не могло относиться. Прежде всего потому, что он был человеком естественным, бесконечно далеким от любого красивого жеста. В той озерной глуши, где он в одиночестве проводил большую часть года, бумагу надо было беречь для стихов и прозы. Для письма же сгодился и берестяной лист, легко отделившийся от ствола поваленной возле его деревянного дома березы.

Отсутствие выпренности, позы — эти черты были основополагающими не только в его натуре, но и в том, что он писал, — и в прозе, и в стихах. Больше всего и чаще всего Ян писал о природе. Природа стала главным в его жизни очень рано, и очень рано он сам, горожанин по рождению, осознал эту «главность»:

«Чудное дело: я родился и первую половину жизни прожил в больших городах, но, сколько себя помню, всегда тянуло меня на реку, в лес».

Природа открывается в своем сокровенном далеко не всем, только самым чутким, самым настоящим, как она сама. Умеющим видеть, слушать и понять.

Давно уже — со времен Пришвина — не было у нас таких произведений — о лесах, угорах, болотах, озерах с их обитателями, проникнутых столь глубоким чувством сопричастности, интереса, готовности извлекать уроки из увиденного.

Неотступности учит нежнейший росток,  
Поднимающий к солнцу зеленые длани,  
Острый корень, старательно тянущий сок,  
Норовит приучить к постоянству желаний...

Читатель, имевший счастье прочесть стихи Яна Гольцмана или его прозу, не останется равнодушным и надолго запомнит имя автора.

Его не забудут и те, кому посчастливилось знать Яна и дружить с ним. Литератор по призванию, он не выносил московских литературных тусовок, был глубоко равнодушен к почестям и материальному благополучию. Он месяцами бродил по лесам, собирал на болотах клюкву, рыбачил, охотился, слушал голоса зверей и птиц. И писал.

Горько сознавать, что роковая болезнь настигла его на взлете — проза его с каждым написанным рассказом становилась все более яркой, свободной и глубокой. Растения, пернатые, дикие и домашние животные, старики и старухи, доживающие свой век в глухом краю, — все они запечатлены им так проникновенно, выписаны с такой любовью, что читателю остается так же любить их и так же — с незлобивым смехом — подивиться их поступкам, облику, голосу, как подивился и умилится сам писатель...

Но как всем нам — читателям, почитателям и друзьям Яна — примириться с его внезапной, несвоевременной кончиной? Надо, наверное, взять в руки странички его прозы и вновь перечитать то, что было года три назад написано им самим:

«И даже если сердце остановится этой ночью, все едино — „благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его”. Прожита счастливая жизнь! Пусть была она в чем-то ущербна, как всякая человеческая жизнь, — за все приходится платить! — зато она вместила столько простора и воли, столько рассветных звуков и закатных полотен, что и умереть не обидно...»

Галина Корнилова.

---

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Виктор Астафьев.** Собрание сочинений. В 15-ти томах. Красноярск, «Офсет», 1998, 10 000 экз.

Том 13. Веселый солдат. Повесть. Варианты. Отрывки. Киносценарии. Из тихого света. Попытка исповеди. 734 стр.

Том 14. Письма. 1961 — 1989 гг., 480 стр.

Том 15. Письма. 1990 — 1997 гг., 511 стр.

**Александр Вампилов.** Избранное. Составление О. М. Вампиловой. Предисловие В. Г. Распутина. Вступительная статья В. Я. Лакшина. Примечания Т. В. Глазковой. М., «Согласие», 1999, 778 стр., 5000 экз.

В одномомник вошли: пьесы «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», девять одноактных пьес, сцен и монологов, четыре неоконченных драматических произведения, около тридцати рассказов и впервые публикуемые извлечения из записных книжек, обширная подборка писем.

**П. Г. Вудхаус.** Собрание сочинений. В 5-ти томах. Вступительная статья, составление Н. Трауберг. Комментарии Н. Трауберг, И. Гуровой. М., «Художественная литература», 1999, 10 000 экз.

Том 1. Ранние романы. 558 стр.

Том 3. Лорд Эмсворд и другие. 604 стр.

**И Цзин:** «Книга перемен» и ее канонические примечания. Перевод с китайского, предисловие, примечания В. М. Яковлева. М., «Янус-К», 1998, 267 стр., 2000 экз.

**Капля росы.** Японские пятистишия. Перевод с японского, предисловие, примечания В. Н. Марковой. М., «Летопись», 1998, 394 стр., 10 000 экз.

**Хулио Кортасар.** Книга Мануэля. Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко. СПб., «Азбука», «Амфора», 1998, 384 стр., 10 000 экз.

Впервые на русском языке последний роман (закончен в 1972 году) создателя «нового латиноамериканского романа».

**Томмазо Ландольфи.** Жена Гоголя и другие истории. Избранное. Составление Г. Кисилева. Предисловие Л. Аннинского. М., «Аграф», 1999, 736 стр., 5000 экз.

Собрание прозы одного из крупнейших итальянских писателей нашего века Томмазо Ландольфи (1908 — 1979), известного в Италии еще и как ведущий переводчик русской литературы — в его переводах итальянцы читали Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Лескова, Чехова, Бунина. В одномомник вошли: роман «Осенняя история» в переводе Г. Кисилева и около сорока коротких повестей и рассказов.

**С. Е. Лец.** Непричесанные мысли. Перевод с польского, послесловие М. Малькова. СПб., «Академический проект», 1999, 173 стр., 3000 экз.

**Э. Лённрот.** Калевала. Эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен. Перевод Э. Киуру, А. Мишина. Петрозаводск, «Карелия», 1998, 583 стр., 5000 экз.

**Ли Сян-цзы.** Домик под грушевым деревом. Текстологическая подготовка и послесловие В. Глоцера. М., «ИМА-пресс», 1998, 32 стр., 1000 экз.

Последняя подборка стихов Елизаветы Ивановны Дмитриевой (1887 — 1928), вошедшей в русскую поэзию Черубиной де Габриа («Аполлон», 1909) и почти сразу же, после потрясения из-за раскрытия псевдонима и совпавшей по времени любовной драмы, замолчавшей на годы, ушедшей в антропософию и — соответственно — подвергшейся аресту, этапированию на Урал, оттуда — в Ташкент, в домик под грушей, где незадолго до смерти, став Ли Сян-цзы (в переводе с китайского «философ под грушей»),

она написала эту завершившую ее творчество книгу стихов. «Поэт сказал: „Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, поет“... горечь изгнания обратилась в радость песни» (из авторского предисловия).

**Алексей Пурин.** Архаика. Книга стихов. СПб., Журнал «Звезда», 1998, 176 стр., 400 экз.

**Жорж Роденбах.** Мертвый в Брюгге. Томск. «Водолей», 1999, 704 стр., 1000 экз.

Издание прозы и поэзии классика бельгийской литературы Жоржа Роденбаха (1855 — 1898), одного из «властителей дум» русских символистов. Представлена подборка его стихов, вышедшая книгой в 1903 году, а также практически весь пятитомник прозы Роденбаха, изданный в 1910 году. В книгу также включены воспоминания вдовы поэта Анны Роденбах «Последние минуты Жоржа Роденбаха» и две небольшие работы Марии Веселовской: «Жорж Роденбах — поэт безмолвия» и «Брюгге в творчестве Роденбаха».

**Александр Родин.** Я убил Лермонтова. Исторические повести. Рассказы. М., ИПО Профиздат, 1999, 352 стр., 5000 экз.

Эпатирующее название книги принадлежит одноименной исторической повести, написанной от лица Николая Мартынова. Кроме нее в сборник современного прозаика вошли: повесть из времен раннего христианства, повесть о Сталине, а также подборка «простодушных, из жизни» рассказов под общим названием «Ура! (Детство, отрочество, старость)».

**Александр Солженицын.** На изломах. Малая проза. Ярославль, «Верхняя Волга», 1998, 608 стр., 30 000 экз.

**Омар Хайям.** Рубаи. Перевод с персидского И. Тхоржевского. Тверь, «Полина», 1998, 288 стр., 15 000 экз.

Издательский замысел, осуществленный в издании этой книги, объяснен в аннотации: «Прочитай стихи великого поэта, читатель хочет больше узнать о его жизни... прочитай жизнеописание поэта, читатель торопится открыть томик его стихов. Но обычно есть одно, нет другого». Это же издание содержит кроме стихов Омара Хайяма, занимающих примерно треть томика, еще и повесть **Вардвана Варджапетяна** «Запах шиповника», посвященную жизни великого поэта.



**П. П. Гнедич.** Всемирная история искусств. М., «Современник», 1999, 494 стр., 5000 экз.

**Малькольм Джоунс.** Достоевский после Бахтина. Исследование фантастического реализма Достоевского. Перевод с английского А. В. Скидана. СПб., «Академический проект», 1998, 256 стр., 1000 экз.

Монография американского слависта: «...демонстрируя блестящие образцы структуралистского, деконструктивистского и проч. анализов, не боясь прочитать тексты Достоевского как тексты модернистские и даже постмодернистические, Джоунс тем не менее никогда не забывает подчеркнуть свою приверженность гуманистической традиции. ...[автор] пытается показать, как современные подходы могут обогатить наше понимание текстов Достоевского...» (из аннотации).

**А. К. Жолковский.** Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М., «Языки русской культуры», 1999, 392 стр.

**Давид Зильберман.** Генезис значения в философиях индуизма. Перевод с английского Елены Гурко. М., «Эдиториал УРСС», 1998, 448 стр., 1000 экз.

Первое книжное издание работ одного из самых оригинальных мыслителей второй половины века Давида Бениаминовича Зильбермана (1938 — 1977). Перед этим в томе «Избранных трудов» А. Пятигорского (М., «Школа „Языки русской культуры“», 1996) по настоянию автора была помещена работа Зильбермана «Приближающие рассуждения между тремя лицами о модальной методологии и сумме метафизик» с предисловием Пятигорского. Это новое имя для читателей русской философии; представляя его, издатели приводят слова Романа Якобсона о Зильбермане: «Истинный эксперт в сравнительном анализе древнегреческой, классической немецкой, французской и английской философии с восточными философскими традициями, особенно индийской мыслью, от ведического периода до современности», «прекрасно ориентируется в исторических и методологических проблемах логики, лингвистики, социологии, антропологии

и религиозной мысли. Его прозрачная и плодотворная интерпретация междисциплинарных проблем тесно связывает все эти области с семиотикой». Основным направлением «исследования в данной работе является разработка нового метода философствования, который автор называет модальным методологизированием, анализ проблемы культурной традиции и исследование концепции аналогии... Автор показывает комплиментарность 6 даршан индийской философии, раскрывает их совместные усилия по созданию и поддержанию смысловой ткани классической индийской культуры». Книга вышла в серии «Философы России XX века».

**Т. А. Кузьминская.** Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Общая редакция, примечания Т. Н. Волковой. Калининград, «Янтарный сказ», 1998, 735 стр., 1000 экз.

**Д. С. Лихачев.** Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. 3-е издание, исправленное, дополненное. М., «Согласие», 1998, 470 стр., 1000 экз.

**Надежда Мандельштам.** Воспоминания. Подготовка текста Юрия Фрейдина. Предисловие Николая Панченко. Примечания Александра Морозова. М., «Согласие», 1999, 576 стр.

Второе издание в России «Воспоминаний» Надежды Мандельштам, в основу которого положены сохранившиеся в Москве авторизованные машинописи книги, а также экземпляр первого зарубежного издания (Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1970) с авторской правкой. Книга издана как первый том из предполагаемого трехтомника, приуроченного к столетию со дня рождения Надежды Яковлевны Мандельштам (1899 — 1980). Текст воспоминаний дополняется обширными примечаниями одного из ведущих исследователей творчества Осипа Мандельштама Александра Морозова, написанными специально для данного издания.

**Елена Невзглядова.** Звук и смысл. СПб., Журнал «Звезда», 1998, 256 стр.

Сборник литературоведческих статей, посвященных проблемам стиховедения, в частности об интонационном строе стиха. См. рецензию в ближайших номерах журнала.

**Фриц Риман.** Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии. Перевод с немецкого Э. Л. Гушанского. М., «Алетейя», 1998, 336 стр., 5000 экз.

Проявления страха у шизоидных, депрессивных, навязчивых и истерических личностей как составная часть человеческой психологии. Фриц Риман (1902 — 1979) — известный немецкий психолог и психотерапевт.

**Ирина Паперно.** Самоубийство как культурный институт. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 256 стр.

Новая работа известного литературоведа, рассматривающего самоубийство не только как жизненное явление, но и как факт культуры; написана в основном на материале русской литературы прошлого века, в частности, особое внимание уделено творческому наследию Достоевского.

**В. Н. Харузина.** Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии М. М. Керимовой и О. Б. Наумовой. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 558 стр.

Очередная книга из издательской серии «Россия в мемуарах» представляет писавшиеся с 1904 по 1905 год воспоминания профессора этнографии Веры Николаевны Харузиной (1866 — 1931), происходящей из богатого купеческого рода. «Три цели я имела... в виду, когда писала свои воспоминания. Прежде всего мне хотелось... сохранить память о тех хороших людях, которыми я была окружена... Во-вторых, мне хотелось запечатлеть черты ушедшего быта... В-третьих, я имела в виду проследить, под какими сложными влияниями складывается постепенно, начиная с детства и отрочества, человеческая душа...» (от автора). Сосредоточенные на изображении частной жизни русского горожанина, ее воспоминания предлагают читателю «полнокровную картину московской жизни 1860 — 1880 годов».

**Христианско-иудейский диалог.** Хрестоматия. Составление Хелен П. Фрай. Переводы с английского. М., Библейско-богословский институт, 1998, 356 стр.

Сборник статей из современных англоязычных изданий, располагающий материалы по разделам «Антисемитизм», «Иисус-иудей», «Холокост» и другим, знакомит с тональностью и уровнем межконфессионального диалога в Европе новейшего — после Освенцима — времени.

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Время МН», «День литературы», «Диалог. Карнавал. Хронотоп», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Индекс/Досье на цензуру», «Итоги», «Книжное обозрение», «Коммерсант-Daily», «Кулиса НГ», «Литературная газета», «Московские новости», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Радуга/Vikerkaar», «Русская мысль»

**Айда Абуашвили.** Два истока. Заметки о лирике и прозе Булата Окуджавы. — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль).

Роман Окуджавы «Свидание с Бонапартом», стихотворение Окуджавы «Батальное полотно» и — «Война и мир» Льва Толстого.

**Александр Архангельский.** Литература вне закона. — «Известия», 1999, № 28, 18 февраля.

В Государственную Думу внесен проект закона «О государственном образовательном стандарте общего образования». Федеральный «стандарт» резко сокращает объем обязательного преподавания русского языка, а в списке обязательных предметов *нет литературы*.

См. также статью А. Архангельского «На randevу с классиками» («Известия», 1999, № 30, 20 февраля) о том, что борец с «жидами» Макашов напрасно призывает Пушкина, Гоголя и Достоевского в союзники.

**Дмитрий Бавильский.** Бумажный пейзаж. — «Независимая газета», 1999, № 18, 3 февраля.

Беседа с Александром Кушнером: «Иногда (вовсе не всегда) у меня возникает ощущение, что я пишу для своих предшественников. Для меня любимый мой читатель — Анненский, если ему это интересно». Об Иннокентии Анненском см. эссе Александра Кушнера «Среди людей, которые не слышат...» («Новый мир», 1997, № 12).

См. также критические заметки Николая Славянского о «*позитивизме*» Александра Кушнера («Аполлон и Кушнер» — «Русская мысль», Париж, 1999, № 4256, 4 — 10 февраля); в свое время они будут прокомментированы на страницах «Нового мира».

См. также новые стихи Кушнера в журналах «Звезда» (1999, № 1) и «Новый мир» (1999, № 2).

**М. М. Бахтин.** О полифоничности романов Достоевского. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Ежеквартальный журнал исследователей, последователей и оппонентов М. М. Бахтина. Витебск — Москва, 1998, № 4(25).

Интервью Збигнева Подгужеца с М. М. Бахтиным (1971) дважды печаталось в России, но оба раза в обратном переводе с польского. Оригинальный и полный вариант интервью воспроизводится ныне по изданию «Россия/Russia. Studi e ricerche a cura di Vittorio Strada. Vol. 2. Torino, 1975».

**Василий Белов.** Во саду при долине. Рассказ. — «Наш современник», 1999, № 2.

О новых произведениях Василия Белова см. в статье Ольги Славниковой «Деревенская проза ледникового периода» («Новый мир», 1999, № 2).

**Андрей Битов.** Раздвоение вечности. Исповедь двоеженца. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Я эмигрировал в Москву, отвечает Битов на вопрос, почему он не эмигрировал. Между Питером и Москвой. А сейчас «жизнь моя опять рас-троилась (так! — А. В.) на Москву, Петербург и за границу, где я на „Красную стрелу“ зарабатываю».

**Гарольд Блум.** Элегия о Каноне. Перевод с английского С. Ломинадзе. — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль).

Вступительная часть к книге Гарольда Блума (род. в 1930) «Западный Канон» («The Western Canon», 1994). Американский литературовед защищает традиционную иерархию культурных ценностей Запада от торжествующих сторонников «мультикультурализма», «политической корректности (правильности)» и прочих новомодных идеологий. Другую главу из этой книги — «Шекспир как центр канона» в переводе Т. Казавчинской — см. в журнале «Иностранная литература» (1998, № 12).

**Иосиф Бродский.** Столетняя война. Подготовка текста и вступительная статья Я. Гордина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Незавершенное — из-за ареста и суда — «большое стихотворение» Бродского 1963 года. К реальной Столетней войне XIV — XV веков отношения не имеет. Влияние Дантова «Ада». Описание преисподней. «Антивоенный пафос „Столетней войны“ очевиден и сегодня не очень понятен, — пишет Я. Гордин. — Но в начале шестидесятых он таковым не казался. Атомная война представлялась вполне реальной».

**Юрий Буйда.** Над. — «Знамя», 1999, № 2.

«Смерть Дон Жуана», «Желтый Дом», «Над» — короткие эссе известного прозаика, лауреата премии имени Аполлона Григорьева. См. также его эссеистическую подборку «Сумма одиночества» в журнале «Октябрь» (1998, № 11).

**Василь Быков.** Прелесть и ужас будущего. — «Московские новости», 1999, № 5, 7 — 14 февраля.

Белорусский прозаик сейчас живет в Хельсинки, финский ПЕН-центр назначил ему стипендию, а городское управление выделило квартиру. «На родине у меня нет подобных условий для работы: политическая обстановка мало способствует занятиям литературой».

См. также его «современную сказочку для взрослых» под названием «Хвостатая» («Книжное обозрение», 1999, № 7, 16 февраля), ранее печатавшуюся в газете «Литературные вести» (1998, № 32, ноябрь — декабрь).

**Лариса Ванеева.** Новая стрижка газона, или Оружие массового поражения. Со всем нестрашные фемины. (Из опыта «феминологии»). Какого вы духа? Рассказы. — «Радуга/Vikerkaag». Литературно-художественный и публицистический альманах Союза писателей Эстонии. 1998, № 4 (октябрь — декабрь).

Короткие рассказы-эссе о том, отчего «в монастырях женщины преображаются, изумляя иной, духовной красотой, а в феминизме женщина теряет образ и становится безобразна».

См. также короткие рассказы Ларисы Ванеевой «Песнь генокода» и «Господин Гру-Гру» («Октябрь», 1998, № 1), а также ее рассказы «Белая бездна снегов», «Праздник не по карману» и «Сели батарейки» в красноярском литературном журнале «День и ночь» (1997, № 5-6) и рассказ «Прощеное воскресенье» в русско-итальянском журнале «Новая Европа», № 7 (1995).

**Игорь Виноградов.** О добрых чувствах и зайцах, перебегающих им дорогу. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 3, февраль.

Один из трех «докладов» на Литературном обеде в честь вручения премий Антибукера (21 января 1999 года). Два других — Л. Сараскиной и С. Земляного — см. в «Кулисе НГ» (1999, № 2). Темой всех выступлений было известное высказывание Гоголя о том, что Пушкин — это русский человек в его развитии, каким он, может быть, явится через двести лет.

**Георгий Владимов.** Была ли та война Отечественной? — «Московские новости», 1999, № 5, 7 — 14 февраля.

Прозаик полемизирует с известной версией В. Суворова о «превентивном» нападении Гитлера на СССР, с военно-историческими романами Игоря Бунича «Лабиринт безумия» и «Операция „Гроза“», а также со статьей Юрия Каграманова в журнале «Континент» (№ 97).

См. также полемическую по отношению к В. Суворову статью историка В. Попова «1941: тайна поражения» в «Новом мире» (1998, № 8).

**Михаил Гаспаров.** «Поэт — это конкистадор, а стиховед — колонист». Беседовал Алексей Туманский. — «Книжное обозрение», 1999, № 5, 2 февраля.

Я литературовед, а не критик, мое дело — бумажное, объясняет Михаил Гаспаров. «Восемь лет назад бы юбилей Пастернака, мне пришлось сидеть в заднем углу президиума перед огромным залом в Доме писателей. Рядом сидел Александр Кушнер (я его немного знал: он интересовался стиховедением), и ему, по-моему, тоже было неудобно. А в середине президиума большой энергичный человек, наклонясь в зал, напористо говорил вещи, казавшиеся мне немного странными. Я тихо спросил Кушнера: кто это? Он посмотрел на меня с некоторым удивлением и ответил: „Вознесенский“. По-моему, после этого случая Кушнер стал ко мне лучше относиться».

**Где прячется от читателя современная русская книга?** С Борисом Екимовым беседовали Александр Щуплов и Евгений Лесин. — «Книжное обозрение», 1999, № 7, 16 февраля.

«Наш век был точно таким же, какими были XVIII и XIX столетия, и приблизительно таким же, каким будет XXI век. Но так уж устроен человек, что боль, придет-

шаяся на его время, всего больше и страх, выпавший на его долю, всего страшнее. Думаю, что наш век — обычный, человеческий... В отношении литературы наше столетие было очень щедрым — от Льва Толстого до нынешних представителей. Жаловаться, ей-Богу, грех! Хороший век!» — говорит Борис Екимов.

**Василий Голованов.** Гудбай, America! — «Огонек». Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. 1999, № 7, февраль.

«Началось это очень давно, в начале века, наверное, когда в играх русских мальчиков возник Монтигомо Ястребиный Коготь. А заканчивается только теперь, когда Великая Американская Мечта перестала быть мечтой и в России». Новый императив: полюбите прежде всего самих себя, своих людей, свою природу, свою родину.

Прозаик и очеркист Василий Голованов родился в 1960-м. См. его произведения «Остров» («Дружба народов», 1997, № 5, 6), «Стрелок и Беглец» («Дружба народов», 1998, № 6). См. в № 7 «Нового мира» за 1998 год рецензию Игоря Кузнецова на художественно-документальную книгу Василия Голованова «Тачанки с Юга» о махновском движении.

**Игорь Долиняк.** Две смерти. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1. Повесть с криминальным сюжетом. О повести И. Долиняка «Мир третий» («Звезда», 1993, № 10) см. рецензию Сергея Костырко в журнале «Новый мир» (1994, № 7).

**Заграница как личный опыт.** — «Знамя», 1999, № 2.

Никита Алексеев, Виталий Коротич, Григорий Кружков, Юрий Кублановский, Марина Павлова-Сильванская, Алексей Парин, Вениамин Смехов и Александр Шаталов делятся впечатлениями от своего заграничного житья-бытья.

**Вячеслав Вс. Иванов.** Из воспоминаний о М. Л. Левине. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Продолжение печатавшейся в «Звезде» мемуарной книги Вячеслава Вс. Иванова «Голубой зверь» (премия «Звезды» за 1995 год).

См. также короткий мемуар Вячеслава Вс. Иванова «Няня Маруся и другие гении» («Общая газета», 1999, № 7, 18 — 24 февраля).

**Наталья Иванова.** В полоску, клеточку и мелкий горошек. Перекодировка истории в современной русской прозе. — «Знамя», 1999, № 2.

«Вместе со всем обществом, разувверившимся в возможностях рационального объяснения своей жизни... литература отвернулась от реалистического „позитивизма” и ушла к метафоре, а затем и вовсе отказалась от выстраивания исторической системы или даже схемы — в пользу абсурда».

См. также полемические заметки Вл. Новикова «Невозможность истории?» («Дружба народов», 1998, № 11).

**Из следственных дел Н. В. Некрасова 1921, 1931 и 1939 годов.** Публикация В. В. Шелохаева и В. В. Поликарпова. Вступительная статья В. В. Поликарпова. — «Вопросы истории», 1998, № 11-12.

Кроме материалов из Центрального архива ФСБ в этом номере журнала напечатан биографический очерк В. В. Шелохаева о Николае Виссарионовиче Некрасове (1879 — 1940), депутате Государственной думы, члене ЦК конституционно-демократической партии, министре Временного правительства и секретаре Верховного совета ложи «Масонство народов России» в 1910 — 1916 годах. Расстрелянный в 1940-м, Н. В. Некрасов реабилитирован в 1990 — 1991 годах.

**«...И нет почвы под ногами...».** Письма семьи Янцыных. Публикация, вступительная заметка и примечания О. И. Михайловой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

20-е годы. Русские в Шанхае и США.

**Фазиль Искандер.** Незванный гость. Рассказ. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Короткий рассказ о 1946 году. См. также рассказ Фазили Искандера «День писателя» в «Новом мире» (1999, № 4).

**К новому средневековью?** Перевел с польского Виталий Моев. — «Литературная газета», 1999, № 6, 10 февраля.

Перепечатанное в сокращении из польской «Газеты выборчей» интервью: профессор Массачусетского технологического института, автор бестселлера «Будущее капитализма» Лестер К. Туров (Lester K. Thurow) говорит о двух основных противоречиях демократического капитализма. Первое — между демократией, провозглашающей равенство, и рынком, непрерывно вырабатывающим неравенство. Другое состоит в том, что

одни и те же средства нельзя и потреблять и инвестировать одновременно. Воля избирателей, проникнутых культом индивидуального потребления, приходит в противоречие с необходимостью долгосрочных инвестиций, которые дадут плоды, возможно, через несколько десятилетий. Кризис цивилизации, считает Лестер К. Туров, потребует лидеров, отважных, как Рейган и Тэтчер, которые не побоятся пойти против «волн эгоизма».

**В. В. Кандинский.** О понимании искусства. Стихотворения и статьи 1910 — 1920-х годов. Вступительная статья, подготовка текста, переводы и примечания Б. М. Соколова. — «Знамя», 1999, № 2.

См. также подборку стихотворений Василия Кандинского «Медленно исчезающее в зеленой траве» в переводе с немецкого Бориса Соколова («Новый мир», 1997, № 1).

**Рейн Караста.** Гордые люди. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Новая рубрика «Читатель — критику». Живущий в Павловске двадцатисемилетний живописец Рейн Караста читает и комментирует литературно-критические публикации в периодике. В частности — солженицынские этюды о «Смерти Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова и «Петербурге» Андрея Белого («Новый мир», 1997, № 4, 7).

**Владимир Корнилов.** Рулетка. Поэма. — «Дружба народов», 1999, № 2.

Мрачная поэма о современности: «Отчего, господа сограждане, / Снова страшно и тяжело?»

**Яан Кросс.** Полет на месте. Отрывки из романа. Перевод с эстонского Эльвиры Михайловой. — «Радуга/Vikerkaag». Литературно-художественный и публицистический альманах Союза писателей Эстонии. 1998, № 4 (октябрь — декабрь).

Вместо послесловия напечатана статья Удо Уйбо «Paegand-Estland — пасынки судьбы» (перевод Св. Урмих) о том, что знаменитый прозаик опубликовал «лучшее произведение своей жизни», а также беседа Пеэтера Саутера с Яаном Кроссом (перевод С. Семененко).

**Феликс Кузнецов.** Об исторической ценности «МетрОполя». — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 3, февраль.

Директор ИМЛИ, член-корреспондент РАН, отвечая писателю Николаю Климонтовичу («Общая газета», 1998, № 50), подтверждает свое давнее резко критическое отношение к нашумевшему литературному альманаху «МетрОполь». В частности, он спрашивает: «Кем были бы сегодня (Евгений. — А. В.) Попов и (Виктор. — А. В.) Ерофеев, не придумав на излете „застоя“ эту безошибочную по рекламно-скандальным результатам и в то же время абсолютно безопасную для них акцию под названием „МетрОполь“?» Тут же напечатана статья-комментарий Виктории Шохиной «Призрак Касталии. К 20-летию обсуждения „МетрОполя“ в СП СССР». В частности, она отмечает, как тот скандал сказался на репутации самого Феликса Кузнецова: «Мало кто сейчас вспоминает, что он — автор интересных работ по истории русской журналистики — «Журнал „Русское слово“» и „Публицисты 1860-х годов“...»

Кем стал или не стал Евгений Попов, читатель может судить по его роману-комментария «Подлинная история „Зеленых музыкантов“» («Знамя», 1998, № 6) или по недавней публикации в журнале «Октябрь» (1999, № 1) — «Три песни о перестройке. С прологом, эпилогом и эпиграфом».

**Илья Кукулин.** Единственный, один из многих. — «Ex libris НГ», 1999, № 4, февраль.

Критик считает книгу малоизвестного Александра Белякова «Эра аэра» (М., «Carte blanche») одной из самых значительных поэтических книг 1998 года. Поверим на слово.

**Станислав Куняев.** Сучий паспорт. — «День литературы». Газета русских писателей. 1999, № 2, февраль.

О Евтушенко. Обвинительные материалы щедро черпаются из мемуарной книги самого Евтушенко «Волчий паспорт» (М., «Вагриус», 1998), название которой и обыграно памфлетистом. Наибольшую ненависть и недоумение вызывает у Куняева уникальный евтушенковский *протеизм*: «Восславил Сталина, проклял Сталина, заклеил еврейских врачей-отравителей, а в „Бабьем Яре“ — антисемитов, посвятил стихи Пастернаку, потом перепосвятил (чтобы напечатать. — А. В.) Луговскому...»

**Лазарь Лазарев.** Писать правду о войне — как это было. Константин Симонов и цензура. — «Индекс/Досье на цензуру». Главный редактор Наум Ним. Редактор русского издания Елена Ознобкина. 1998, № 3(6). Электронная версия журнала [www/internews.ru/smi/index/index.htm](http://www/internews.ru/smi/index/index.htm)

См. также статью Л. Лазарева «„Автор стоит на сомнительных, а иногда явно неправильных позициях“». Борис Слуцкий и цензура» в журнале «Индекс/Досье на цензуру» (1998, № 1).

**Лев Лосев.** Москвы от Лосефа. — «Знамя», 1999, № 2.

Мрачные московские впечатления (апрель 1998 года) поэта Льва Лосева, живущего в США. С датами и именами.

См. также эссе живущего в США Василия Аксенова «Карусель в круговороте» («Московские новости», 1999, № 6, 14 — 21 февраля) — о его московских впечатлениях января 1999 года.

**Любимые фильмы Иоанна Павла II.** — «Коммерсант-Daily», 1999, № 12, 3 февраля.

Глава Римско-католической Церкви любит кино, интересуется новостями кинематографа. Любимые ленты Папы Римского следующие: «Амаркорд» Федерико Феллини, «Бен-Гур» Уильяма Уайлера, «Ганди» Ричарда Аттенборо, «Дорога» Федерико Феллини, «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини, «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Иисус из Назарета» Франко Дзефирелли, «Леопард» Лукино Висконти, «Мужчина на все времена» Фреда Циннеманна, «Новые времена» Чарли Чаплина, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «2001: Космическая Одиссея» Стенли Кубрика, «8 1/2» Федерико Феллини.

**Алла Марченко.** Паук по имени Урсус. — «Литературная газета», 1999, № 7, 17 февраля.

Статья о романе Михаила Бутова «Свобода» («Новый мир», 1999, № 1, 2) и эссе Татьяны Чередниченко «Радость (?) выбора (?)» («Новый мир», 1999, № 1): «Для читателя журнальной книги они образуют своего рода диалогическую проблемную пару».

О романе Михаила Бутова см. также рецензии Андрея Немзера «Расплата за сласть» («Время МН», 1999, № 32, 24 февраля) и Марии Ремизовой «Формула свободного падения» («Независимая газета», 1999, № 47, 17 марта).

**Е. М. Мелетинский.** Трансформация иностранных литературных моделей в творчестве Пушкина. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Ежеквартальный журнал исследователей, последователей и оппонентов М. М. Бахтина. Витебск — Москва, 1998, № 3(24).

Новейшая работа известного ученого, недавно (октябрь 1998 года) отметившего свое 80-летие.

**Мемуары на сломе эпох.** — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль).

На вопрос «Почему Вы стали писать мемуары?» отвечают протоиереи Михаил Ардов, Григорий Бакланов, Павел Басинский, Андрей Битов, Александр Боршаговский, Константин Ваншенкин, Сергей Гандлевский, Эмма Герштейн, Даниил Данин, Леонид Зорин, Наум Коржавин, Юлий Крелин, Семен Липкин, Анатолий Найман, Владимир Рецептер, Елена Ржевская, Андрей Сергеев и Николай Шмелев. Тут же напечатана статья А. Тартаковского «Мемуары как феномен культуры».

В частности, протоиереи Михаил Ардов формулирует некоторые принципы, которым, на его взгляд, должен следовать любой порядочный человек, берущийся писать мемуары: ни в коем случае не повторять сплетен, не копаться в грязном белье, не сводить личные счеты, не вступать в прямую полемику с другими мемуаристами, но стараться выдвинуть свою версию, дабы предоставить читателям свободу выбора. См. мемуары Михаила Ардова «Вокруг Ордынки» в майском и июньском номерах «Нового мира» за этот год.

**О. С. Муравьева.** Наполеон. «Герой». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Другие статьи из готовящейся фундаментальной «Пушкинской энциклопедии» (Отдел пушкиноведения Института русской литературы РАН) см. в № 2 — 6 журнала «Звезда».

**Анатолий Найман.** Любовный интерес. Роман Фрагмент Романа. — «Октябрь», 1999, № 1.

Автобиографическая проза. Отец. Другья.

**Сергей Небольсин.** Миф о русском «скифстве» с пушкинской точки зрения. — «Наш современник», 1999, № 2.

«Когда речь шла о прихотях или перипетиях судьбы частного человека („античные“ возлияния-симпозиумы в кругу друзей, „овидиевское“ изгнание в чуждые пределы), Пушкин открыто и увлеченно черпал из мифологических источников. Когда дело касалось исторического поведения, или, так сказать, всемирно значительного поведения, больших народных сил, тогда от эксплуатации образа скифства, сложившегося в европейском мифе, Пушкин уклонялся».

**НЗ для культурного сообщества.** Беседу вела Ольга Дунаевская. — «Московские новости», 1999, № 6, 14 — 21 февраля.

Беседа с Ириной Прохоровой, главным редактором журналов «Новое литературное обозрение» и «Неприкосновенный запас»: «Вопреки рассуждениям о духовной деградации общества наша культура, несомненно, переживает подъем. Всего за несколько лет образовалась новая информационная сеть, появились новые лица, гимназии, вузы, частные издательства, множество литературных салонов и кружков, благотворительные фонды, художественные галереи... Но главное, изменился социальный статус интеллектуала... Он возрос, хотя у нас почему-то говорят о его падении. Интеллектуалы и художники вышли из котельных на свет Божий и заняли в обществе достойное и заслуженное место. Я рада, что после приступов ностальгии по якобы утраченной идеологической чистоте многие из нас начинают понимать, что культура не может нормально функционировать в подполье, что надо создавать новое культурное поле и обеспечить интеллектуальной элите законное существование».

Ср. с беседой Бориса Дубина «Безъязычие» («Знание — сила», 1998, № 11-12) о том, как «склерозируются» каналы публичных коммуникаций между группами образованного населения.

**Олеся Николаева.** У нас был гениальный семинар. — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль).

О Евгении Винокурове и его поэтическом семинаре в Литинституте. *И я там был...*

**Олег Павлов.** Эпиплозия. Вольный рассказ. — «Октябрь», 1999, № 1.

Рассказ о том, как Олег Павлов купил себе компьютер, уже печатался под названием «Моя виртуальная реальность» в литературно-художественном журнале «Цифровой жук» (1998, № 2), что и было своевременно зафиксировано в нашей «Периодике».

См. также откровенные записки Олега Павлова «Школьники. Воспоминания из восьмидесятых годов» в журнале «Индекс/Досье на цензуру» (1998, № 3), иллюстрированные трогательными фотографиями маленького Олега. «Однажды я услышал о себе разговор учителей. Они рассуждали потихоньку, что, оказывается, я вовсе не такой уж дурак, каким прикидываюсь...»

**Александр Парнис.** «Мы находимся к Пушкину под прямым углом». — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4255, 28 января — 3 февраля, № 4256, 4 — 10 февраля.

Футуристы и Пушкин. В основу статьи положен доклад, прочитанный на Международной конференции «Пушкин-европеец».

**В. Пискунов.** Пушкин и Русское Зарубежье. — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль).

К 200-летию поэта.

См. в «Новом мире» статьи В. Непомнящего «Феномен Пушкина в свете очевидностей» (1998, № 6); Ирины Сураг «Биография Пушкина как культурный вопрос» (1998, № 2), «Да приступлю ко смерти смело...» (1999, № 2); Дмитрия Шеварова «Пьеро Белкин» (1999, № 4); а также статьи Сергея Аверинцева, Сергея Бочарова и Ренаты Гальцевой в настоящем номере «Нового мира».

**Лев Разумовский.** Дети блокады. Документальная повесть. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

Январский номер «Невы» посвящен ленинградской блокаде (повесть Игоря Смирнова-Охтина «Школа судей», рассказ Владимира Насушенко «Рыбка и фараон», рассказы Олега Шестинского «Ангельское воинство», беседа с Даниилом Граниным и другие материалы).

**Л. Розенблум.** Юмор Достоевского. — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль).

См. статью В. Свинцова «Достоевский и „отношения между полами“» в майском номере «Нового мира» за этот год.

**Игорь Смирнов.** Четырехглазый философ. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1.

К 70-летию живущего в Лондоне индолога и философа Александра Моисеевича Пятигорского. Жанр: сумбурный панегирик. Автор, известный литературовед, живет в Мюнхене.

**Евгений Стариков.** Адаптанты. — «Наш современник», 1999, № 2.

«Адаптант», по Старикову, — это человек, успешно приспособившийся к «нашей сволочной реальности». Наиболее адаптивными, по мнению автора статьи, оказались евреи, азербайджанцы, чекисты, гомосексуалисты и другие. Стиль тоже примечателен:

«От такого единения (в рамках клаки) сексотов-педерастов с „народом избранным” получила гремучая социальная смесь с неудобоназываемыми моральными качествами».

**Карен Степанян.** «Борис Годунов» и «Братья Карамазовы». — «Знамя», 1999, № 2.

Убитый в Угличе царевич Димитрий. Умерший в якобинской тюрьме десятилетний Людовик XVII. Иван и Алеша Карамазовы беседуют в трактире. Среди прочего исследователь обращает наше внимание на то, что известное и, как правило, некритически воспринимаемое высказывание о «слезинке ребенка» вложено Достоевским в уста *персонажа* (Ивана), обладающего своим специфическим мировоззрением, не тождественным авторскому.

**Никита Струве.** Церковь ждет своих реформаторов. Беседу вел Вячеслав Репин. — «Литературная газета», 1999, № 6, 10 февраля.

Другие беседы живущего в Париже прозаика Вячеслава Репина с философом и издателем Никитой Струве см. в «Литературной газете» (1998, № 43, 28 октября) и «Новом мире» (1999, № 3).

**Виктор Сукач.** На последнем изломе. В. В. Розанов в записках дочери. — «Литературная газета», 1999, № 6, 10 февраля.

К 80-летию со дня смерти В. В. Розанова (5 февраля 1919 года). Страницы из дневника младшей дочери писателя Надежды Васильевны (1900 — 1956).

См. также опубликованные Виктором Сукачем воспоминания П. П. Перцова о Розанове («Новый мир», 1998, № 10).

**Владимир Тучков.** Скрытые пружины. Рассказы. — «Знамя», 1999, № 2.

«Скрытые пружины», «Секс на Лубянке», «Схватка», «Мужские игры», «Мужские игры-2» — короткие рассказы *странного* прозаика, лауреата премии «Нового мира» за 1998 год.

См. его произведения «Смерть приходит по Интернету» («Новый мир», 1998, № 5) и «Русская книга военных» («Новый мир», 1999, № 1).

**Михаил Угаров.** «Писать пьесы — безнравственно». Беседу ведет Светлана Нювикова. — «Дружба народов», 1999, № 2.

«Мне в современном искусстве не хватает морализма... — говорит драматург и прозаик Михаил Угаров, один из сценаристов популярного телесериала „Петербургские тайны”. — По-моему, морализм никогда не может кончиться. Для всех самое интересное — (рассказанная. — А. В.) история. Не внутренний мир автора или способ рассказа — это отошло на второй план. Люди — независимо от уровня образованности — реагируют на историю. Но им мало истории в чистом виде, они хотят еще и оценки ситуации. Я это особенно понимаю по своей работе на телевизионном цикле „Моя семья”...»

О пьесах Михаила Угарова см. рецензию Алены Злобиной в «Новом мире» (1996, № 8).

**Угодил лорд Николас промеж жерновов и зернышка.** — «Итоги». Еженедельный журнал. 1999, № 5, 2 февраля.

Длинная «реплика» (так в журнале) лорда Николаса Бетелла, оспаривающего версию Александра Солженицына о некоторых обстоятельствах появления в 1969 году — при участии лорда Бетелла — английского перевода романа «Раковый корпус» (см. «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» — «Новый мир», 1998, № 11). Тут же воспроизводится короткое письмо А. Солженицына в редакцию журнала «Итоги» о том, что лорд Бетелл не опроверг *сути* сказанного о нем в мемуарах.

О книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» см. также уточняющие письма Александра Дольберга, Марты Личковой и короткий комментарий А. Солженицына к этим письмам («Новый мир», 1999, № 4).

**Мария Чегодаева.** XX век в Третьяковке. Еще раз о новом разделе на Крымском валу. — «Независимая газета», 1999, № 17, 2 февраля.

«Массовый зритель в своих художественных вкусах был вполне солидарен с (советскими. — А. В.) властями. Я не знаю другого случая такого всенародного признания одной картины, какое выпало в свое время на долю „Письма с фронта” Лактионова. Экспозиция XX века (10 — 50-х годов. — А. В.) в Г<осударственной> Т<ретьяковской> г<алерее> наводит на мысль, что „сталинский соцреализм” являлся не только феноменом искусства тоталитарных режимов, но и частью массовой культуры XX века».

**Священник Георгий Чистяков.** Ленина с нами нет. 75 лет назад умер Владимир Ильич Ульянов. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4255, 28 января — 3 февраля.

«Ленин — отвратительный и больной человек, который все время хотел кого-то расстрелять, вешать и топить в крови, — оказался абсолютно несостоятелен как мыс-

литель... Многие тексты из его архива до сих пор не опубликованы, но сегодня они уже мало кого интересуют». Оказалось, что Ленин — в отличие от Сталина — *действительно умер*. От Ленина остались *только* памятники.

С этим, конечно, не согласится Юрий Буртин — см. его огромную статью «Три Ленина. Нэп в свете теории конвергенции» («Октябрь», 1999, № 1).

**Майстер Экхарт.** Книга Божественного утешения. Перевод со средневерхненемецкого языка и примечания М. Ю. Реутова. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Ежеквартальный журнал исследователей, последователей и оппонентов М. М. Бахтина. Витебск — Москва, 1998, № 2(23).

См. также другие трактаты немецкого богослова XIII — XIV веков Майстера Экхарта в переводе М. Ю. Реутова в журнале «Диалог. Карнавал. Хронотоп» — «О человеке высокого рода» (1998, № 3) и «Речи наставления» (1998, № 4).

**Александр Янов.** В ее земле закопанные клады... — «Знание — сила», 1999, № 1.

Конституция Михаила Салтыкова, одобренная Боярской думой в 1610 году, «когда конституционной монархией еще и в Европе не пахло», опровергает распространенное и в России, и на Западе мнение о том, что все либеральное, конституционное, парламентарное, гражданское заимствовано из Европы через петровское «окно».



**ХРОНИКА:** в Воронеже к 100-летию со дня рождения Андрея Платонова будет открыт памятник писателю («Известия», 1999, № 23, 11 февраля); в Москве зарегистрирован гуманитарный фонд имени Фридриха Ницше («Интерфакс», «Коммерсант-Daily», 1999, № 19, 12 февраля); на 81-м году жизни умер русский поэт Николай Иванович Тряпкин («Независимая газета», 1999, № 33, 24 февраля).



**ДАТА:** 26 мая (6 июня) исполняется 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799 — 1837).

Составитель **Андрей Василевский.**



## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

### Июнь

**10 лет назад** — в № 6 за 1989 год напечатана «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева.

**30 лет назад** — в № 6 за 1969 год напечатана повесть Федора Абрамова «Пелагея».

**35 лет назад** — в № 6 за 1964 год напечатаны стихи Анны Ахматовой «Из трагедии „Пролог, или Сон во сне“» с послесловием А. Синявского.

**55 лет назад** — в № 6-7 за 1944 год напечатана повесть Леонида Леонова «Взятие Великошумска».

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-99» (том 1, стр. 111, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Стоимость подписки на второе полугодие 1999 года — 162 рубля плюс стоимость доставки.

Но те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 1999 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 150 рублей.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem», «Библио-глобус», «Гилея», «Графоман», «Летний сад», «Мир печати», «Эйдос» и др.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

## SUMMARY



The poetry of the issue is presented by poems by Olga Sulchinskaya, as well as a new poem by Maxim Amelin.

We are publishing the picaresque novel «Money's Day» by Alexey Slapovsky and the end of the memoirs «Around Ordynka Street» by priest Michail Ardov.

The section «Polemics» contains the article «The Black Hundred: Past and Prospects» by Yury Kagramanov.

In the section «World of Science» we are publishing the end of the memoirs «A Strictly Confidential Task. From the History of the Nuclear Project in Russia» by physicist Boris Ioffe.

The section «Les Essais» contains chapters from the book «Getting Halfway Through...» by Dmitry Shusharin.

The section «Far Nearness» presents materials dealing with Alexander Pushkin: the articles «The Appeaser and Sovereign of the Varied Elements» by Sergey Bocharov, «Goethe and Pushkin» by Sergey Averintsev, «The Poet and King David» by Renata Galtseva.

The section «Literary Criticism» contains the article «Our Exorcists» by Irina Rodnyanskaya.



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Общественный совет:** С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

**Главный редактор А. В. Василевский**

**Редакционная коллегия:** М. Е. Борщевская, М. В. Бугов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,

**И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев**

---

**Корректоры Н. Н. Замятна, Т. И. Филипова**

**Редактор-библиограф А. И. Фрумкина**

**Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова**

**Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева**

**Технический редактор Л. Б. Левова**

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.  
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,  
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,  
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,  
для справок — 200-08-29.

**Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru**

**Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>**

---

**Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.  
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».**

---

**Сдано в набор 20.02.99 г. Подписано к печати 24.04.99 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.  
Высокая печать. Объем 15,0 п. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.**

---

**Тираж 15 000 экз. Зак. 5251. Цена договорная.**

---

**Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.**

**ДО КОНЦА 1999 И В 2000 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);  
 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Затеси (новая тетрадь);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов;  
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Житейские истории;  
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. После инфаркта (повесть);  
 МИЛАН КУНДЕРА. Обмен мнениями (маленькая повесть; перевод с французского);  
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;  
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);  
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 В. В. РОЗАНОВ. Апокалиптика русской литературы;  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 ИГОРЬ САХНОВСКИЙ. Насущные нужды умерших (роман);  
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;  
 ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;  
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);  
 АНТОН УТКИН. Южный календарь (рассказы);

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**СО СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА ОБЪЕМ ЖУРНАЛА  
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С 240 ДО 256 СТРАНИЦ!**